

Н О В Ы Й  
М И Р

12

---

---

1957

12

Н О В Ы Й  
М И Р

1957

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 12

Декабрь, 1957 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НИКОЛАЙ АСЕЕВ — Ракета, стихи	3
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Из индийской тетради, стихи. Перевел с грузинского М. Максимов	4
ВИКТОР УРИН — Два эшелона. Омск, стихи	8
ПАВЛО ОРОВЕЦКИЙ — Сердце солдата, повесть. Перевел с украинского И. Карабутенко	12
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Россия, стихи	95
ПЛАТОН ОЙУНСКИЙ — Стихи разных лет. Предисловие кандидата филологических наук И. Пухова. Перевели с якутского Ал. Лаврик, Ив. Дремов, Ник. Сидоренко	97
МИХАИЛ КОЗАКОВ — Петроградские дни, повесть. Окончание	108
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ — Два стихотворения. Перевел с грузинского Н. Гребнев	136
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — Лирика, стихи	137
С. ГАЛКИН — Четыре стихотворения. Перевели с еврейского С. Маршак, И. Гуревич, А. Ахматова	140
АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ — Из прошлого	144

### ПУБЛИЦИСТИКА

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — Воспоминания об А. Ф. Кони	172
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ

Самуил Маршак. К семидесятилетию со дня рождения	181
Андрей Упит. К восьмидесятилетию со дня рождения	182

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОЗЕРОВ — Боевое оружие	183
---------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство* 192

А. Марьямов. Весна над Днепром. — В. Рымашевский. Возвращенное счастье. — Б. Сарнов. Для маленьких и больших. — Доктор филологических наук Ю. Оксман. Новая книга о Достоевском. — Игорь Поступальский. Стихи Ф. Тютчева в болгарском переводе.

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	202
<b>Е. Успенская.</b> Право на счастье. — <b>Р. Катанян.</b> Жизнь, отданная революции. — Кандидат исторических наук <b>А. Ионов.</b> Воспоминания старого большевика. — <b>М. Леснов.</b> Чехословакия на стройке. — <b>М. Цебенко.</b> Величайший мыслитель Франции.	
<b>ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО</b>	210
<b>Ник. Пияшев.</b> Два неизвестных письма Воровского к Ольминскому.	
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	213
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1957 год</b>	214

---

---

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

★

## РАКЕТА

На мир войны, запутавшийся в плутнях  
фальшивых слов и бессердечных дел,  
взглянул с высокой точки зренья Спутник,  
взглянул, сверкнул и мимо полетел.

Вы угрожали нам «с позиции силы»,  
рассчитывая превратить нас в прах,  
а наша мысль ракету возносила,  
чтоб сделать во Вселенной первый шаг.

Вы строили вокруг нас за базой базу,  
миллиарды тратя на игру с огнем,  
не ведая, что — если нужно — сразу  
в любую точку мы перемахнем.

Я твердо верю, страстно верю в это,  
что зверь войны в стальную загнан клеть,  
что, став на цель, сверхдальняя ракета  
не вынуждена будет полететь!

Октябрь, 1957 г.





---

---

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

★

## ИЗ ИНДИЙСКОЙ ТЕТРАДИ

### ПОЭТАМ ИНДИИ

Не хочу враждовать  
Я ни с кем в этом мире,

Но хочу побывать  
На большом мушаири<sup>1</sup>.

Кровь пока не стара,  
Сердце бьется, как птица,  
Я хочу у костра  
С вами песней сразиться,

Чтоб в словах огневых  
Было больше накала,  
Чтоб услышали их  
Возле стен Тадж-Магала,  
Чтобы круг был не тесен  
При луне до рассвета...

На сражение песен  
Выводите поэтов!

Мы на вашей земле  
Нашу бурку расстелем,  
В лунной сказочной мгле  
Стрелы песен нацелим.

Оживут наши думы  
От сердечного жара,  
Выводите Махмуда,  
Выводите Сардара!

Никому не грозя,  
Стрелы скрестятся в выси,  
Выводите, друзья,  
В бой Ахмада Фаизи.

Через лунную мглу  
Жарким солнечным словом  
Вместе грянем хвалу  
Вашей Индии новой.

---

<sup>1</sup> Мушаири — состязание поэтов.

Воспоем красоту  
Ваших девушек милых  
И волшебницу ту,  
Что меня опьянила.

Дружбой сердце согрев,  
Для Тбилиси и Дели  
Грянет хинди напев  
И язык Руставели...

Не хочу воевать  
Я ни с кем в этом мире,  
Лишь хочу побывать  
На большом мушаири.

### ПО СЛЕДАМ РУСТАВЕЛИ

Эту землю,  
Эти реки,  
Это небо,  
Жар лесов  
И взлет орла в простор,  
Если ты здесь не был,  
Если не был,  
Не представит мысленный твой взор.  
Можно знать по книгам о Кабуле,  
Но Лахора  
Разгадать нельзя,  
Если, хоть бы раз, не заглянули  
В красоту его  
Твои глаза.  
Тегеран поймешь  
Из уст другого —  
Зной и пыльных улиц кутерьму,—  
Но огни Пенджаба,  
Право слово,  
Надо видеть,  
Надо видеть самому!  
Надо видеть самому, дружище,  
Все дороги  
Сказочной страны,  
И какие соловьи  
Тут свищут,  
И какой луной  
Озарены...  
Потому,  
Вникая в Руставели,  
В чистый звон  
Его чеканных строк,  
Знаю:  
Он здесь был на самом деле,  
Если так  
Сказать об этом смог.  
Быть не может,  
Чтобы здесь лесами  
Не шагал он,

Вглядываясь в тьму,  
Быть не может,  
Чтоб не видел сам он,  
Как «шли звери,  
Чтоб внимать ему».  
Быть не может,  
Чтобы он ночами  
Здесь не спал,  
Не видел бой и пир,  
Чтобы здешней  
Не узнал печали,  
Прежде чем сказать:  
«О бранный мир!..»  
И теперь,  
Идя по Индостану,  
После тысяч ливней,  
Сотен лет  
След его ищу я неустанно,  
Ног его  
Ищу несмытый след!  
Может, нет занятия наивней:  
Восемь сотен лет  
Мели пути,  
Восемь тысяч  
Прошумело ливней,  
Но хочу я этот след найти.  
Вот бежит,  
Бежит ко мне навстречу  
Моря Аравийского волна,  
Может статься,  
Человечьей речью  
Мне о том  
Поведает она,  
Где стоял он здесь  
И где присел он,  
Пил и ел он  
За какой стеной,  
Где из сердца  
Рвался голос смелый —  
Стон и смех  
Страны его родной.  
Плещет море,  
Молча берег лижет  
Затаенным голубым огнем,  
Может, Ганг  
Поэта знает ближе,  
Я у Ганга  
Расспрошу о нем.  
Здесь стоял он  
На прибрежном склоне,  
И, всю жизнь бредущий  
По стране,  
Нищий дервиш  
Складывал ладони:  
Слал привет ему,  
Как ныне мне.  
Тише, воды Ганга,

Не резвитесь!  
Я под теми ж  
Звездами стою...  
Что обрел он здесь,  
Поэт и витязь?  
Что утратил он  
В чужом краю?  
Знаю лишь:  
Сокровище такое,  
Что на ста слонах не увезти,  
Он вместил в груди,  
Прикрыл рукою  
И принес из дальнего пути.  
Он принес,  
Усталый и голодный,  
В милую Месхетию свою  
Пыл любви,  
Большой и благородный,  
К той стране,  
Где я сейчас стою.  
Восемь тысяч ливней  
Мыли землю,  
Подметали  
Восемь сотен лет,  
Но на всем,  
Чему я сердцем внемлю,  
Вижу здесь  
Его бессмертный след!

*Перевел с грузинского М. Максимов.*



---

ВИКТОР УРИН

★

## ДВА ЭШЕЛОНА

Колеса, колеса стучат многозвонно,  
Гудку отвечает далекий гудок.

Два эшелона,  
Два эшелона

Идут, идут на восток.

В одном кто-то крикнул:

— Эсерам не верьте!..—

В другом разговоры полны целиной...

Один называется Поездом смерти,

Поездом жизни — другой.

Год Восемнадцатый входит жестоко,

Плети, тюрьма, демонстраций разгон.

И от Самары до Владивостока

Первый идет эшелон.

А в том эшелоне — в тюрьме на колесах —

Везли коммунистов, измученных, босых,

Голодных, не знавших, куда их везет

Грозовой Восемнадцатый год.

Другой эшелон вышел нынешним летом,

Повсюду его награждают приветом.

Он должен явиться в назначенный срок:

«Куйбышев — Владивосток».

И песни рождаются в спальнях вагонов,

И гулко оркестры звучат на перронах,

В Сибирь новоселов зовет за собой

Год Пятьдесят шестой.

Девчонка глядит на парнишку влюбленно,

Глядит, тербит оренбургский платок...

Два эшелона,

Два эшелона

Идут, идут на восток.

В одном — распускается жизнь молодая,

В другом — угасает, кончается жизнь,

И кто-то свалился на нары, рыдая,

И кто-то воскликнул: — Держись! —

А едут они без огня и без хлеба,

Едут они без земли и без неба,

Едут Сибирью

карателям в пасть.



Мало их, что ли, терзали и били,  
Все отобрали, всего их лишили,  
Но одного не сумели украсть —  
    Веры в Советскую власть!  
Ночью морозной побег из вагона,  
И по бегущим стреляет конвой.  
Год Восемнадцатый...  
    (Два эшелона)  
    ...Год Пятьдесят шестой.

Слышу надрывное: — Дайте напиться! —  
Слышу счастливое: — Здравствуй, пшеница! —  
    Все там в тревоге  
    И в радости тут, —  
По Транссибирской железной дороге  
    Два эшелона идут.

А между ними — годы и годы,  
В огненных бликах знамена свободы,  
Грозные залпы гражданской войны.  
    Лозунги  
    Наших больших пятилеток,  
    Песни  
    Мойх фронтовых однолеток,  
    Цифры  
    Сибирской моей целины.

Сколько огней... Все огни и огни...  
Годы бегут по сибирским долинам,  
Как комсомольцы в порыве едином,  
И посвящаются землям целинным,  
И в Революцию смотрят они.

Нет, не погибли герои, не верьте!  
То, что мечталось им в Поезде смерти,  
В Поезде жизни сегодня живет.  
Словно из дальней завьюженной дали,  
Из Революции нас увидали  
Те коммунисты, что в самом начале  
    Вынесли столько невзгод.

Два эшелона идут, а меж ними  
Десятилетия нелегкой борьбы.  
Мчатся по рельсам, скрываются в дыме  
    Две молодые судьбы.  
Колеса, колеса стучат многозвонно,  
Гудку отвечает далекий гудок.  
    Два эшелона,  
    Два эшелона  
Идут, идут на восток...

## О М С К

Вот и дом восемнадцать по Большой Луговой.  
 Я в раздумье стою. Я молчу. Возникает былое.  
 Это в городе Омске  
 Революция рядом со мной,  
 Восемнадцатый год...  
 И себе я представил такое...

Я представил себе —  
 Это мой настороженный мир.  
 Вот стучу я в окошко, оглядываюсь по привычке.  
 Мир партийных заданий и конспиративных квартир,  
 Где меня, как подпольщика, все называют по кличке.

А вокруг революция,  
 Как поименных друзей,  
 Города созывает, спешит по родимому краю.  
 И над Домом Республики (там, где сегодня музей),  
 Сбросив знамя трехцветное,  
 Красное я поднимаю.

В окруженьи знамен в декабре открывается съезд,  
 И советская Омщина внемлет указам Совдепа.  
 Ну, а белые банды так и рыщут окрест  
 И республику нашу  
 Хватают за горло свирепо.

Еду я из села, не смыкая отточенных глаз,  
 И, на пятые сутки к ревкому подъехав,  
 Узнаю неожиданно красногвардейский приказ —  
 До последнего драться,  
 Задержать эшелон белочехов.

Сам товарищ Лобков в этот день вызывает меня.  
 Все сегодня к нему. Всем он нужен. Я жду среди  
 прочих.  
 Через тридцать минут торопливо седлаю коня,  
 И лечу я в Куломзино и поднимаю рабочих.

Под Марьяновкой бой.  
 Трехдюймовые пушки гремят.  
 Мы на помощь спешим и в атаке деремся как черти.  
 А патронов все меньше, и нету гранат.  
 Отбиваясь, отходим.  
 И в Омске уже белочехи.

Мы в подполье, в подвалах —  
 Город снова на наших плечах,  
 Я живу нелегально, прохожу большевистскую школу  
 И, когда засвирепствовал «омский правитель» Колчак.  
 В переулочек Короткий иду к Даниилу Пашкову.

От филенчатых ставен повеяло чем-то родным.  
 У него в «квартирантах»  
 (Мне сегодня доверили это),  
 У него в «квартирантах», под именем только иным,—  
 Вся подпольная группа партийного комитета.

Мы к восстанью готовились.  
Как там его ни пророчь,  
Только сил не хватало и связь становилась непрочной.  
И не помню я сколько, наверно четвертую ночь,  
Все сижу я в избушке на улице Пятой Восточной.

Там у нас под полами с наборною рамкой доска,  
И шрифты, и две щетки, и банка с мастикой, и валик,  
Там по юности нашей  
Иголкой ходит тоска,  
Пришивает усталость — такую, что с ног так и валит.

Мы к восстанью готовимся. И на Большой Луговой  
Открываем уже тайники оружейного склада.  
Ожидается ночь...  
Отвечаем своей головой...  
Назначают меня комиссаром второго отряда...

Латыши-коммунисты поодаль стоят начеку,  
Ожидаем сигнала.  
Вот сейчас напоследок покурим,  
И рванемся на приступ, и с криком «Не быть Колчаку!»  
Опрокинем охрану и выпустим братьев из тюрем.

Пулеметно-ружейный озлобленный разговор...  
Нам приходится туго. Отвечаем нестройно и редко.  
Угасает восстание.  
Властвует белый террор.  
Нас в застенки берет колчаковская контрразведка.

Я представил себе... да, представил декабрьский мороз.  
Мое тело изранено так, что боишься потрогать,  
Но опять через сутки меня волокут на допрос,  
Избивают, калечат, загоняют иголки под ноготь.

«Говори!» Я молчу. Я пощады у них не прошу.  
Ненавижу.  
Всем сердцем.  
В душе моей злость и отвага.  
И в числе восемнадцати гонят меня к Иртышу  
И стреляют в меня, и я падаю, сделав полшага...

Сорок лет пронеслось. Моя юность оставлена там.  
Там мои однолетки... Они спят за оградой чугунной,  
Где написано:

**«БРАТЬЯ!  
ШАГАЙТЕ ПО МЕРТВЫМ ТЕЛАМ,  
ДОНЕСИТЕ ИХ ЗНАМЯ  
ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ КОММУНЫ!»**



---

---

ПАВЛО ОРОВЕЦКИЙ

★

## СЕРДЦЕ СОЛДАТА

*Повесть*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вечерний салют

**В** большой, тесно заставленной койками палате было сумрачно. У широкого окна с открытой форточкой, куда вливался настоенный терпкими весенними запахами воздух, одиноко стоял человек в теплом байковом халате.

Где-то внизу звонили трамваи, шумела улица, зажатая между высокими зданиями. В палату доносились нетерпеливые гудки машин, треск электросварки.

Потом все затихло. И в наступившем молчании послышался перезвон кремлевских курантов, за окном прозвучал раскатистый взрыв. В темном небе засверкали сотни ярких огней, осыпая город разноцветным дождем.

Человек вздрогнул, отпрянул от окна, неуклюже замахал руками. Он смеялся, захлебывался, он кричал:

— Сестра! Я вижу! Я вижу, сестра!

Дверь в палату порывисто распахнулась. Вспыхнул свет.

— Я вижу! Сестра, Мария Павловна, я вижу!

Неуверенно отступая от окна, человек, который чувствовал радость и еще не преодоленную беспомощность, потянулся к сестре своими забинтованными руками.

— Мария Павловна, я вижу!

Медицинская сестра бросилась к раненому.

— Григорий Сергеевич! — вскрикнула она, всматриваясь в его глаза, и засмеялась звонко, как смеются счастливые дети. — Вы видите? Вы и меня видите, Григорий Сергеевич?!

У раненого дрогнули плечи, лицо болезненно передернулось.

— Вас, Мария Павловна? Не-е-ет, вас я не вижу...

Еще мгновение назад радостный и возбужденный, старший лейтенант Григорий Трошук опустил руки.

Мария Павловна с мукой наблюдала за ним. Сколько пришлось выстрадать этому человеку? Какие физические и душевные страдания испытал этот воин, с которым свела ее судьба медицинской сестры?

Они познакомились два с лишним года назад. Тяжело переживал молодой офицер свое ранение. Упорно отказывался сообщить, где живет его семья, не хотел, чтобы ему помогли написать домой. Мужественное лицо, высокий лоб, крутой подбородок Григория Трошука указывали на сильный характер, и только мягкие светлые волосы, спадавшие на лоб, как бы говорили о нежности, на которую способен этот человек.

Над городом еще раздавались залпы салюта. Вслушиваясь в них, Трошук снова подошел к окну и будто ожил. Россыпь ярких огней снова и снова озаряла московское небо. К щекам Трошука прилила кровь, он часто дышал, тяжело опущенные руки дрожали.

Мария Павловна тихо вышла из палаты.

В комнатке дежурных она прислонилась плечом к косяку, настороженно ожидая. Что присходит с Трошуком? На что он надеется? Неужели он на самом деле видит?

Не выдержав, Мария Павловна вернулась в палату.

Григорий, почувствовав ее присутствие, обернулся.

— Сестра? Когда же будет профессор? На той неделе? Нет, так долго я ждать не могу. Позовите профессора завтра же! Завтра! Я вас очень прошу!

Мария Павловна прижала руку к груди. Хорошо, она поговорит с профессором Колиным, пускай только Григорий Сергеевич не волнуется. Возможно, еще сегодня ей удастся увидеть профессора. А если нет, она завтра обязательно поедет к Колину в клинику и договорится с ним.

В коридоре послышался чей-то голос. Звали сестру. Мария Павловна вышла. А Трошук постоял, прислушиваясь к затихающим шагам сестры, и сел в низенькое кресло, стоявшее у окна. Ветерок мягко шевелил тяжелую штору, и она, колеблясь, касалась плеча Григория.

Пушки умолкли. Снова загудели машины, где-то неподалеку забормотал громкоговоритель, за домами прокричал паровоз, торопливо простучали по рельсам колеса.

Трошука с новой силой охватило чувство надежды. Ведь он действительно вот сейчас, только что, стоя у этого окна, не только ощущал, но и видел свет. Не может быть, чтобы он ошибся. Одновременно с грохотом салютующих пушек все вокруг озарилось, заиграло яркими огнями. Он, кажется, всем телом чувствовал каждую искру, сверкающую в темном майском небе. Ракеты, описав в небе крутую огненную дугу, торжественно опускались на притихший город, разбрасывая разноцветные искры. И тогда резче выступали контуры высоких зданий, очертания деревьев, только-только начавших зеленеть, телеграфных столбов, радиомачт. Точно так же бывало и на фронте, когда осветительные ракеты озаряли все вокруг...

Он будет видеть! Он снова будет видеть все. Профессор обещал сделать еще одну — решающую — попытку. А раз профессор говорит, значит и у него есть надежда.

Сначала, когда все это с ним случилось, Григорию казалось — всего лишь обычное мгновенное ослепление от взрыва. Дивизия только начала наступать, немцы поспешно отходили, боясь окружения с флангов. Пулеметный огонь затих. Трошук решил воспользоваться этим, поднялся во весь рост, крикнул бойцам: «Вперед! За мной!» — и побежал. И вдруг резкий свет ударил в глаза, в ушах словно лопнули барабанные перепонки, и все вокруг окутал мрак.

Он не упал. Стоял, растерянно встряхивая головой. Тело стало тяжелым, руки упали, словно налитые свинцом.

Страшным усилием он одолел слабость, овладевшую телом.

— Держаться! — крикнул он. — Держаться!

Бой шел впереди. Он клокотал, он огнем разливался по земле. В грохоте боя выделялись тяжелые орудийные залпы. Без усталости строчили пулеметы. Громыхая гусеницами, туда, вперед, промчался тяжелый танк. На Трошука дохнуло горячим смрадом отработанного газа.

«К своим! — ударило в виски, подтолкнуло в спину. — К своим!»

И он побежал вперед. Задыхаясь от смертельной усталости, пробежал, ничего не видя, несколько шагов и упал. Хотел подняться на ноги, но упал снова. Ужас сковал его сердце. Опираясь на локти искалеченных рук, он



пополз. Голова кружилась, но он, двигаясь из последних сил, полз все дальше и дальше. Тяжело дыша, он падал, поднимался и, истекая кровью, снова начинал ползти. Вперед, вперед!..

День еще только начинался, а его окутала страшная тьма. Силы иссякали. Он уткнулся лицом в землю, с жадностью вдыхая воздух с горьким привкусом полыни.

Кто-то перевернул его на спину.

— Жив?

Трошук услышал родную речь и потерял сознание.

Долго не мог он понять потом, где находится и что с ним происходит. В комнате было темно; слышались стоны, ругань, приглушенные голоса. Он вспомнил, что такой же шум стоял в палате и тогда, когда он, получив первое ранение, попал в полевой госпиталь под Балаклеей. Но почему здесь так темно? Неужели уже ночь? Эти дневные звуки, которые доходят до него, никак не вяжутся с кромешной тьмой. Горло Григория сжала спазма, у него перехватило дыхание. Что же случилось? Неужели это навсегда? Или только на время? Он никого не спрашивал, ни с кем не говорил, он лежал и напряженно вслушивался.

Пошевелил рукой — забинтована. И вторая тоже в гипсе.

И вдруг он понял, что и на глазах у него бинты.

— Сестра! — крикнул он и сам еле услышал свой голос.

— Что тебе, друг? — послышался сбоку мужской голос.

— Сними повязку!

— Нельзя, друг, потерпи. Скоро придет самолет, отправим тебя в Москву. Тяжело раненных много. Всех отправляем.

Григорий встрепенулся. Попытался подняться на локте.

— Я... я...

Сильная мужская рука легла на плечо Трощука.

— Да ты лежи, не волнуйся. Силы береги.

Григорий так и не смог закончить свой вопрос, хотя страшное слово готово было сорваться с языка.

— Покуда еще ничего не известно, — услышал он тот же рассудительный мужской голос. — Не бойся. Только будь поосторожнее. Таким, как ты, лишний раз двинуться и то опасно. Лежи себе спокойно.

Трошук молчал. Уже дважды кто-то предлагал ему поесть, а он не отвечал. И, видимо, только под вечер, когда в комнате начало затихать, тот первый голос, который успокаивал его, спросил грубовато:

— Может, стопку налить?

Разведенный спирт обжег рот, но Трошук отказался от закуски. Он лежал все так же молча, неподвижно.

И в Москве, куда его привезли на следующий день, он так же молчал, не вступал в разговоры с товарищами по палате, ничего не ел и не пил. Но вот у его кровати появилась медсестра.

— Давайте-ка присядем, будем обедать, — певуче произнесла она, подсовывая свою руку под его плечо.

То ли от этого теплого, материнского прикосновения, то ли от тона, приветливого, но твердого, которым она обратилась к Григорию, — тона, не терпящего никаких возражений, он согласился, чтобы его приподняли. Слегка закружилась голова. Но у него за спиной оказалась опора — подушка, пододвинутая сестрой. Потом она, придерживая Григория, провела чем-то влажным по лицу, обтирая его. Григорию стало неловко. И это было, кажется, первое человеческое ощущение после того, как он был ранен.

— Давайте будем вести себя умно, товарищ старший лейтенант! Договорились? Мы ведь не будем огорчать сестру, врачей? Мы с вами люди с характером! Так ведь?

Она разговаривала с ним, как с ребенком, и это тронуло Трощука. По его пересохшим губам пробежала короткая улыбка. Сестра назвала свое имя и отчество и сказала все так же тепло, но без малейшей слащавости: — Вот так мы будем ежедневно умываться перед едой. До тех пор, пока не встанем совсем. Это освежает. Посидите, я сейчас вернусь.

Мария Павловна вышла так же тихо, как и появилась. И как только она ушла, недалеко от Григория кто-то заговорил тенорком:

— Что, хохол, поднялся? Эта молодка поднимет! Не даст лежать...

Послышался запах бульона со свежим укропом. Григорий, впервые почувствовав голод, проглотил слюну.

Медсестра легко села возле него на кровать.

— Со стула мне будет неудобно. Подвиньтесь-ка чуточку. Хлеб я нарезала на мелкие кусочки, чтобы вам было удобно. Не бойтесь, суп не горячий...

С первой ложкой бульона Трощуку так захотелось есть, что он стал глотать хлеб, почти не разжевывая его.

Сестра рассмеялась:

— Вот это аппетит так аппетит! Да не тянитесь вы ко мне. Так мы всю постель забрызгаем. Э-э, нет, вечером попрошу к столу.

И снова Григорий услышал тот самый тенорок, который уже однажды называл его «хохлому».

— Ишь, как глотает! — раздался доброжелательный смежок совсем рядом. — Мы его, Мария Павловна, скоро приучим к порядку. Не маленький — обедать в постели.

Сестра вкладывала маленькие кусочки хлеба Григорию в рот, кормила его с ложки, вытирала салфеткой губы. И все же он так устал за время обеда, что едва смог поблагодарить сестру.

— Фомин! Возьмите тарелку, — попросила Мария Павловна, и снова ее рука коснулась Трощука, помогая ему лечь.

Григорий вздохнул.

— Ничего, ничего, — приговаривала Мария Павловна, поправляя подушку. — Мы быстро наберем сил. Выздоровеем. Спите. Теперь хорошенько спите. Вы же у меня умница!

Сколько уже времени прошло, а та первая встреча с Марией Павловной не забылась... Есть же такие женщины на свете, которые входят в чужую жизнь, будто к себе домой, и умеют в ней распорядиться так ласково и властно, что хозяину и возразить нечего и противиться нечему. Будто она всегда была здесь и только на минутку отлучилась.

Мария Павловна обращалась с ним так же ласково-бесцеремонно, как Дояня, с которой он жил много лет. Откуда у сестры такая легкость и непринужденность, Григорию было невдомек. Он не понимал, что это профессиональная привычка, согретая доброй, отзывчивой душой. Мария Павловна шла навстречу горю, стремясь взять на себя хоть часть безмерных солдатских страданий, которые видела ежедневно.

Мария Павловна сама готовила Трощука к первой операции, нашла время, чтобы присутствовать на операции, решавшей судьбу его левой руки, — правую удалось спасти еще раньше. Когда Трощука везли из операционной, она молча шла рядом; в палате помогла переложить его на постель.

Ни стоны, ни вдоха не услышала она от Трощука. И сама не проронила ни одного успокоительного слова, будто и не было ее рядом. Но Григорий сердцем почувал, что сестра рядом с ним и молчит только потому, что чувства ее сильнее слов.

Он догадался, что все сразу же вышли из палаты, даже Фомин, его дружелюбный и участливый сосед. Только сестра стояла рядом, затаив дыхание. Потом она положила Трощуку на лоб свою прохладную ладонь и только после этого тихо вышла.

И позже, когда хирурги-окулисты начали борьбу за его правый глаз, Мария Павловна, неотлучно сопровождая Трощука, оставалась все такой же спокойной. И только дома, в своей маленькой комнатке, не выдержала, уронила голову на стол и заплакала. Но Трошук ничего не знал об этом. Да и откуда ему было узнать!

Как-то в воскресенье, еще в самом начале их знакомства, Мария Павловна, управившись со всеми своими делами в палате, предложила:

— Ну, так как же? Напишем домой? Я и бумагу захватила и карандаш. Какой адрес? Где ваш дом?

Она спрашивала его громко, весело, но Григорий не отвечал.

— Почему мы молчим?

— Не надо, — ответил Трошук. — Не будем об этом, Мария Павловна. — И добавил хрипло: — Потом...

Это был тяжелый день. Григорий понимал, что Мария Павловна догадывается, почему он не хочет писать домой, но не хотел объясняться на эту тему. Мария Павловна обиделась, и между ними возникла молчаливая размолвка. Сестра говорила с другими ранеными, шутила с разговорчивым Фоминым, но к Григорию обращалась редко, и тогда в ее голосе слышался упрек.

Во время обеда Мария Павловна не пригласила его к столу, забыла, видно. Села, как когда-то, на его постель. Вздохнула: «Голова болит!» И Григорий понял: сегодня она не хочет с ним разговаривать. Она кормила его молча, а он ловил каждое ее движение и чувствовал, что за все время их знакомства сестра не была такой далекой, как сейчас.

Когда убрали со стола, Фомин, Акынбаев, горластый Кравченко и другие соседи Трощука по палате начали играть в домино, смеялись, шутили, потом о чем-то заспорили и увлеклись так, что их голоса были слышны на весь госпиталь. А Григорий, угнетенно и мрачно, одиноко просидел у окна и только под вечер, когда Фомин давал ему прикурить, спросил, где сестра.

Мария Павловна появилась не сразу. После ужина все ушли в кино, и Григорий снова остался один. В палате приглушенно напевало радио, внизу, за окном, гремели и шипели трамваи, шумела улица. Григорий ждал Марию Павловну. Затаив дыхание, прислушивался к каждому шагу в коридоре, к каждому шороху за дверью.

Наконец послышались ее шаги. Когда открылась дверь, Григорий радостно улыбнулся.

— Зачем вы сказали так? — вернулась Мария Павловна к старому разговору. — Вы же... Я не верю, чтобы вы не хотели знать, что происходит дома, что сейчас с вашей женой и детьми. У вас же есть дети?

Григорий попросил сестру сесть, побыть немного с ним, и Мария Павловна просидела тут почти весь вечер. Чувствуя свою вину, он стал рассказывать о Докии, о сыне. Вспомнил о Песчанке, далеком, родном селе. Вспомнил дубовую рощу, маленькие озера, разбросанные по зеленым лугам, похожие на серебряные блюдца; по утрам над озерами стелются прозрачные туманы, а днем над Песчанкой — голубое безоблачное небо; вспомнил старую грушу посреди двора, воркование голубей на чердаке сарая...

Воспоминания охватили его, и Григорий почти забывал, кому он все это рассказывает. Он видел свою молодую жену — светловолосую, круглолицую, неугомонную...

Однажды они вместе пошли в лес. Взяли с собой и маленького Дмитрия. День был ясный, солнечный, все вокруг так и горело, так и сверкало. На опушке леса стоял могучий дуб в четыре обхвата. Свидетелем

скольких событий был этот дуб на своем веку! По вечерам, когда в клубе не было кино, молодежь со всего села собиралась под сенью дуба. Пели, играли на гармошке, плясали. Вся трава вокруг дуба была вытоптана. В воскресные дни там собирались женщины посудачить. Густая крона дуба раскинулась, как шатер. Хорошо! Все вокруг купается в солнечных лучах, а женщины сидят себе под деревом, грызут семечки. О чем только не переговорают за день! Всему селу был по душе тот дуб. Не одна молодая пара простаивала под ним ночи напролет.

— Вот подошли мы к дереву, сынишка мигом бросился собирать желуди; бегал, складывал их в кучки. А Докия как схватит из той кучи горсть желудей и давай бросать их в меня — в голову, в спину!.. И хохочет. А Дмитрику того только и нужно, чтобы мать играла. Он знай себе собирает да подсыпает в кучку желуди....

Григорий умолк. Потом вздохнул.

— Вот тогда Докия и сказала мне: наша жизнь будет крепкой, как этот дуб. Ни ветры, ни бури ее не сломят.

Сестра сидела напротив Трощука в своем стареньком халате, положив руки на колени. Смотрела ему в лицо и слушала. Слезы бежали по ее щекам, но она не пыталась сдерживать их.

— Так почему же не написать домой? — спросила она тихо. — Ведь у нее там, поди, вся душа изболелась в ожидании?

Григорий поднялся — растерянный, неуклюжий в длинном госпитальном халате. Хотел что-то сказать, но не смог, и заученным шагом стал расхаживать между кроватью и окном.

— А вы бы на моем месте написали? — спросил он, остановившись наконец.

— Григорий Сергеевич! — Мария Павловна укоризненно всплеснула руками.

Забинтованной рукой Трощук прикоснулся к открытой шее, словно бы хотел поправить тесный воротничок, овладел собой, прислонился к спинке кровати и выдавил:

— Если б вы только знали, Мария Павловна... как страшно...

— Так, значит, напишем домой? — стала наступать сестра. — Согласны?

В тот же вечер они и написали в Песчанку.

Позднее, когда товарищи возвратились из кино и улеглись спать, Григорий стал мысленно представлять себе путь своего письма-треугольника: вот оно приходит в Овруч, вот приходит в село. И вот уже баба Килина, сухая и быстрая, идет по улице с кожаной сумкой через плечо и длинной вишневой палкой в руке. Она идет и по привычке каждому встречному рассказывает последние новости:

— Докии Трощуковой пришло письмо от Грицькы. Ну да, жив. жив!

Он видит Дмитрика, который выхватывает у бабы Килины письмо, размахивает им над головой и радостно кричит:

— Мама! Ма-ама! Письмо... от тата!

Григорий безуспешно старается представить, как выглядит теперь его сынишка. Видно, здорово вырос уже — стал широкоплечим крепышом. И такой же светловолосый, как мать...

Григорий перевернулся на другой бок, локтем взбил горячую подушку и продолжал мечтать, мысленно представляя себе, как на голос сына из-за дома выбежала испуганная жена. Она в белой кофточке, в фартуке. Светлые брови поднялись на лоб тревожно, вопросительно, недоверчиво.

— Ну что... что ты теперь ответишь мне, женушка моя? — сокрушенно прошептал он. — Я знаю твое сердце. Знаю. Да не такой я теперь, каким когда-то был...

### Слово профессора Колина

Григорий ждал.

Что происходит на душе у человека, который отправил письмо и начал жить горячей надеждой на возвращение домой? Даже сутки стали для Григория короче, потому что он начал жить сложной, двойной жизнью. Он одновременно был и здесь и дома; терпеливо выполнял все, чего требует суровый госпитальный распорядок, и в то же время мысленно помогал во всем жене, подыскивал себе работу и за пределами дома.

Однако эти мысленные поиски работы обрывались, как только Григорий вспоминал о лечении. Профессор Колин особенно не обнадеживал, но и не отказывал в надежде, не отправлял домой. Значит, какая-то капелька надежды у профессора все-таки теплится? Однажды в разговоре с Трощуком он сказал тихо:

— Время и время. Вот что необходимо после такой тяжелой травмы, как у вас. Лечитесь. Для решающей операции вы должны быть совершенно здоровым человеком — и физически и духовно.

Каждый день из госпиталя выписывались раненые. Заместитель начальника госпиталя по политчасти, врачи, технический персонал — все сбивались с ног, чтобы предотвратить организацию «проводов». Но они стали традицией, и каждый вечер то в одной, то в другой палате неведомо откуда появлялась водка...

Незадолго до Дня победы из их палаты выписывался Акынбаев. Еще недавно он ходил с повязкой на глазах, ждал результатов операции и вот уже получил документы. Он ошалел от радости, бросался товарищам на шею. Небрityми, колючими, как щетка, щеками прижимался к их лицам и приглашал всех к себе в Казахстан, говорил о том, какие тосты произнесут они за столом.

— Акынбаев! В моей палате тостов не будет.

Все обернулись на голос Марии Павловны.

Сестра стояла в двери, суровая, требовательная.

Раздался дружный громкий смех. Она опоздала. Провожающие уже выпили...

Недавние проводы солдата Никиты Шутикова прошли грустно: Шутиков возвращался домой слепым. Прощаясь, каждый словно бы и себя чувствовал в чем-то виноватым перед этим тихим, скромным солдатом, который, не думая, что совершает подвиг, расстрелял из противотанкового ружья девять вражеских танков, а сам вышел из строя от пули, которая, как он говорил, «прошила» ему висок. Теперь, провожая Акынбаева, все радовались его выздоровлению.

Каким же поедет домой он, Трощук? Таким, как Акынбаев, или таким, как Шутиков? Эта мысль не покидала Григория.

А после торжественного салюта он и вовсе потерял покой, его лишила сна не робкая надежда, а острая уверенность. Он твердил, что видел свет, и требовал вмешательства врачей, немедленной операции, немедленной помощи.

И вот предстояло новое свидание с профессором Колиным. В сопровождении Марии Павловны Григорий спустился на первый этаж. На легкий стук сестры из кабинета ответили, слегка картавя:

— Проходите, прошу!

Профессор вежливо пригласил их сесть и, придвинувшись со своим креслом к Григорию поближе, сразу же заговорил. Он уже все знает со слов Марии Павловны, ему понятно нетерпение Трощука, но он не разделяет его стремления ускорить операцию. Поспешность в таких важных делах, как лечение глаз, недопустима. Уж очень велик риск, чтобы не считаться с ним. Пускай товарищ Трощук простит, но ощущение света может



быть и обманчивым, особенно когда человек страстно ждет и заранее знает, где и когда должен появиться свет.

— Следовательно... Следовательно, вам еще могло и показаться, что вы видели яркие огни салюта.

Григорий сидел перед профессором, напряженно приподняв брови. Если бы не повязка на глазах, его можно было бы назвать красивым. Высокий выпуклый лоб, сильная шея, широкая грудь.

— Терпение, старший лейтенант, терпение! — проговорил профессор, заметив, что лицо раненого болезненно передернулось. — Когда есть надежда возвратить зрение, это уже наполовину сделанное дело.

Григорий почувствовал, что сестра приближается к нему. Вот она легко коснулась его плеча.

— Пойдем? Я же вам говорила: о нас помнят. Когда настанет время, нас позовут. А покамест — разрешено делать полегче повязку, так будет спокойнее.

Григорий сдержанно поблагодарил профессора и твердым шагом вышел из кабинета.

Однако за дверью он резко остановился.

— Мария Павловна, профессор говорил искренне? Или он просто жалеет меня? Скажите!..

— Вы не верите профессору Колину? Ну нет, он на ветер слов не бросает. Сейчас я сделаю вам новую повязку, и мы выйдем в сад.

Быстрыми и ласковыми движениями Мария Павловна перебинтовала Григория и, касаясь локтями его груди, поднялась на цыпочки, чтобы завязать на макушке узел. Григорий затаил дыхание.

— Вот! — Сестра его отпустила. — Теперь совсем другое дело. А то за широким бинтом и лица не было видно. Проходите вот сюда, сюда... Славно у нас в садике. А тут и Алексей Ферапонтович, оказывается, отдыхает. Товарищ Фомин, как дела?

Свежий майский ветер ударил Григорию в лицо. На старом школьном дворе, где разместился госпиталь, былолюдно; за круглым столиком под березами, которые уже покрылись зелеными листьями, раздавались веселые выкрики, смех. Григорий осторожно пошел к товарищам, высоко поднимая ноги, сквозь тонкие подошвы тапочек ощущая все неровности земли.

Откуда-то справа откликнулся Фомин:

— Давай топай сюда, Гриша, тут солнышко пригревает. Земля теплая, я уже босиком ходил.

Не доведя Трощука до Алексея Ферапонтовича, сестра легко высвободила руку и отправилась в здание, все время оглядываясь назад. Григорий поколебался мгновение, потом широко шагнул раз и другой и пошел на голос Фомина с решительностью человека, которому уже не привыкать к неожиданностям.

— Садись возле меня, хохол! — Фомин хлопнул ладонью по скамейке. — Я получил из дому письмо. Жду-ут! Начали сев. Вот бы и нам туда, в поле, к тракторам. Ну, рассказывай, как там профессор?

Из всех, с кем Трощуку пришлось встретиться в госпитале, Фомин стал для него самым близким товарищем. До войны Алексей Ферапонтович работал бригадиром тракторной бригады, потому сейчас у него только и разговоров было, что о машинах. Фомин бредил ими. Когда по улице тяжело громыхая, пробежал грузовик, Фомин шумно вдыхал горьковатый перегар, проникавший в палату, кряхтел от удовольствия и сразу же замечал:

— На лигроине помчался. Эх, и хлебнет же хлопот!

Фомин часто получал письма из дому от своей пятнадцатилетней дочери. Каждый раз она передавала множество поклонов от всех соседей и

знакомых. И Алексей подробно рассказывал о деревенских новостях другу, не подозревая, как волнуется его. Григорию и самому не терпелось получить наконец весточку из родных мест.

Вчера вечером, когда все уже улеглись спать и в палате потух свет, Фомин, склоняясь со своей постели, прошептал:

— Не спишь, Гриша? Марфушка пишет, что Лыска отелилась. Хорошо бы — телка. А ей разве не все равно, даже не написала телка или бычок... Пишет: «отелилась Лыска», да и все тут. Нет, не выйдет из нее хозяйки. С пеленок о тракторе мечтает. А вечером... Да ты не спишь ли, Сергеич?.. Слышь! Сидит, бывало, выучит уроки и начинает перелистывать мои книжки...

Трошук слушал Алексея, не прерывая. Представлял себе, как по лицу друга блуждает счастливая улыбка, а тот, уже зевая, бормотал потихоньку:

— Хо-зьяй-ка!

Фомину оставалось находиться в госпитале недолго. Осколок гранаты попал ему в левый висок и повредил глаз. Спасти его так и не удалось. Однако Алексей, оптимист по натуре, не очень печалился.

— С одним глазом еще дальше видеть буду. Руки есть, ноги есть — сяду на трактор и буду ковырять землю. Ох, и люблю же я, Гриша, пахать,— говорил он.— Правда, и свеклу приятно рыхлить и солому складывать в скирды — есть где развернуться. Но пахать!..

Григорий все с большим и большим беспокойством ожидал письма. Каждый день в десятом часу, когда в палату приносили почту, он замирал в ожидании.

Девушка из канцелярии госпиталя выкликнула:

— Кравченко!

— Фомин!

— Давай, давай! Почитаем...— откликнулся Алексей Ферапонтович.

Всех сотрудников госпиталя, всех раненых, независимо от возраста, он называл на ты.

— Шутиков! Э-э, а Шутикова-то уже выписали?

Сначала то, что его, Трошука, не выкликают, он воспринимал как должное. Но с каждым днем ждать становилось все труднее.

Письма все не было. И когда девушка уходила, Григорий, расстроенный, ни о чем не хотел говорить. Глухое раздражение поднималось к самому горлу.

— Не хотят писать! Как же, нужен им кто-то!..— бормотал он с горечью. Но тут же всплывало страшное предположение: а может, их и в живых-то нет? Может, там и от Песчанки ничего не осталось? Может, и ее война стерла с лица земли? Или, быть может, Докия забыла о нем, отказалась от него?

Он не находил себе места. Боль душила его. Неужто он ошибся в жене? И сыночек, Дмитрусь... Теперь ему уже исполнилось двенадцать лет. А вот не пишет, не отвечает. Почему же, почему?

Он вспоминал, как возился с сыном, когда тот был еще совсем маленьким. Мальчик в черных штанишках с лямкой через плечо, в синей рубашке с веселым криком выбегал на улицу встречать отца с работы.

С разгона цеплялся ручонками за штанину отца и принимал к ноге, наступая на тяжелый сапог отца. Григорий делал шаг, другой, стараясь не уронить сына. А затем хватал Дмитрика, перебрасывал через плечо и, крихтя, будто у него и впрямь была на плече тяжеленная ноша, топал к избе.

На крыльце, сложив руки на груди, их встречала Докийка. Так в памяти во всех дорогих подробностях вставала радостная встреча с женой и сыном...

Раздался звонок на обед. Фомин, увлекшийся беседой с кем-то из товарищей, докурил сигарку и направился в столовую.

— Пошли, Сергеич! — Он не поддерживал за руку Григория, ни о чем не предупреждал, шел в сторонке и продолжал разговор, будто бы рядом с ним был такой же, как и он, зрячий человек.

Постепенно Григорий привыкал к мысли, что ему суждено остаться слепым. В госпитале у него необычайно развилась способность ориентироваться. Свою палату и коридор Григорий знал уже хорошо. Без посторонней помощи проходил между кроватями к столу или к окну, ни на что не натыкаясь, даже не сбивая с места пестрый половик, положенный в проходе. При этом он не поднимал и не вытягивал перед собой рук, шел, словно все видел. Конечно, эта уверенность пришла не сразу. Были неудачи и огорчения. Круто поворачиваясь, Григорий не раз больно ударялся о шкаф или о стул, но никогда не подавал виду, что ему больно.

И вот сегодня, оставшись в палате один, он неожиданно наткнулся на табуретку. Удар был таким сильным, что Григорий со злостью отшвырнул табуретку и даже присел от боли. Но сразу же выпрямился. Мгновенная слабость только раззадорила его. Крепко стиснув зубы, он бросился в ту сторону, где загрохотала табуретка, но наткнулся на кровать. Отступил немного — зацепился за стол. Растерянный, он бросался из одного конца палаты в другой и никак не мог найти злополучную табуретку — она как сквозь землю провалилась. Чем дальше искал, тем все сильнее охватывала его злость на свою беспомощность. Он бежал из конца в конец палаты, не думая о том, что будет, если он с разгона снова споткнется о табуретку. Но табуретка не попадалась. Вспотевший, уставший, он остановился. И вдруг, вскрикнув, бросился к столу, облокотился на него и ногой нащупал табуретку под столом.

— Есть! — обрадовался он, будто играл с табуреткой в прятки.

Нюющими руками поднял и поставил ее в проходе между кроватями, а сам отошел к умывальнику и снова пошел твердым и уверенным шагом. И снова сильно ударился об угол табуретки. Но на этот раз лишь крутые брови упрямо нахмурились. Стиснув зубы, Григорий снова возвратился назад. Еще, а потом еще и еще он ударялся ногами о табуретку, стараясь совершенно спокойно воспринимать боль.

В палату неслышно вошел Фомин и, пораженный, остановился у двери.

— Что ты тут делаешь? — удивленно воскликнул он.

На бледном лице Трошука промелькнуло раздражение. Он вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь был свидетелем его тренировок.

Скрывая боль, он рассмеялся:

— Воюю, как видишь...

Фомин тяжело вздохнул, сухо сказал:

— А зачем же табуретки ломать? Я... я делал не так, когда ничего не видел. — Голос Алексея Ферапонтовича стал немного теплее. — Рассчитывал шаги, ходил осторожно.

— Так ты же знал, что будешь видеть! — возмущенно, со злостью воскликнул Трошук и отвернулся, чтобы скрыть зависть, которая неожиданно обожгла его.

— Ни черта я не знал! Садись. Садись, Григорий. Опомнись! Умом брать нужно, а не злостью.

Спокойный тон, которым снова заговорил с ним Фомин, еще больше разжег Трошука. Может, Алексей Ферапонтович думает, что это с ним впервые? Что до сих пор он все переносил спокойно, готовил себя к жизни с поводырем, который будет предупредительно показывать, где и как ему пройти, чтобы ни за что не зацепиться? Нет, таким он никогда не будет!

— Если я не вижу, то чувствовать, где она, эта проклятая табуретка, я должен. Понимаешь, чувствовать должен — только тогда я успокоюсь.

— Да как же ты, сумасшедший, почувствуешь, где она?

— Так, как чувствую, где дверь, как чувствую, где шкаф. Я же на них никогда не натываюсь. Вот смотри...

Трошук резко повернулся и быстро пошел в другой конец палаты, к той стене, у которой стоял шкаф. Ковер приглушал его тяжелые шаги. У самого шкафа, не доходя полшага до него, Григорий вдруг остановился.

— Не наткнулся ведь? И сто раз подойду, не наткнусь. А ведь я же не рассчитываю. Просто иду себе — и все! Точно так же я не ударюсь и о дверь. Так почему же я должен спотыкаться о табуретку? Нет, я ей этого не прощу!

Алексей Ферапонтович приблизился к Григорию, обнял его одной рукой за плечо и, чувствуя, как того пронимает дрожь, подвел его к дивану, на котором сам любил отдыхать.

— Не отчаивайся, дружище! Когда солдат теряет веру, пиши пропало. Поживи там, наберись сил, а потом возвращайся сюда. С такими нервами кто тебя оперировать будет? Хотя ты и держишься...

По лицу Григория пробежала тень. Сдержанный тон Фомина вызывал подозрение.

— Выполняешь приказ врачей? Подготавливаешь меня к выписке? — бросил Григорий с ядовитой усмешкой и добавил: — А ты подумал, куда мне податься? Другие, у кого обе руки целы, гармошку через плечо — и то заработок, а я куда же должен деваться? Жене на шею? Или на всю жизнь в инвалиды? Не трогай меня! Я отсюда не уйду, слышишь?! Не уйду! Пускай мне возвратят зрение. Какие же они врачи, если они только и умеют зубы заговаривать? Не может быть, чтобы наука была такой бессильной!

Фомин предложил Трошuku сигарету, пошел к тумбочке, взял спички, погремел ими.

— Закурим, чтоб дома не журились! Ух, брат, и горячий же ты! На, прикуривай! Ты рассуждаешь так, будто попал в безвыходное положение. Тебе же обещают. Но не все сразу... Поезжай домой, поживи покамест мирно с Явдошкой. Или, может, ты потерял веру в нее? Коли так, значит не любишь. — Теперь уже и Фомин стал горячиться. — Не любишь? Тогда оставайся себе здесь, и не морочь жене голову.

Так, ни о чем не договорившись, они и разошлись.

Кончался май. Деревья в школьном садике покрылись густой зеленью. На клумбе поднялись цветы. Под вечер, когда пригревало солнце, сюда собирались почти все обитатели госпиталя. Сначала шли, прихрамывая, те, кто ходил уже самостоятельно, опираясь на самодельные палки, за ними плелись на костылях те, кого еще приходилось поддерживать товарищам; иных вывозили на колясках. Всех привлекали первые цветы: яркие анютины глазки, белые цветы табака...

Восклидания товарищей, радовавшихся цветам, причиняли Григорию тяжкую боль: ведь когда-то и он видел все это... Бывало, Докийка, возвращаясь с поля, приносила целые охапки полевых цветов. И сама она, белолицая, с румянцем во всю щеку, ходила, сама распространяя вокруг полевые запахи васильков и чебреца. Солнце словно не могло задеть ее. Бывало, подруги загорят дочерна, а у нее и лоб и щеки белые, нежные, словно и не было жары, не было знойного лета.

— Да ты росой цветочной, что ли, умываешься? — допытывались у нее женщины. И Григорий весело смеялся, когда его жена отвечала:

— Да ну вас! Молочаю умываюсь... Раз в неделю, по субботам, — чтобы хлопцы сильнее любили. Вот ты, Надя, попробуй — сразу станешь белая.

Еще и до сих пор в его памяти жили Докийкины грядки с цветами под окнами. Чего-чего только там не было: розы, тюльпаны, пионы... Красные, белые, желтые георгины цвели у нее почти все лето. Под самую крышу забирались «крученые паньчи». Каждый вечер плыл над подворьем дурманящий запах табака и ночной фиалки. Наверное, во всем селе не было другой женщины, которая так любила бы цветы, как его Докийка.

Григорий забывался в воспоминаниях. Но ловил себя на том, что, забывшись, утрачивает уверенность в движениях, двигается с чрезмерной осторожностью.

Когда-то, еще до войны, ему довелось видеть в Овруче слепого, который прогуливался в палисаднике. Сначала тот ходил от крылечка до забора довольно уверенно. Сделав определенное количество шагов, поворачивался и шел обратно. И так повторялось несколько раз. Но чем дальше, тем все короче и короче становилась тропинка на зеленой площадке, которую он проходил, и, наконец, забывшись, человек делал всего лишь два шага вперед, два шага назад, слонялся, как привязанный к крыльцу, боясь отойти от него.

Тогда Григорию было горько смотреть на этого несчастного человека. Но не такая ли судьба ожидает его самого? Может, и за ним сейчас кто-нибудь наблюдает с тяжелым сожалением и сочувствием?

Под этим предполагаемым взглядом Григорий расправлял плечи, начинал насвистывать, твердо шагая по тропинке, утоптанной между деревьями. Ветка клена царапнула ему лоб, больно ударила по виску. Но он не отклонил лица, даже не вздрогнул и еще стремительнее пошел дальше, держась свободно и непринужденно, как держался всегда.

— Не-ет, пока жив буду, не склонюсь,— шептал он, сурово сводя брови.— Я лица не отверну, меня к точке не привяжешь.

На дальней скамейке, под высоким деревянным забором, несколько раненых спорили, что лучше: яровая или озимая пшеница. Под кустом сирени кто-то горячо доказывал, что для колхозов самое выгодное сеять сахарную свеклу. Ему возражал своим густым басом Кравченко:

— А лен? Лен, вот это культура! И сколько же было постановлений о расширении посевов льна... У нас, на Полесье, ленок — всему делу венок.

До войны Трошук работал в колхозе. Эти разговоры были для него близкими и знакомыми. Но он не вмешивался в них. Думал о своем: что будет с ним дальше? Какую работу смогут предоставить ему после возвращения домой?

Недавно по радио передавали, как бывший офицер, подполковник в отставке, пошел председательствовать в каком-то белорусском колхозе. Новый председатель навел в хозяйстве порядок, повысил оплату труда. По всему было видно — работает с душой. Но ведь... У того подполковника только руки повреждены. Если бы Григорию спасли хотя бы один единственный глаз!

Затем переносился мыслями домой. Где нынче председатель Песчанского колхоза Мазуренко? Григорий слышал, что Василий Демьянович воевал в партизанах. Хороший был председатель. Может, написать ему?

— Шах! — послышалось сбоку, когда Григорий проходил мимо одной из скамеек. По голосу он узнал Фомина.— Еще раз шах! Ха-ха! Поднять ему руки вверх. А, Трошук! У тебя есть закурить?

Трошук остановился. Алексей Ферапонтович подбежал к нему, бесцеремонно полез в карманы. Достал пачку сигарет, дал одну Григорию, другую сам взял, прикурил.

Возбужденный игрой и победой, Фомин хвалился своим мастерством. Затем потянулся так, что хрустнули суставы.



— А как все-таки хорошо! Вот посидеть бы сейчас дома на завалинке против солнышка, которое заходит, подышать чистым воздухом с лугов и из леса. Ну что, пошли? Слыхал, как наши заговорили о колхозных делах?

Фомин представлялся Григорию таким же светловолосым, как и Доя. Наверное, и ростом он был не выше ее. Небольшие, но быстрые серые глаза. Лицо в веснушках. Шутя, Григорий рассказал Фомину, как его себе представляет. Алексей Ферапонтович от удивления и рот раскрыл.

— Да ты видишь, хохол?! Скажи правду, видишь? Ты прямо-таки фотографию мою отпечатал!

Алексей бросился к нему, начал приставать, требовать доказательств, что Григорий и в самом деле ничего не видит, угрожал отдать его на суд врачей, словно бы и не подозревая, сколько радости эти расспросы приносят его другу.

После ужина пошли в клуб на концерт кружка художественной самодеятельности. Из-за открытого занавеса доносился шум: там что-то передвигали, о чем-то переговаривались. Вдруг в зале зажегся свет. Фомин заметил, как Григорий вздрогнул. Когда сели, положив руку Трощуку на плечи, он повернул его к себе.

— А ну, где твои глаза?

Не знал Алексей Ферапонтович, да и самому Григорию было невдомек, что человек воспринимает свет не только зрением, но и каждым своим нервом. Видимо, Григорий именно так и ощутил яркий свет, вспыхнувший во всех концах зала. А Фомин думал, что глаз Трощука начал воспринимать свет, значит профессор прав, предлагая еще одну операцию. Алексей Ферапонтович на себе испытал все это и теперь уверен в хорошем исходе будущей операции.

— Будешь, будешь видеть, Гриша!

Клуб наполнялся людьми, в зале стоял гомон, стучали стулья, раздавался смех.

Открылся занавес. Звонкий голос девушки-конферансье объявил, что самодеятельный хор артели исполнит несколько украинских песен. В зале зааплодировали. Хорошо спевшиеся голоса живо сплелись в знакомую мелодию:

Іхав козак за Дуна-ай,  
Сказав дівчині проща-ай,  
Ти, конику вороненький,  
Скачи та гуля-ай..

Чей-то густой бас взял такую низкую ноту, что у Трощука даже по коже мороз прошел.

### Темные очки

— Трощук! — В палату ворвался Фомин. — Мария велела приготовиться. Поедешь к Колину, сам приглашает!

В палате все сразу умолкли. Григорий поднялся со стула, на котором безучастно сидел вот уже с полчаса, зашаркал тапочками к двери. «С чего бы это?» — подумалось ему. Только на прошлой неделе он был у Колина.

Фомин внимательно всматривался в друга, но не мог понять, как чувствует себя в эти минуты Трощук. Лицо Григория казалось бесстрастным, только брови на мгновение дрогнули.

Шаги Марии Павловны Григорий услышал издали. Она подошла, учащенно дыша.

— Ну, я же вам говорила? Говорила, Григорий Сергеевич? — Мария Павловна схватила его за борт халата, притянула к себе и оттолкнула. — У-у, нытик! Побежали!

Теплая рука Марии Павловны крепко сжимала его руку выше локтя. Она не могла скрыть свою радость. Ее настроение передалось и Григорию, у него перехватило дыхание. Григорий прижал пальцы сестры к своей груди и почувствовал, как они задрожали.

— Мария Павловна! — выдохнул он резко.

Сестра не дала ему договорить. Смеясь, потащила за собой еще быстрее.

— А-а, Трошук? Проходите, пожалуйста, — картавя заговорил профессор Колин. Он, казалось, как всегда, был в хорошем настроении.

Его кабинет был залит солнцем. Григорий ощущал на себе горячие лучи, лившиеся из окон. Сдержанно поздоровавшись, он пошел на голос. Вдохнул дымок папиросы, которая, видимо, лежала в пепельнице на столе.

— Что это с вами? — удивился профессор. — Вы пришли опечаленный или злой? Почему? Я привез вам хорошие вести. Садитесь-ка...

В руках у профессора зашелестела плотная бумага. Григорий насто-рожился, но, чтобы не выдать своего волнения, поискал носком стул, придвинул к себе поближе и сел, не опираясь на спинку.

Колин повернул свое кресло.

— Вы, конечно, знаете, что я работаю не только тут, а консультирую и в других госпиталях. В одной из больниц у меня был больной... в положении, аналогичном вашему. Быть может, даже в еще более тяжелом... Дело в том, что он был еще и немой. Мы совсем было потеряли надежду излечить его. Но недавно Коншин заговорил, а сегодня — увидел свет. Он пролежал в госпитале не меньше вашего, но никто не знал, что с ним случилось. Позавчера Коншин рассказал обо всем. Во время налета вражеских штурмовиков он был неподалеку от траншеи. Пригнул в нее, чтобы укрыться. Взрывом бомбы его засыпало землей до самой шеи. Не успел ни пошевелиться, ни закричать, как вторая бомба, разорвавшаяся рядом, вырыла его из земли. Опомился он в полевом госпитале, но потерял и зрение и речь. Спасение принесла четвертая операция. Вы бы только видели, что сейчас творится с Коншиным!

Трошук внимательно слушал Колина. Чем больше тот говорил, тем настороженнее держался Григорий. Зачем это? Вот профессор с грохотом отодвинул кресло, прошелся по кабинету, не переставая говорить. Григорий почувствовал, как у него нарастает внутреннее раздражение против этого человека. И весь рассказ о слепом и немом, который прозрел и заговорил, и тот приподнятый тон, которым Колин говорил, показались Григорию наигранными и искусственными. Ему захотелось встать, зло рассмеяться. Сколько раз за годы лечения в госпитале приходилось ему слышать такие утешения от профессора.

Сначала все нехитрые попытки вселить в него веру он принимал за чистую монету. Григория трогали доброжелательность и сочувствие профессора. Но ведь Колин, наверно, точно так же говорит со всеми ранеными, говорит все теми же заученными фразами. Они нужны ему, чтобы усыпить болезненно-беспокойное состояние души больного. Неужели этот человек не понимает, что он восстанавливает против себя того, кто приходит сюда с открытой душой в надежде найти не только помощь, но прежде всего правду? Григорий Трошук лечился очень долго. Теперь он хотел узнать о себе всю правду. Он не желает больше ходить в дураках, не желает больше безоговорочно верить в успокоительные речи врачей и Колина. Сколько же можно терпеть, сколько можно находиться в неведении?

Григорий поднялся со стула. В груди у него похолодело, будто кровь отлила. На мрачном лице резко проступили скулы. Тонкая жилка часто забила на правом виске.

— Что с вами, Трошук? — заволновался Колин, подходя к Григорию и обдавая его смешанным запахом дорогого табака, лекарств и крепкого одеколona.

Еле сдерживаясь, Григорий хриплым голосом высказал профессору все. Они стояли друг против друга, разделенные только столом.

— М-да! Ну что же, Трошук, — наконец, сухо сказал профессор, — вы, как я вижу, мне не верите? Скажу откровенно: я обижен. Обижен тем, что вы сказали. Но я вас понимаю... Возможно, и я на вашем месте вел бы себя не иначе. Так вот вам мое последнее слово. Я настаиваю еще на одной операции. Слышите, настаиваю! Не теперь, не сразу. С вас достаточно того, что было. Сегодня я пришел только затем, чтобы рассказать вам радостную новость о Коншине. Что же касается вас... Вам следует утихомирить свои нервы. Словом, вам надо подготовить свой организм. — Профессор помолчал и тише добавил: — Да и мне тоже нужно собраться с мыслями, учесть опыт минувших операций, взвесить все возможности. Мы должны еще с вами встретиться. Если... если... вы доверитесь мне.

В кабинете наступила неловкая тишина.

А Григорий ощущал смешанное чувство неловкости за другого человека и иронии по отношению к попыткам обнадежить его.

— Хорошо, профессор, — подняв опущенную голову, ответил он. — Вы меня знаете. Я могу перенести, если это нужно, еще десять операций. Но вы простите меня, я не верю, что из этого будет толк. Не верю. Хоть и хочу верить. — Голос Григория дрогнул.

Колин повернулся, сочувственно и пристально посмотрел в его лицо. Но тот, словно почувствовав на себе взгляд врача, заспешил.

— Разрешите идти?

Уже у двери Трошук еще раз извинился перед профессором. Но эта вежливость не могла сгладить того, что произошло между ними. Перед кабинетом Григория встретила Мария Павловна. Она хотела сразу спросить его, что сказал профессор, но вид Григория так порастил сестру, что она не вымолвила ни слова.

Трошук прикрыл локтем дверь, поднял руку к глазам.

— Мария Павловна, мне нужны синие очки. Я дам вам деньги. Можете мне их достать? Мне надоела эта повязка. Нужно поставить все на свои места.

Мария Павловна шагнула назад, сложила руки на груди. Кто-кто, а уж она-то хорошо знала, что такое синие очки, кому их прописывают и кто их носит. Значит, напрасно она надеялась, рано радовалась. Но ведь профессор Колин... Он даже прочел ей заключение экспертной комиссии: Коншин действительно выздоровел — к нему вернулись речь и зрение. Почему же не обрадовался Григорий Сергеевич этому? Нет, нет, ему еще не время надевать синие очки!

Что же произошло там, за дверью профессорского кабинета?

Молча, одним движением, Мария Павловна предупредила Трошука, чтобы он не наткнулся на стол дежурного. Григорий посторонился. Они оказались совсем рядом. Григорий услышал, как часто она дышит. Он вдруг остановился.

— Ну, говорите же, говорите, что там случилось? — допытывалась сестра.

— Не будем детьми, Мария Павловна. Все и без слов ясно! И хватит об этом. Сегодня, говорят, снова будет концерт. Вы придете? Мне хочется побыть вместе с вами. А про эти синие стекла поговорим завтра. Договорились?

Мария Павловна с тревогой смотрела на Григория. Она понимала, что Трошук не хочет проявить малодушия, старается отвлечь ее внимание от того, что у него на сердце.

— Нет. Я не согласна! — воскликнула сестра. — Скажите, о чем вы говорили с профессором? Вы отказались? Признавайтесь...

Но им так и не удалось закончить разговор. Услышав их голоса, из палаты выбежали Фомин и Кравченко. Мария Павловна отошла в сторону.

Григорий, разговаривая с товарищами, следил за ней, напряженно прислушиваясь. Он услышал, что ее шаги стали затихать, потом она постояла немного, потом прошла в перевязочную. И сразу же Григорий почувствовал одиночество. У него сжалось сердце, и он слушал товарищей рассеянно.

Кравченко был недоволен краткими и однообразными ответами Трошуга. Он хотел сказать это, но Фомин подтолкнул его локтем: не расходишь, мол, слишком. Видно, новая встреча с профессором не принесла радости, а то разве был бы Григорий таким печальным.

— Пошли, пускай он побудет один, — предложил Алексей Ферпонтович, хлопнув Кравченко ладонью по спине. — А мы будем в садочке. Приходи туда, Григорий!

Когда друзья удалились, Трошук вышел на балкон. Плотнo сдвинув брови, он сидел в кресле-качалке, переживая свой разговор с Колиным. Его мучила совесть... Зачем он был так резок с профессором? Ведь тот добросовестно делал свое дело, заботился о нем, желал ему добра...

Но скоро размышления о Колине и о себе сменились другими мыслями, и он представил себе голос Марии Павловны.

Он попытался представить себе сестру. Ростом Мария Павловна, должно быть, немного ниже его. Моложе — лет на пять. Как-то, словно бы невзначай, он разузнал у хлопцев, что волосы у нее черные, как вороново крыло, а нос с горбинкой. А глаза? Он не решился расспрашивать об этом, а восторженное восклицание Фомина «Ох, и глаза же у нее!» — ничего ему не объяснило. Он чувствовал в этой женщине и скрытую страсть, и переменчивый характер, и глубоко затаенные чувства.

Вместе с мыслями о ней в памяти возник образ Докийки — с лукавой улыбкой на устах, с тонкой девичьей шеей, с веселым прищуром глаз — такая, какой он знал ее до войны: любимая, близкая, родная. А вместе с ней и сынишка. Маленький, белобрысый, рассудительный хлопчик. Вот Докийка начала смешить его, а он, пухлый, неповоротливый увалень, отворачивается от матери, хочет отойти прочь. Но разве вырвешься из рук Докийки? Она уже ухватила мальчика, тормозит, трясет, прижимает к груди, и он весело заливается. И вот они вдвоем так звонко смеются, что трудно разобрать, где голос матери, а где голос сына.

Григорий сидит в качалке и не может согнать с лица мечтательную улыбку, вызванную яркими воспоминаниями.

А что ему осталось, кроме воспоминаний? Из дому по-прежнему вестей нет. Вся его жизнь сейчас в воспоминаниях.

Вдруг в коридоре хлопнула дверь. Григорий услышал быстрые шаги Марии Павловны. Она почти бегом вышла на балкон. Григорий торопливо обернулся к сестре.

— Григорий Сергеевич! — В голосе Марии Павловны звучала тревога. — Возьмите, вот синие очки. Я принесла.

Неожиданное появление Марии Павловны поразило Трошуга. Что это значит? Сестра еще несколько минут назад говорила, что даже повязка — дело временное... И вдруг сама принесла синие очки.

Мария Павловна подошла к Григoрию ближе, подняла руки, стала развязывать на затылке узелок повязки, даже не спрашивая у него согласия на это.

Заговорила отрывисто:

— Жена ваша приехала. И сын. Наденьте темные очки. Вам так легче будет. Не придется ничего объяснять.

— Докийка? Дмитрик?! Да где же они, сестра?

Дужки очков непривычно легли за уши, немного сдавливая виски, но Григорий не обратил на это внимания. Потрясенный радостью, он шел за Марией Павловной, ног под собой не чуя. Он спрашивал, говорил, снова спрашивал.

Только перед самой дверью приемной он замедлил шаг. Умолк, будто у него остановилось дыхание. Как они встретятся сейчас? Что скажет ему Докия? Как поведет себя? Она же ничего еще не знает...

— Сестра... подождите минутку,— сказал он слабым голосом.— Что же я им скажу? Так неожиданно... Хоть бы письмо написали, что выезжают!..

— Идите, идите же! Ждут вас! — Сестра открыла дверь.

И Григорий шагнул. В его груди, подступая к горлу, смешались радость и тревога.

— Докийка! Дмитрик!

Мария Павловна осторожно подтолкнула Трощука и тоже направилась к Докии.

Женщина в синем помятом платье, сидевшая около круглого стола, поправляла рубашку мальчика, но, услышав голос Григория, бросилась к нему, да так и застыла в порыве радости.

Перед ней стоял ее муж в стареньком, вылинявшем халате, расстегнутой на груди рубашке. В длинном рукаве скрывалась неестественно неподвижная рука. Вместо глаз — темные очки. На высоком лбу выступили капли пота.

У Докии перехватило дыхание; ее большие серые глаза смотрели на Трощука с болью и ужасом.

— Гри-ша! — всхлинула она коротко.

В этом печальном восклицании послышалась такая боль и такая мука, что сердце Марии Павловны сжалось, а на глазах выступили слезы. Она хотела что-то сказать и не смогла. Только увидела, что мальчонка бросился к отцу, робко прикоснулся к его руке, а Трошук, представляя себе сына таким, каким он его оставил, покидая дом, резко наклонился, словно перед маленьким разводя руки, и стукнулся лбом о голову Дмитрика. Растерянность пробежала по его лицу — вырос сын. Дмитрик прижался головой к груди отца.

— Тато! Поедем с нами! — Голос ребенка зазвучал, как натянутая струна.— Дедушка сказал, пусть приезжает. Дедушка сказал...

Григорий радостно засмеялся. Он смеялся сдавленно, нервно, захлебываясь, он обеими руками прижимал к себе Дмитрика, но Мария Павловна видела — Трошук всем существом прислушивается, где жена, тревожно ждет ее приближения.

Преодолевая слабость, Докия поднялась со стула, пошатнулась, но оперлась на руки сестры и подошла к мужу, положила на его плечо свою натруженную руку, коснулась шеи. Глубокий прерывистый вздох сорвался с ее губ. Дмитрик умоляюще посмотрел на мать. Докия не выдержала, упала на стул, забила головой о стол. Чистосердечная, она не умела прикинуться спокойной, не умела скрыть чувства, которые охватили ее, сдавили сердце. Докия билась, плакала навзрыд, не отрываясь от стола.

А сын и отец стояли молча, обняв друг друга. У Григория подрагивали брови. Лицо Дмитрика побледнело, большие, серые, как у матери, глаза его с болью смотрели на Марию Павловну, и видно было — он вот-вот тоже разрыдается. Мария Павловна бросилась успокаивать

женщину, прижала ее к себе, как маленькую гладила по рукам, по щеке, вытирала ладонью слезы, подала ей стакан воды.

Докия словно бы полегчало. Она подняла голову, прижала ладони к щекам и закачалась из стороны в сторону.

Нашупав ногой стул, Григорий сел. Дмитрик стоял рядом, боясь заглянуть за синие стекла отца.

Докия еще раз судорожно всхлипнула, зашептала что-то — о горе тяжком, о кручине. Но вдруг умолкла, словно кто-то ей зажал рот. Выпрямилась, отодвинула за ухо прядь волос, посмотрела сквозь слезы на Григория и, поднявшись со стула, твердо, почти сурово сказала:

— Ну, что ж, Гриша, не думала и не гадала, что такое случится. Теперь... я буду твоими глазами... Поехали домой!

Спазма перехватила горло Марии Павловны — так изменилась Докия. Фигура женщины, минуту назад еще безвольная и слабая, обрела уверенность, решительность. Казалось, она даже стала выше ростом.

А Григорий сидел, не выпуская сына из объятий. Он весь ушел в себя. Брови сошлись над дужкой очков, резко очерченные губы не шевелились. Только с последними словами Докия вернулась кровь к его побледневшим щекам, в каждой черточке лица стала просвечивать радость.

А Дмитрик, прислонившись боком к коленям отца, поднял голову, хотел, видно, что-то сказать, но вдруг увидел на виске отца глубокий лиловый шрам, понял, что случилось с его отцом, и часто-часто заморгал глазами. Губы его задрожали, серые глаза останавливались то на Марии Павловне, то на матери, ища ответа на страшный вопрос. Но мальчик сделал усилие, вздохнул полной грудью, не дал вырваться слезам. Только его светловолосая вихрастая голова горестно поникла.

Ночь после госпиталя Григорий, Дмитрик и Докия провели дома у Марии Павловны. В уютной комнатке было хоть и тесно, но приятно и тепло.

Пока хозяйка ходила в магазин, готовила обед, Докия рассказывала о Песчанке, о своей поездке в Москву. Вспоминала, что накануне того дня, как пришло письмо от Григория, вышла она из сарая, в котором доила корову, чтобы открыть ворота. А тут огромный красный петух захлопал крыльями, взлетел на ворота и закукарекал протяжно, голосисто.

Дмитрик, выгоняя корову, засмеялся.

— Киш, дурень! Куда тебя занесло? Киш!

Голенастый петух начал топтаться, приседать, взмахивать крыльями, бегал по воротам, но спуститься на землю боялся. И только когда Докия махнула на него фартуком, полетел на огород.

А тут откуда ни возьмись появилась тетка Мавра, соседка

— Быть гостям! Видит бог, кто-то к тебе приедет, Докия!

Докия никогда не верила в бабьи приметы, но в этот день сердце ее затревожилось, охваченное чувством томительного ожидания. Все утро не могла она найти себе места. Только к середине дня начала понемногу успокаиваться. И вдруг услышала, кто-то застучал щеколдой калитки — раз, и еще, и еще. У Докии руки опустились. Она в чем была бросилась из комнаты.

Но за воротами никого не было. Что за оказия? Спустилась с крыльца, посмотрела за угол, там только ветер шевелил кусты, да на заваulinке играл котенок. Подошла к калитке, чтобы выглянуть на улицу. И видит — между досок забора торчит письмо-треугольничек: видно, Килина, почтальон, оставила в спешке. Докия потянулась к письму рукой, а у самой даже дух захватило. Прижала руками письмо к груди, побежала в дом. Села на скамейку, начала читать, а тут появился сынишка. Вскрикнула радостно:

— Дмитриусь! Жив наш тато! Жив!

Не успел Дмитрик прочесть письмо, как в сенях раздался хриплый кашель. Склонив голову, в комнату вошел высокий сухой старик, отец Григория, поставил в угол грушевую палку и сел. И, словно учуяло отцовское сердце, спросил:

— Что тут у вас? Может, от Гриши есть весточка?

Докия упала к ногам старика, прижалась заплаканным лицом к его тяжелым мозолистым рукам.

— Жив, жив! А я уже и не ждала, потеряла надежду.

Старик положил сухую узловатую руку невестке на голову. Лицо его оставалось суровым. Он хорошо знал своего Григория: без причины тот не молчал бы так долго. Где же он? Что с ним случилось?

Долго сидели втроем в комнате, молчали.

— Ты бы, доченька, сходила к Мазуренко.

— Пойду, сейчас пойду... Василий Демьянович рад будет. Они ведь долго работали вместе.

Старик поднялся со скамьи, подошел к окну, постоял молча; спина его сгорбилась, словно под тяжестью, по лицу катились слезы. Но ни звуком, ни малейшим движением он не выдал своей тревоги.

— Сходишь, посоветуешься, доченька. Может, по тому адресу съездить нужно, привезти домой...

Докия замерла. Она не видела лица старика, выражения его глаз, но услышала, как изменился его голос, и сама, закрыв лицо руками, затряслась, вскрикнула, словно ее кто ударил.

— Не плачьте, мама! — закричал Дмитрик, засуетился подле матери, взял ее за руку, прижался головой к плечу. Но ласка сына только сильнее расстроила Докию.

Она пошла к председателю колхоза. Мазуренко встревожился, забеспокоился. Он заторопил Докию: «Бросай все и немедленно езжай в госпиталь». Стал вспоминать, как вместе с Григорием ходили на охоту, как спорили по хозяйственным делам. Хвалил его за ум, за трудолюбие, за то, что Григорий в работе двужильным был, и все тревожился: что же это стряслось с Григорием?

...А в колхозе неплохо дела идут, да только очень трудно после войны; кабы не лен, видно, на трудовень не больше полукилограмма ржи получали бы, и все тут.

Григорий слушал жену, расспрашивал о соседях, односельчанах, а сам все прислушивался, как тоскливо дрожит голос Докии, как она сдерживает рвущийся из груди вздох. Не ощущал только ее взгляда и от этого тревожился, то и дело поправляя очки.

Рядом с отцом, примостившись на подоконнике, перелистывал книжку Дмитрик, а Мария Павловна звенела занятой у соседней посудой, накрывала на стол, переговариваясь с Докией, с Дмитриком, извинялась за небогатое угощение. Только теперь Докия вспомнила, что в котомке у нее есть хлеб и сало. Она выложила на стол свои запасы.

Выпили по рюмке водки. Женщины разговорились. Григорий разволновался — рядом с ним были его жена, его сын и эта женщина, которую он никогда-никогда не забудет.

Мария Павловна заметила, что мальчик зевает, забеспокоилась — куда же положить его? Может, стулья сдвинуть? Но Докия стала извиняться за беспокойство, которое они причинили, сказала, что все равно кому-то придется на полу спать. Свою узкую кровать, накрытую белым одеялом, хозяйка хотела уступить Григорию Сергеевичу. Но тот протестовал.

— Мы с Дмитриком по-солдатски посним под моей шинелью.

За весь этот вечер Мария Павловна ни словом не обмолвилась о себе. То расспрашивала Докию, то рассказывала о Фомине, об Акынбаеве. То говорила, что врачи еще надеются помочь Григорию.

— Разве еще... можно?— вырвался невольный вздох из уст Докии. Вздвигнув, Григорий хотел ответить сам, но Мария Павловна его опередила:

— Можно! Можно! Профессор Колин считает, что еще не все потеряно. Только к операции надо хорошенько подготовиться, нужно, чтобы окреп организм, окрепли нервы. Сколько у нас было таких, которым, казалось, уже ничем нельзя помочь, а потом, глядишь, ходит, все видит... Будто заново на свет народился. Григорию Сергеевичу непременно нужно снова приехать к нам...

Докия еще раз вздохнула, поглядев на мужа, но теперь она вздыхала с надеждой, с облегчением, хотя ей и не очень верилось в то, что говорила Мария Павловна.

Легли спать. В комнатке наступила тишина, только Дмитрик ровно дышал. Женщины легли вдвоем. Докия шепотом спросила:

— А у вас, извините, есть муж?

— Нет,— помолчав, ответила Мария Павловна. И добавила тихо, так, что Григорий еле уловил:— Погиб. В начале войны. Под Брестом.

Вокзал встретил отъезжающих оживленной суетой. Всюду толкались люди, стоял неумолчный гомон. По радио сообщили о начале посадки на поезд. Подбежал носильщик, взял вещи, Докия и Мария Павловна подхватили Григория под руки. Впереди всех бежал Дмитрик с отцовской шинелью и связкой книг — подарком медицинской сестры.

На перроне была еще большая суета, чем в зале. Григорий щекой ощущал тепло, исходившее от раскаленных на солнце железных боков вагонов, мимо которых они проходили. Сзади отчаянно звенел автокар, и все уступали ему дорогу. Григорий чувствовал, как по-разному ему помогают Докия и Мария Павловна. Жена остерегалась всего, дергала его за руку, оттягивала подальше от людей. Сестра вела себя уверенно, неуловимыми движениями указывая, когда нужно уступить дорогу. С ней Григорию было легче: он привык к ней за долгие месяцы пребывания в госпитале.

Пока Докия предъявляла билеты и вносила в вагон вещи, Мария Павловна стояла рядом с Григорием и Дмитриком возле вагона. На локте Григория лежала ее рука, ласковая, теплая рука, которая вернула его к жизни. Григорий крепко, с благодарностью прижал эту руку к себе. Мария Павловна не ответила на это движение. Она горячо говорила о Колине, о том, что надо еще раз приехать в Москву. В ее голосе было столько сочувствия, столько заботы и скрытой печали, что у Григория невольно заняло сердце.

Прозвенел звонок. Дмитрик бросился в вагон. Проводник кричал, чтобы поскорее шли в вагон. Из тамбура встревоженно выглянула Докия. Она поклонилась сестре.

— Прощайте, Мария Павловна!— сказал Григорий.— Прощайте! Передайте Фомину, чтобы поскорее выздоравливал.

Протяжно загудел паровоз, поезд плавно тронулся с места. В вагоне еще не окончилась предвыездная суматоха. Докия с сыном устраивали чемоданы, а Григорий сидел, положив руки на стол и повернувшись лицом к окну, за которым — знал — была Мария Павловна. Вот она, наконец, сделала несколько шагов рядом с вагоном, потом отстала...

И на самом деле так оно и было. Она стояла на перроне в голубом платочке, в светлом легком пыльнике, в стоптанных туфлях и смотрела вслед уходящему поезду, а мимо нее проплывал вагон за вагоном.

Перрон блустел. Провожающие не спеша расходились. Ветерок подхватил брошенную кем-то газету и понес ее по рельсам. А Мария Павловна, не отрывая глаз от уходившего поезда, все еще одиноко стояла на перроне.



### Под родной крышей

Поезд, мерно постукивая на стыках рельсов, шел на запад. Поездка была серьезным испытанием для Григория и Докии. Пассажиры окружали их в дороге заботливым вниманием: если нужна была вода — подавали воду, если Докия роняла платочек — поднимали; уступали место в умывальной; сочувственно вздыхали, огорченно перешептывались. Все это надоедало Григорию. Но он держался спокойно, подчае даже весело, вступал в разговор, спорил, делал все, чтобы не быть в тягость своим спутникам.

В вагоне было душно и тесно. Всюду — под сиденьями, на полках — лежали мешки. Люди занимали все верхние полки, проходы, утомленно дремали на плечах у случайного соседа или склонившись на свой багаж. Даже из-под скамьи выглядывали чьи-то ноги.

Какой-то дядька с рыжей бородой, сидевший напротив Григория, долго молча смотрел на него и Дмитрика. Потом развязал свой мешок, набрал пригоршню мелких коржиков и, так же молча высыпав их перед мальчиком, кивнул — бери, дескать, ешь. Дмитрику стало смешно: ну, и чудной дядька, хоть бы слово проронил! Он покосился на отца и мать, потом исподлобья посмотрел на дядьку, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться. А тот — ни гу-гу! Только смотрит молча из-под мохнатых бровей. Проехали несколько станций, а спутник все молчал и молчал. И только когда со средней полки слез и собрал свои вещи заспанный пассажир, рыжебородый засуетился, взял котомку Докии и неожидан-но тонким голосом обратился к мальчику:

— Полежай!

Дмитрик удивленно посмотрел на мать. Докия кивнула в знак согласия, хотела помочь сыну, но мальчик и опомниться не успел, как оказался наверху: его подхватили и посадили на полку сильные добрые руки рыжего дядьки. Дмитрик только голову положил на мешок, как сосед прикрыл его своим стареньким пальто и снова сел в угол.

Вагон дрожал и покачивался. Утомленный Дмитрик начал уже засыпать, когда наконец услышал голос дядьки:

— Учить его нужно! Лицо у него смышенное. Хорошим мастером станет. Будет помогать отцу и матери.

Дмитрик хотел было сказать доброму дядьке, что он еще не закончил школу, что он учится лишь в пятом классе, но сон так крепко склеил его глаза, что мальчик уже не мог отозваться. Ответил отец, потихоньку заговорила мать, ее голос был похож на журчание ручейка в дубраве — зазвенит и затихнет, снова зазвенит и снова затихнет...

Так и проспал Дмитрик всю ночь. Проснулся, когда за окном вагона уже было светло. Свесил голову с полки — отца не было. Рыжебородый дядька все так же сидел в углу. Мать спала, прислонившись головой к стенке. Кудрявая прядь ее светлых волос упала на щеку. Проводник прокричал название станции. Мать, проснувшись, заморгала глазами, вздохнула, потеряла рукой затылок — видно, шея заболела оттого, что было неудобно сидеть.

Дмитрик стал на коленки, увидел, что отец спит на средней боковой полке, неудобно положив голову на корзинку. Видно, недавно лег: с вечера там спал кто-то другой. Дмитрик спустился на пол, попросил у матери полотенце, побежал в умывальную. Усталая мать пошла за ним. Они не стали будить отца к завтраку. Рыжебородый сосед снова насыпал на стол присоленных коржиков, жаренных на масле, а мать угостила его салом. За завтраком бородач наконец разговорился. Говорил так, словно бы выдавливая из себя слова, словно бы ему тяжело было орудовать языком, говорил отрывисто, кратко:

— Уже сколько времени прошло... как война кончилась, а сердце ноет, болит. Моих двое... головы сложили.

Стучали колеса, покачивался вагон. В мирной тишине каждое слово соседа было особенно отчетливо слышно. Мать да и все, кто находился в купе, внимательно слушали, сочувственно кивали головами, тяжело вздыхали. А тетка в серой домотканной шали, из которой выглядывал белый платочек, охала, глотая слезы. Только отец ничего не слышал — спал.

Дмитрик снова взобрался на полку. За окнами мелькали телеграфные столбы, проплывали зеленые поля со стелющимся над ними туманом, уходили назад леса, сверкали на солнце озера. Поезд пробегал мимо сел, мимо станционных поселков. Возле домов играли дети. Бежали босиком, в одних рубашках. Дмитрика потянуло туда, на свежий воздух. Он даже поближе придвинулся к окну. Но снова услышал скрипучий голосок рыжебородого дядьки:

— Когда нет — плачут, а пришел — скачут, носы отворачивают. Бывает, что от таких жен мужья и побираться уходят...

Дмитрик осуждающе посмотрел на дядьку. Какой, право, он! То молчал, а то разговорился, да как сердито! Будто колет каждым словом. Мама сидит рядом, молчит, только побледнела, да на ресницах слезы дрожат.

В другом конце вагона раздался голос проводника. Дядька замолчал, не то удивленно, не то печально пошевелил мохнатыми бровями и начал собираться. Связал котомку, сложил пальто, которым укрывал Дмитрика, застегнул под бородой свою истрепанную сорочку.

Поезд шел еще долго, но он больше ни единым словом не обмолвился. Сидел как в рот воды набрал, грустно поглядывая за окно. И Дмитрию показалось, что бородач говорил не для людей, которые его окружали, а для себя. Выговорился и умолк. Так и ушел из вагона, не сказав больше ни единого слова.

После этого в купе долго еще не нарушалось молчание.

В Овруч Трошки приехали после обеда. С облегчением вышли из вагона. Григорий глубоко вдохнул свежий воздух. От знакомого станционного запаха — раскаленного на солнце железа, дерева и смолы — слегка кружилась голова. Прошел, горячо дыша, громыхающий паровоз, продудел в свою дудочку стрелочник.

Дмитрик шагнул вслед за матерью, которая шла с вещами впереди. Он с непривычки крепко держал отца под локоть, предупреждая его перед каждым, даже самым маленьким препятствием, чтобы отец не споткнулся или не поскользнулся. А Докия все время с тревогой оглядывалась, да и Григорий беспокоился.

Молча миновали вокзал, поднялись с перрона по ступенькам вверх и вышли на площадь, в толпу пассажиров, которые собрались у автобусов, такси. Кто-то закричал:

— Давайте свои вещи! Вещи давайте!

Фыркнула первая машина, обдавая всех горьким запахом дыма.

— А, Евдокия Петровна! — услышал Григорий приветливый голос рядом с собой. — Здравствуйте. Откуда это вы? А-а, муж прибыл домой! На чем же вы будете добираться? Что? Садитесь ко мне, подвезу до самого дома. Пошли, паренек!

Обрадовавшись попутной машине, Докия схватила вещи и почти бегом устремилась за шофером. Колхоз «Заря», откуда на этой машине прибыл к поезду председатель правления, находился чуть дальше Песчанки, и шоферу было как раз по пути. Скоро нашлись еще попутчики, и Докия вместе с ними забралась в кузов машины. А Дмитрик с отцом расположились в кабине.

Как только машина тронулась, Григорий оживился, подтолкнул сына локтем.

— Ну, как ехать? Хорошо?

— Э-э, я ездил уже и на «Победе», — радостно отозвался Дмитрик.

Машина вырвалась на широкую дорогу. В открытое окно дохнуло чистым воздухом, запахом зеленой ржи, полевых цветов.

Григорий наклонился к сыну, прижал его к себе.

— Через песчаные поля уже едем? Раздолье же тут у нас. Э, и мостик цел. Или это уже отремонтировали его?

Шофер, не отрывая рук от баранки, с интересом наблюдал за пассажиром. Ему казалось странным, что слепой человек может угадывать, где они едут. Он не понимал, что изменения дороги Григорий узнает по шороху шин, по звуку мотора, а спуск в балку угадывает по тому, что они словно бы нырнули в более густой и влажный воздух.

Чем дальше ехали, тем беспокойнее становился Григорий Трошук. Он напряженно прислушивался, колени его дрожали. Как только въехали в село, он засмеялся:

— Уже? Приехали?

По узким и кривым улочкам быстро подъехали к дому. Хлопнула дверца.

Пока Докия забирала вещи из машины, Григорий не находил себе места. Ощувив под ногами родную землю, он радостно подставил лицо солнцу. Снизу, с луга, потянуло запахом теплой ряски и зеленой лозы. Доносился терпкий настой сосны — неподалеку был лес.

Под ноги Дмитрику подкатилось что-то мягкое, подвижное, чихнуло, визгнуло.

— Кудлай!

Григорий не успел и повернуться, как пес ударился носом в его коленку, начал прыгать вокруг, громко взвизгивая.

— Кудлай! Узнал-таки? Жив еще, старик? Ну-ну, пошли, пошли. Ну, хватит уже, хватит! Ишь ты какой... Соскучился, барбос, соскучился...

Вслед за сыном вошел в свой старый дом, и на него дохнуло с давних пор знакомыми запахами — запахами, присущими только этому дому, таких нигде в другом месте не услышишь. Вспомнив, как расставлены вещи, Григорий прошел в дальний угол, нащупал диванчик и сел, утомленный, счастливый. В диванчике приветственно звякнули пружины. В сенях мяукнул проголодавшийся котенок. Дмитрик принес его в комнату, посадил на колени отцу. Под ласковой рукой котенок начал мурлыкать.

Вот он и дома! В другой комнате Докия приглашала шофера перекусить с ними, но тот отказался, и за окном снова заурчала машина.

Докия сняла верхнюю кофту, зашла в комнату.

— Ну здравствуй, Гриша! — по-домашнему сказала она. — Здравствуй, родной! Раздевайся. Мы теперь дома...

Григорий встал с диванчика, бросился к жене, схватил ее в объятия, крепко прижал к груди, поцеловал в щеку, в губы, задохнулся, откинулся, поцеловал еще и еще.

— Здравствуй! Здравствуй! Здравствуй!

— Пусти, задушишь! Дмитрик, выручай! — ожив, как когда-то весело, вскрикнула женщина.

А мальчик напал на маму сзади, смеялся, обнимал, что-то кричал.

— Ну, хватит вам, хватит! Напали вдвоем... Разве же я осилю вас? Дмитрик, что ты делаешь? — Она вырвалась из цепких рук сына. — Хватит! Ох, какие же вы, право... Беги, Дмитрик, принеси картошки. А ты, Гриша, раздевайся, отдохни.

В комнате стало тихо. Стукнув ведром, Докия выбежала к колодцу. Дмитрик побежал в погреб, раздался знакомый стук щеколды. Потом у печки зашуршала солома. Григорий нащупал скамеечку, разулся. Стал босыми ногами на холодный земляной пол, прошелся по комнате. Он, как ребенок, наслаждался давно забытым ощущением, шевелил пальцами, улыбался. А когда сел на скамейку, на его щеках заиграли отсветы пламени из печки, наполняя Григория чувством радости. Да, он был дома. Возле него были жена и сын, и не было ему никого ближе и роднее на свете. И вокруг привычная обстановка. Вот тут-то он отдохнет душой, станет на ноги, а затем...

Известие о том, что Григорий Трошук вернулся домой, быстро разнеслось по селу. Ко двору Трошуков сбегались родственники и соседи. Скоро в дом набилось полным-полно людей. Женщины стояли в сенях, под окнами, у ворот, сидели на бревнах, на завалинке, в холодочке на траве... Еще бы! Вернулся человек, которого уже давно считали погибшим. Те, кто подходил вновь, ничего не спрашивали, а протискивались сквозь толпу к дому, чтобы хоть одним глазком поглядеть на хозяина.

Григорий встречал односельчан, узнавая соседей по голосу, отвечая на вопросы, где был, как воевал.

Вдруг во дворе и в доме все стихло, все умолкло. На крыльце стукнул посох отца, раздался его голос. Григорий замер посредине комнаты. Болью сжалось его сердце. Он вслушивался в то, что происходило за дверью.

— Где, где он? — гудел голос отца, торопливо входившего в дом.

Вместе с отцом вошла сестра Докии — Ульяна. Она с разбегу упала Григорию на грудь, запричитала:

— А наш-то Андрюша, не вернулся наш Андрюша! Там и сложил свою головушку!

— Здравствуй, Гриша! — Отец подошел к ним, не оставляя палки.

Слегка отстранил женщину. — Перестань, Ульяна, не плачь...

И обнял сына, прижался к нему сухой грудью, ткнулся жесткой бородой в щеку, поцеловал Григория.

Оглянулся вокруг, помог сыну примоститься на скамье. Сам сел рядом. Докия смотрела на них из угла возле печки, не замечая, как льются у нее слезы, а Ульяна подошла к ней и зарыдала еще сильнее.

В комнату заходили все новые и новые люди. Они толпились, теснили друг друга. Докия опомнилась, стала собирать на стол. К ней потянулись руки добровольных помощниц. Расставляли миски, резали хлеб, разливали по стаканам водку.

В комнате душно, хотя двери и окна открыты настежь. Из пылающей печи — сковорода за сковородой — вынимает Докия яичницу, коржи, приготовленные на скорую руку. Шипит сало, звенят рюмки, стоит немолчный гомон высоких женских голосов. Бабы причитают над Григорием. А он сидит в красном углу. Рядом с ним по одну руку — отец, по другую — сын, потом свояченица, двоюродные сестры.

Соседка Мавра Кирилловна, плотная, неповоротливая, опьянев, сидит на скамье, плачет-разливается:

— Как взгляну я на тебя... да разнесчастливая твоя доля, горькая судьбушка, бедная головушка. Что же ты теперь делать будешь? Какое ж ты горе, какое несчастье домой принес, сердешный...

Пьяная Мавра раскачивается перед Григорием, всплескивает руками перед его лицом. Голос Мавры то опускается до басового шепота, то поднимается на такую высокую ноту, что с улицы начинают заглядывать удивленные дети.

А родственники, свойственники, соседи подносят Григорию чарку за чаркой, чуть не в рот суют ему мясо, яичницу, хлеб, лук. В голове гудит, шумит. Но он не пьянеет, сидит за столом прямо, в темных своих очках,

и думает о Докии. Что она чувствует сейчас? Встать бы, стукнуть бы кулаком по столу, прогнать ко всем чертям эту гундосящую Мавру, всех до одного разогнать, подойти к жене, успокоить ее, теплым словом согреть. Пусть бы выплакалась у него на груди, пусть бы и он губы себе обжег горькими ее слезами.

А потом началась бы новая жизнь. Нет, не для того он вернулся домой, чтобы родным душу выворачивать, бабьи сердца жалостью тешить. Но старый отец кладет свою руку на его колено, сдерживает Григория. Нельзя обижать людей — свое сочувствие кто как умеет, так и выражает. Разве кто-нибудь хочет обидеть его? А тут еще как назло и Мазуренко нету. Задержался где-то председатель колхоза, не идет навестить своего боевого заместителя. А может, время оттягивает, чтобы побыть с Григорием наедине, без этого плаксивого окружения?

Только под вечер поубавилось гостей. Старики уселись на завалинку против заходящего солнца, стали обсуждать случившееся, с сожалением вспоминать, каким был когда-то Григорий Трошук — неугомонным, изобретательным, настойчивым. А опьяневшая Мавра уснула под старой вишней.

Докия устало гремела посудой, перемывала миски, ложки. Кто-то в сенцах заслонил свет. Взглянула — Василий Демьянович. Бросила все, фартуком вытерла руки, губы у нее задрожали.

— А ну, где тут мой Грицько? — переступая через порог, громко спросил председатель. — Покажите-ка мне сокола! А ну-ка, стань передо мной, как лист перед травой! А?!

Докия сквозь слезы улыбнулась и пошла за Василием Демьяновичем в другую комнату. Стоя у него за спиной, перебирала в руках фартук. А Григорий выскочил из-за стола, расправил грудь, стукнул каблуками перед старым председателем, широко улыбнулся белозубой улыбкой, взмахнул головой так, что с носа чуть очки не слетели.

— Здравствуй, партизанский батько! Здравствуй, Василий Демьянович!

Скрипнула скамья, прогнулась половица, сел батько Мазуренко, руками в бока уперся, как Тарас Бульба.

— Где был, что делал, как врагов бил? Докладывай, Сергееч!

Докия зарумянилась, слезы брызнули у нее из глаз. Плача и смеясь, она ответила:

— А бил, бил Грицько врагов! И под Харьковом, и на Волге, под Воронежем, и на Орловско-Курской дуге. — Она хорошо знала боевой путь мужа.

Григорий сел рядом с Мазуренко.

— Как видишь, Василий Демьянович, пролил за родную землю кровь и под Балаклеей и под Жиздрой. Дай-ка, батько, обниму тебя!

Они встали, обнялись, трянули друг друга. Стоит Мазуренко, как дуб, — крепкий, приземистый, в просторном белом кителе, только дышит тяжело. А Трошук, со свежей орденской колодочкой на офицерском кителе, — как стройный ясень.

Отец Григория прятал в бороде дрожащую улыбку. А тут не выдержал, носом шмыгнул.

— А-а, чтоб вас! — И хлопнул ладонями по коленям.

Присели к столу, чокнулись, выпили. И — просидели почти до утра.

О чем только не переговорили они за это время! Вернулись в Брянские леса, побывали под Ровно, где орудовал со своим отрядом «батько Мазур», подсчитали сожженные немецкие танки и самолеты, прошли вдоль всей Орловско-Курской дуги, снова помигнули друзей, погибших в славных боях за Родину, — помолчали грустно.

На столе стыла яичница, стояли недопитые чарки. Высоко, на шкафчике с посудой, мигала лампа. Старый отец Григория посапывал носом

на диванчике. Так и уснул, не раздевшись. Докия тоже, сидя возле постели, склонила голову на одеяло, дремала, подогнув ноги под стул. И все же они были не одни. На темной печке сверкали зеленовато-серые любопытные глаза. Дмитрик замирал, слушая рассказы отца, вместе с ним шел в разведку боем, бродил с дядей Василием по дремучим лесам, укрывался в засаде, бросал гранаты под немецкие машины, взрывал железнодорожные рельсы, мосты, уничтожал вражеские гарнизоны... Но в конце концов сон осилил его. Вихрастая голова упала на левый локоть, правая рука опустилась, свесилась с печки. Так, на боку, в неудобной позе, Дмитрик и лежал до тех пор, пока не затекла рука. А проснувшись, услышал продолжение рассказа дяди Мазуренко:

— Партизанский отряд чехословацкий... Командиром был Ян Налепка. Смелый, говорят, человек был... Погиб... Тут, в Овруче, и погиб. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

Дмитрик приподнялся, оперся на руку. Неужели уснул, пропустил что-то важное? Он стиснул зубы, нахмурил брови: разве взяли бы такого в отряд к батьке Мазуренко — не успел взобраться на печь, уже и глаза закрывает!

— Да, Сергеич, — продолжал тем временем Василий Демьянович, и в голосе его слышалась печаль. — За наше святое дело сколько людей сложило головы. Мы с тобой выжили — будем сражаться дальше.

Дмитрик придвинулся поближе к краю печи, готовясь слушать. Посмотрел — дядя Василий уперся одной рукой в коленку, головой покачал.

— Тяжело, Сергеич, очень тяжело! Все расстроено, порушено. Крутишься, вертишься, а все одно вылазит, как локоть из драной свитки: там того не хватает, тут этого. Если б не МТС, беда бы... Хоть плохонькие, а все-таки трактора... А то хоть сам запрягайся в плуг и паши на себе. Ну да теперь уж малость опомнились. После бури и рожь встает, стебельки друг друга подпирают. Так и у нас. Люди ведь, знаешь, какие!

Это Дмитрику уже было неинтересно. Кони, картофель, кукуруза... Безнадежно проспал самое интересное. Когда Дмитрик снова посмотрел в комнату, он увидел, что отец и Василий Демьянович уже стоят друг против друга, прощаются.

— Работа мне нужна, Василий Демьянович! Хоть какая-нибудь, лишь бы работа! Какая же жизнь без работы! Дома сидеть — с ума сойдешь...

Дмитрик видел широкую спину дяди Василия, его изрезанную морщинами шею. Тяжелый, сильный дядько Василий — настоящий «батько Мазур». А сейчас плечи поднял, стоит растерянный, переступает с ноги на ногу, даже смешно. Дмитрик вскочил на коленки, чтобы лучше видеть. Ему еще нужно что-то сказать, что-то спросить у дяди Василия, который уже поцеловался с отцом и надевает картуз. Уже дядя Василий и за щеколду берется, а Дмитрик никак не вспомнит, что же ему нужно, что же хотел спросить. Чуть не плача, мальчик спрыгнул с печи, зацепил какую-то крышку, она с громом полетела на пол. Василий Демьянович и отец оглянулись. Проснулась мать. Разморенная сном, не подобрала и волос, крылом упавших на щеку, потирала онемевшее плечо.

— Вы уже уходите? Может, еще закусите? — спросила она спороносок.

Дед спал, не просыпался — видно-таки чарка сморила его.

И только тут Дмитрик вспомнил.

— Дядя Василий, дядя Василий! — Он вынырнул из-за спины матери перед Мазуренко. — А кто же еще с вами партизанил?

Мазуренко даже крякнул.

— Не спит, воробей! Гляди на него. А мы думали, что одни в доме, что все уже спят. А, Григорий Сергеевич? Отвечай ему, и все тут! Давай точный ответ, потому что не успокоится. Многие, многие партизанили...

Дмитрик стал бы расспрашивать без конца, но Василий Демьянович наклонился, протянул ему руку на прощание. Поблагодарил Докию за угощение, еще раз обнял, встряхнул Григория и открыл дверь.

Все вышли на крыльцо. Ночь стояла тихая, звездная. В болоте кричали лягушки, ухала выпь. Спросонья или, может, что-то потревожило — в курятнике закричала наседка. К крыльцу беззвучно, как мяч, подкатился Кудлай, гавкнул, завертел хвостом, склоняя мохнатую голову до самой земли.

Пока родители провожали Василия Демьяновича Мазуренко к калитке, Дмитрик стоял на крыльце, смотрел на яркую Полярную звезду. Там, значит, север. Махнул рукой направо — восток, налево — запад. А позади — юг. Вот так и партизаны в лесу ориентировались?!

Не дождавшись матери, он метнулся в комнату и снял рубашку. А до штанишек уж и руки не дошли. Упал на подушку как подкошенный и тут же уснул.

Первым с улицы вошел в дом Григорий. Неуверенно остановился посередине комнаты. Подошел к кровати у окошка за печью. Тронул рукой мягкую подушку. Вошла Докия. За все дни после момента встречи сейчас они впервые остались вдвоем.

Жена начала стелить постель. Григорий молча и неподвижно стоял в стороне. От свежего белья, как всегда, пахло любистком. Григорий затаил дыхание. Как поведет себя дальше Докия? Как бы он бросился к ней, вдохнул запах ее волос, прижал бы к своей груди. Но не решался, стоял и ждал.

Докия взбила подушки, что-то переставила на окне, задула лампу, постояла.

Вдруг тихо скрипнула старая скамья, шлепнулись на пол тапочки.

Мягко, неслышно Докийка подошла к мужу и бросилась к нему в объятия.

Когда Докия проснулась, старого отца уже не было в доме. Дмитрик крепко спал, разбросав руки. Осторожно, чтобы не разбудить Григория, она спустила на пол босые ноги, прошла в сенцы, открыла дверь на крыльцо. С улицы вместе со струей свежего воздуха в дом вбежало несколько цыплят. Собирая рассыпанные по полу крошки, они пищали и суетились.

Пока Григорий и Дмитрик спали, ей нужно было побывать в звене, узнать, что там происходит. Докия ополоснула лицо водой, мокрыми руками обтерла плечи. Полотенце, расшитое красными петухами, висело на спинке кровати. Подошла, сняла его потихоньку. Вытираясь, посмотрела в лицо Григория. Без очков оно было ближе, роднее, но вместе с тем казалось и каким-то незнакомо-чужим: на виске тонко пульсировал шрам, румянец лежал на щеках — все, что осталось от лица мужа, которое когда-то было таким красивым.

Так, с полотенцем у щеки, она и застыла печально возле постели мужа, пристально глядя на него глазами, чуть припухшими после сна. Солнечный луч упал сквозь шель в ставнях на ее русые, еще не причесанные волосы, в которых сверкали капли воды.

Что она будет делать с Григорием? Какое дело для него, бедняги, найдется здесь, в селе, к чему сможет он приложить свои силы? Какие там силы! Когда Докия силилась представить себя на месте Григория, ее охватывал ужас. Еще никогда не видела она человека в таком беспомощном состоянии.

О себе, о том, как она станет жить теперь, Докия не думала. Конечно, нелегко будет ей справляться с домашними делами и с работой в звене. Но сердце болело за Григория: наверно, легче было бы принять смерть там, где это произошло, чем быть обреченным на беспросветную тьму. Да и есть ли хоть проблеск надежды? Там, в Москве, сестра, Мария Павловна, говорила, что есть. Но что слова? Разве не видно...

Так и вышла из дому с тяжелым сердцем.

По утренней росе она побежала напрямик через сырой луг к саду, за которым работали льноводы. Давным-давно, после возвращения Григория с военных сборов, так же запоздала она на работу. Когда она пришла в поле, все уже были на месте, на участке. Уж и досталось ей тогда от болтливых девчат! Как начали они перемигиваться, да пытываться, да догадки высказывать! Подняли такое, что Докия не знала, куда деваться. Отбивалась от них со счастливым смехом, но не скрывала ни горящих щек, ни сверкающих глаз — и завидовали же ей чертовы девчата, особенно перестарки!

Но сегодня ее ожидало другое — вздохи, сочувственные взгляды, приглушенные голоса. Подруги знают, какой теперь Григорий у Докии. Попыталась снова представить, как будет жить ее муж: будет ходить ощупью по комнате или слоняться по двору, скрывая за темными стеклами невидящие глаза. Почувствует всю тяжесть своего положения, станет избегать жену, замкнется в себе, будет жить одним только страхом — как бы не причинить кому-либо неприятностей, не стать в тягость. Будет молчаливо, одиноко и бездеятельно сидеть где-нибудь в уголке. Страшная жизнь!

Погруженная в размышления, Докия и не заметила, что вышла не туда, куда хотела, — сад остался справа, а тропинка вывела ее на луг, к недавно сложенным стогам сена. Один из них стоял прямо на дорожке; крепкий свежий запах исходил от него. Докия опустила на землю, закинула голову. Вокруг нее все жило, все менялось в золотистом свете утра. Над лугами и садом, раскинувшимся зеленым маревом на пригорке, синело бездонное небо. В нем кружился, выискивая добычу, старый коршун. Вот он сложил крылья и камнем бросился куда-то в заросли камыша и сразу же взмыл оттуда, тяжело и плавно вымахивая крыльями.

Только теперь наконец опомнилась Докия. Вскочила на ноги, стряхнула сено с юбки и почти бегом направилась к саду. Тихая грустная песня доносилась из-за яблонь и груш, покрывшихся нежно-зеленым нарядом.

Григорий спал недолго. Его разбудили воробьи. Целая стайка их упала с крыши на яблоню, стоявшую под окном, и тут поднялся такой гам, такое радостное щебетание и чирканье, будто вся стайка прямо в комнату залетела.

Григорий поднял голову с подушки. Какое это счастье — после долгих лет скитаний по свету проснуться наконец под родной крышей, вдохнуть полной грудью свежий утренний воздух, наполненный звонкими птичьими голосами!

Одевшись на скорую руку, Григорий вышел из дому. Мимо него вспорхнули воробьи, низко над головой со свистом пронеслась ласточка.

Пьянея от радости, Григорий подставил лицо солнцу, встал босыми ногами на землю, отошел от крыльца. Вот здесь, огибая старую развесистую грушу, тропинка бежит в сад. Где она? Поискал ногой, нащупал. Хотел было уже двинуться по ней, но возвратился к крыльцу и начал отсчитывать, сколько шагов от него до тропинки. Под ногами была теплая дорожка — ни камешка, ни трещинки. Подорожник ласково касался



ног. Хорошо! Тропинка привела Григория к плетню, которым был отгорожен весь двор от сада, выращенного его руками, от сада, в котором когда-то стояли ульи и колоды с пчелами.

Коленом толкнул он калитку. Прошел. Куда же она ведет, эта узенькая тропка? Бежит, бежит вперед и вперед, увлекает его все дальше и дальше. Прямая, как струна, она вдруг свернула в сторону и исчезла. Он влез по щиколотки в холодную траву, даже засмеялся от наслаждения, шагнул раз и еще раз и едва не вскрикнул: ногу огнем обожгла крапива. Григорий метнулся в сторону, нащупывая пальцами ног потерянную дорожку. Но снова набрел на целый куст крапивы. Он поднимал ноги все выше и выше, чтобы выбраться из жгучих зарослей, и со всем сбился с толку.

— Ох ты, чертова крапива! — рассмеялся он, пританцовывая по траве. — Задала мне жару! Не ходи босый до покоса!

Пришлось удирать. И он пошел куда попало, лишь бы скорее выбраться. Через три шага его босые ноги утонули в мягко вспушенной земле. К горящим щиколоткам прикоснулась молодая прохладная картофельная ботва.

— А! А-а! — Григорий тер ногу об ногу, разгоняя вскочившие волдыри. А сам все сильнее и радостнее смеялся и вскрикивал.

Все тело наливалось силой, упругостью, бодростью, которой он давно уже не испытывал. Вспомнил отца. Тот частенько, бывало, вырвет куст крапивы, засучит штанину и бьет себя крапивой по икрам, как баннным венником. Спросишь, бывало:

— Зачем это вы, тато?

— Э-э... Хо-ро-шо! Это чтоб ноги не болели, чтоб здоровее быть. Попробуй, не откажешься. Сам, где только увидишь крапиву, полезешь в нее. Ох, и хорошо же!

Теперь уж он вряд ли смог бы отыскать тропинку, по которой шел сюда. Решил идти напрямик. Сделал шаг — залез в грядку, отклонился влево — яблоневая ветка чиркнула по лицу, а он шел и шел, пока не наткнулся на плетень. Стал ощупью искать калитку, прошел несколько шагов, больно наткнулся на какой-то кол. Вспомнилось, как когда-то, рассерженный, искал в госпитале табуретку. Из глубины души поднималось чувство досады на свою беспомощность.

Тогда, забыв о ногах, которые горели огнем, Григорий остановился, поднял голову и прислушался. Где-то совсем рядом прокукарекал петух. За спиной проскрипел колодезный журавель и сразу же застучал валец. Звякнул цепью пес. Вот на этот звон Кудлая ему и нужно было идти. Но вдруг он почувствовал, что слева от него что-то есть. Оттуда на него, на его щеки, казалось, давил воздух, там лежала глухая тишина. Тронул ногой — завалинка, коснулся рукой стены — перед ним был дом. Ах, вот оно что?! Да, да, значит, он сумел на расстоянии ощутить стену дома! Григорий вспыхнул от радости. Это было то, чего до сих пор ему не хватало, — ощущение окружающих вещей на расстоянии.

Не чувствуя ни голода, ни усталости, забыв, где он и как сюда попал, Григорий увлекся своим открытием. Он то отступал, то снова, не касаясь руками, приближался к стене прямо лицом, затем боком и снова прямо лицом, принаравливаясь к новому, только что открытому ощущению. Чем дальше отходил он от стены, тем менее плотным становился воздух и тем более широким диапазон звуков, наполнявших двор; чем ближе подходил, тем более густым был воздух, который, казалось, сопротивлялся его приближению.

Григорий задрожал от волнения. Как зачарованный он не мог оторваться от стены, которая принесла ему такие надежды.

Чтобы окончательно проверить себя, он решил выйти из сада, не прикасаясь руками ни к стене, ни к плетню. Что бы ни случилось с его бо-

сыми ногами, обо что бы ни разбил он пальцы, он все равно должен прислушиваться только к одному — к тому, как его щеки воспринимают вещи на расстоянии. Это и только это! И вот, по-прежнему чувствуя близость стены, он пошел. Там, где кончалась стена, в лицо ему дохнул прохладный воздух. Григорий понял — он дошел до угла дома. Не поднимая рук, он свернул налево и снова почувствовал щекой близость стены. Вдоль этой стены он и дошел до самого крыльца. Обессиленный, но переполненный радостью, он опустился на ступеньки. А пораженная соседка Мавра, которая вот уже несколько минут наблюдала за Григорием со своего двора, бросила белье на валец и удивленно прошептала:

— Видит... Истинный крест, видит. Ишь, как ходит!

Григорий сидел на ступеньках крыльца, тер ноги и думал. За воротами, разогнав кур, прошумела машина. Ветер издала донес паровозный гудок, сквозь открытые окна было слышно, как сын заучивает стихотворение. После минутного молчания там же, в доме, квакнула лягушка, крикнула чайка, зашелкал соловей. Григорий улыбнулся: у детей всегда дело пополам с игрой...

Он вспомнил свой вчерашний разговор с Василием Демьяновичем о работе. Найдет ли Мазуренко что-нибудь подходящее для него? Или надо думать только о том, чтобы не быть в тягость Докии, чтобы хоть что-нибудь делать дома? Но как? И что? Если бы даже у него были здоровы обе руки, что бы он мог делать? Чем бы он мог заняться? Все село отстраивается после войны, люди отдают этому все свои силы, а он будет сидеть и ждать, пока его накормят и уложат спать. Разве это жизнь? Это — страшное, никчемное, никому не нужное существование. Так и жить не следует, да и не сможет он так жить. Рано поехал из Москвы, рано. Куда он поторопился? Может быть, профессор Колин ускорил бы операцию и он прозрел бы. Пусть не совсем, пусть хоть немного, хоть чуть-чуть различать свет, чтобы не было этой страшной тьмы, — тогда бы он не был обречен на это бездеятельное одиночество, которое обступило его со всех сторон с первого же дня пребывания дома.

Григорий не слышал, как открылась калитка. Во двор под лай собаки бежала, тяжело дыша, корова.

— Манька, куда ты? — звонко прозвучал голос Докии.

Григорий поднялся и всем телом потянулся к жене. Но Докия пробежала мимо него, пересекая путь корове, норотившей вскочить в сад. Слышно было, как корова с хрустом вырвала из-под плетня куст травы, потом пошла к сараю. А Докия что-то говорила, обращаясь к корове, высыпала из мешка траву, которую нарвала в поле. Так делают все: полют, а выполотую траву приносят домой.

— Фу! Ну и жарко же... Гриша! Что ты тут делал? Дмитрик дома? — заговорила Докия, приближаясь к мужу. От нее пахло солнцем, степью, травой. — Заскучал у нас? Дмитрик! Иди-ка сюда, слей мне на руки.

Беззаботность, с которой жена звала сына, начала умываться и рассказывать, что делало сегодня ее звено, о чем болтали женщины, вернула Григория равновесие. С приходом Докии все вокруг ожило, стало другим. Что это она смеется? И сын, вскрикнув, тоже засмеялся: видно, плеснула холодной водой на мальчика.

Григорий стоял и тоже улыбался. Он слышал, как Докия побежала к крыльцу, — наверно, удирает от сына. Внезапно холодные брызги полетели ему в лицо. Докия засмеялась, как девчонка, затопала ногами. Григорий вытянул вперед обе руки.

— Ох, я тебе брызну!

Вдруг он представил ее себе. Шея, лицо, руки до самых плеч мокрые, капли воды на курносом лице, на подбородке, под узлом русых волос на затылке. Из-под выцветшей на солнце подоткнутой юбки сверкают голые крепкие икры.

Не успел и опомниться, Докия окатила его водой прямо из ведра.

— Будешь грозиться?

Григорий вскрикнул от неожиданности, отряхивался, отфыркивался. А Докия, смеясь, подбежала к нему, сама вся мокрая, и начала шлепать ладонями по спине, к которой прилипла холодная рубашка.

— А-а, хорошо? Хорошо? Это тебе вместо душа... Ну, побежали в дом! — Она обняла мужа сзади, подталкивая его к двери, прижалась к нему на ходу. Сзади за ними бежал сынишка.

После обеда Григорий пошел в парикмахерскую. Кто-то из посетительниц сразу уступил ему место. Парикмахер несколько раз шлепнул бритвой по ремню и стал снимать бороду, то и дело допытываясь, не беспокоит ли его. Зашипел пульверизатор, мастер побрызгал на щеки, на голову одеколоном, помахал салфеткой, старательно вытер лицо, и Григорий сразу же почувствовал себя так, будто стал моложе лет на десять.

В первые дни время текло незаметно. Заходили товарищи, знакомые. Вспоминали о прошлом, рассказывали, кто где был в годы войны. Григорий расспрашивал, как восстанавливается колхоз, как живут односельчане. Из старых бригадиров работает только Михей Свиридович Коркушко, да еще дед Черняк строителями руководит. А то все люди новые, неопытные. Бригадиром трактористов в Песчанке так и остался Никодим Бородка. Сколько в свое время пришлось Трощуку повоевать с ним! Упрямый был — ты ему одно, а он тебе другое. Ты ему жареное, а он — пареное. «Ты мне не начальник! — был у него постоянный ответ. — Я подчиненный директору эмтеэс. Понял?» Как-то он работает, теперь? Докия обещала передать Никодиму, чтобы тот заглянул к Григорию.

Никодим пришел вскоре. Как-то днем в узкой улочке послышался такой грохот мотоцикла, что все собаки взбудоражились, а куры с перепугу залетели на чужие огороды. У ворот мотоцикл еще дважды выпалил, как из пушки, прошипел, как двигатель у молотилки, — и заглох.

Стукнула щеколда.

— Григорий Сергеевич, ты дома? О-о, да у тебя тут такой пес, что куда там! Прочь! А ну-ка, вон, чтоб тебе!

Григорий был дома один — Докия ушла в поле, а сын куда-то убежал. Он вышел на крыльцо.

— А ну, Кудлай, на место! Вот еще сторож... Его и ночью не слышно, а днем всем подряд сапоги лижет. Это ты, Никодим? Что-то вроде голос у тебя изменился?

— Ну, здравствуй, здравствуй! Как живешь-можешь, Григорий Сергеевич? Это у меня после субботнего дождя. Промок до нитки, а домой пойти некогда было — у Гаврилы подшипник полетел. Ты же знаешь, какой он.

Бородка неловко пожал Григорию руку, прокашлялся.

— Жив Гаврила! — обрадовался Трошук. — И все такой же увалень? Садись, рассказывай, как вы тут поживаете. Спички у тебя есть? Закурим мою «Верховину».

Уселись на крыльце против солнца. По заросшему двору слонялся Кудлай, пугая кур. Над сарайчиком весело щебетал скворец.

— Подожди! Ох, и растяпа же я! Забыл, что привез тебе свежих карасей! — Никодим вскочил и широким шагом степняка пошел за калитку, принес с улицы мокрый, набитый свежими водорослями мешок. — Живые еще, трепыхаются. Это я у отца признал. Старик ходил на рыбалку к лесному озеру. Ох, и караси же! Я так думаю, что лучшей рыбы и не сыскать. Куда мы их пустим? Вот в эту кадушку, под водосточную трубу! Можно?

Григорию была приятна оживленная разговорчивость Никодима Бородки. Непоседливый, влюбленный в машины, он чем-то напоминал ему госпитального товарища Фомина. Никодим целыми неделями мог не уходить с поля, доводя свою жену до отчаяния. Сначала она почти каждый вечер прибегала к нему в тракторную будку, стыдила его, ругала, а потом, приткнувшись плечом к стенке будки, горько плакала. Никодим бросал работу, подходил к ней и виновато бормотал:

— Ну чего ты, дурочка, разве я что? Я же работаю. На «универсале» магнето отказало. Пока туда-сюда... уже и вечер. А потом «хатезе» искру не давал.

— А потом, а потом... тебя тут и волки съедят,— не унималась жена.— Хоть бы домой с кем-нибудь передал, что еще жив.

Никодим неумело успокаивал ее, но жена уже не обращала на это внимания.

— А ну-ка, домой! Домой! Наварю галушек, ты хоть горяченького похлебаешь! Нечего отнекиваться, собирайся!

— Мария...

— Я уже семь лет тебе Мария! Не упирайся, все равно не отстану. Надоело мне. Хлопцы! Никодима сегодня не будет. Делайте сами все как следует. Обойдетесь без него...

Жена — маленькая, худенькая, с острым носиком — семенила рядом, не переставая отчитывать за неопрятность, за нелюдимость.

— Мария Никодиму голову мылит! Забыл дорожку домой, засиделся в поле! — доносились до них доброжелательные возгласы соседней...

Никодим долго гостил у Трошука. Они сидели на крылечке, курили, разговаривали. Никодим то и дело срывался с места, размахивал руками, рассказывал, как трудно стало работать: столько над трактористами теперь развелось начальников, что иной раз и не поймешь, кого слушать.

— Всяк свое твердит, всяк свое требует, а к чему все это — и черт лысый не разберет. Ну, все равно сделаешь... Потому как попробуй не сделать! Тогда в эмтеэсе крепко всыплют: урожай, мол, низкий, горючего истратил много. А бригадиры в колхозе — ни рыба, ни мясо. Да еще и слова не скажи никому.

— А почему же это так, что нельзя сказать? — придвинулся к Никодиму Григорий.— Критики не любят? Так это не страшно, лишь бы на пользу пошло.

Бородка не ответил. Он чего-то не договаривал. Подошвой сапога катал по земле камешек, низко свесив голову меж рук, положенных на колени. Слушая, как хрустит под ногой Никодима камешек, Григорий попытывался — в чем дело?

Сначала неохотно, а затем все откровеннее Никодим Бородка рассказал о своей беде. Он не воевал. Все время был дома, в Песчанке. Может, Григорий Сергеевич помнит, еще до войны с ним стряслась беда: когда распресовывал гусеницу трактора, острый металлический осколок угораздил в правый глаз. Оставшись без глаза, Никодим был снят с военного учета. Ну, а после войны все вот попрекают — дескать, под немцами сидел, дразнят, насмеваются. Стоит лишь кого-нибудь задеть, так сразу же все и начинается.

А душа ведь болит, когда что-нибудь делается не так, как следует. Не смолчишь. Ну, и получаешь в ответ. Да еще, мол, язвят, что Мария воевать не пустила. А разве это правда?

И сам знаешь, что совесть у тебя чиста, что хотел уйти со своими и уже ушел было, но на мосту оказались немцы, и за рекой немцы, и далеко впереди, на сто верст, немцы. И пришлось не своей волей вернуться... У самого-то совесть чиста, но как и когда будешь каждому объяснять и втолковывать это, да и всякий ли захочет слушать, да и всякий

ли решит верить... У самого-то совесть чистая, а в людских глазах читаешь иногда такое выражение, словно нет, не чиста!

Никодим снова умолк. Молчал и Григорий Сергеевич. Невольно между ними легла тень. Конечно, не один Никодим всю войну не нюхал пороха, к тому же у него и уважительная была причина. И все же это предвоенное ранение не было оправданием. Если не на фронте, так где-нибудь в технических частях, на ремонте танков, или в глубоком тылу, на заводе, Бородка все же мог бы работать. А он даже не эвакуировался. В селе укрывался, отсиживался от войны. Теперь вот упрекает себя, теперь ему стыдно и боязно оглядываться на тех, кто возвратился домой после великой победы над врагом.

Рассказав о своей жизни, о работе трактористов, о том, чего не хватает в колхозе, Бородка ушел. А Григорий еще долго сидел и думал: вот еще одна причина, из-за которой в колхозе не совсем ладится, — не все люди чувствуют себя по-старому. Сколько же таких, как Бородка, оставалось здесь помимо своей воли, а теперь вот у них кошки скребут на сердце! И рад бы сказать что-нибудь и сделать что-нибудь по-другому — так один боится упреков и оскорблений, а у другого и впрямь совесть не чиста.

Однажды под вечер Григорий Трошук пришел к плотникам. Они пилили огромные бревна.

«Вжик-вжик!» — звенела пила, осыпая землю опилками. В воздухе стоял крепкий смолистый запах сосны.

Увидев Трошuku, плотники прекратили работу. Когда-то давно, еще до войны, Григорий был у них бригадиром, и его очень уважали за сметку, за умение найти каждому дело по душе. Особенно же запомнилось всем, как Григорий подсчитывал, сколько колхозу нужно строительных материалов. Бывало, без карандаша, без бумаги, а лишь прищурив глаз, посмотрит куда-то в сторону и вверх, пошевелит губами — и, хоть проверь, хоть не проверь, подсчитает точнее точного!

— Пришел проведать нас? — Отряхиваясь, к Трошuku подошел коренастый жилистый столяр Гнат Руденко. — Если б знал Антон Фомич! Он побежал в контору спросить, сколько потребуется досок на крышу. Лишнее пилить некогда. Петро Иванович, спускайтесь на землю, сейчас узнаем все в точности!

От Гната несло смолой и потом. Шершавая рука, которую он подал Григорию, была клейкой от живицы. Григорий почувствовал, как она вздрогнула, пожимая его руку, и обрадовался, сразу узнав Руденку. Он, как и прежде, необычно твердо выговаривал букву «р» — она у него, казалось, звенела на губах, растянута.

— Здравствуй, Гнат! Что же это ты Петра Ивановича загнал наверх, а сам внизу играешь. Ты же сильнее!

— Да пусть себе поиграет, — засмеялся Петро Иванович, спускаясь вниз. — Такая дубина и козлы развалит. А ну-ка, Григорий Сергеевич! Дай посмотрю на тебя. Я все собирался домой к тебе заглянуть, да не выберусь никак. О-о, да ты как яшень! Ну, здравствуй, садись. Мы тут тебя частенько вспоминаем. Не забыл ты еще своих расчетов? А?

Григорий тоже засмеялся. Если бы они знали, как его умение считать в уме пригодились ему на фронте!

Солнце стояло еще высоко. На него набежала тучка и закрыла. Григорий поднял голову.

— Что это? Погода хмурится? — спросил он, коснувшись рукой модельного станка, и, подпрыгнув, уселся на него, болтая ногами.

Как всегда, и в беседе с плотниками он привычно расспрашивал, кто где был во время войны, стремился узнать, какой объем строительства, прикидывал, сколько на все это понадобится людей, средств.

- Откуда лес возите?
- Издалека, из Канавицы.

— Почему же это вы туда забираетесь? Ведь в Белом урочище сосняк в полтора обхвата. Я там еще в сорок первом году собирался сделать просеку. Это же рядом, рукой подать! — И он на самом деле протянул руку, словно мог бы дотянуться до этого сосняка. — И людей, кажется, не хватает, и тягла теперь мало, а вы в такую даль — в Канавицу подались. Сколько лишней мороки... Наверное, Василий Демьянович забыл. Я ему напомним. Непременно напомним.

— Да р-разве мы не говор-рили уже? — махнул рукой Игнат. Он присел рядом с Петром Ивановичем, откинул в сторону фартук, поставил одну ногу на верстак и обнял ее руками. — Оно же все у нас делается, как мокрое гор-рит. Председатель в р-разъездах — то в Овруч, то еще куда-нибудь, а помощника хорошего нет. Тебе бы взяться за это дело, Григорий Сергеевич...

У Трошуга забилось сердце. Он засмеялся. Это был смех человека, который поверил в искренность собеседника, но сам-то хорошо знает, в каком он теперь положении и какое должен занимать место в жизни.

Пильщики пожаловались на то, что работы много, а правление никак не позаботится приобрести пилораму.

— Приходится все руками да руками действовать, — со вздохом покачал головой Петро Иванович и вытянул вперед свои шершавые ладони в желтых мозолях. — Сколько им, этим рукам, достается! За день так от этой пилы устанешь, что ночью судорога пальцы сводит. Особенно безымянный. Он у меня и без того не разгибается, ну болит же, проклятый, так тянет, что и не сказать...

Оживление Григория как рукой сняло. Разве в Овруче или в Житомире нельзя приобрести пилораму? А если там нельзя ее найти, то и в Киев обратиться можно. Государство и кредит дало бы для такого дела.

Петро Иванович даже языком причмокнул, потому что Григорий сразу же и место для пилорамы выбрал — установить ее надо невдалеке от кошары, между Черным яром и силосной башней. Петро Иванович и Игнат, словно сговорившись, одновременно посмотрели в ту сторону. До чего же дошлый этот Трошук! Вон там торчат железные стержни разрушенного трансформатора, через который когда-то подавалась электроэнергия на все хозяйство. А теперь там висят только оборванные провода с нанизанными на них белыми чашечками изоляторов. Все следы военных разрушений.

И снова, словно сговорившись, пильщики одновременно вздохнули. Что там толковать! Если бы даже и удалось достать пилораму, то чем ее приводить в движение — не конным же приводом. Да к тому же и деньги нужны большие на мотор, а дадут ли еще ток из Овруча? Город так разрушен во время войны, что его и за десять лет не восстановишь.

Вскоре за отцом, задержавшимся у пильщиков, прибежал Дмитрик. Минувя сарай, они пошли домой. Солнце уже садилось, бросая лучи из-за белого перистого облака. Возле птичника женщина созывала кур. Из открытой двери свинарника доносился визг проголодавшихся пороссят.

Далеко вокруг разносилось звонкое посвистывание пилы. Пильщики поменялись местами. Теперь старый плотник стоял внизу, широко расставив ноги, и размеренно тянул пилу, погрузившись в свои размышления. Игнат также молчал, движения его стали резкими, он будто со злостью вытягивал пилу вверх и броском опускал вниз.

Прошло около получаса. Когда Игнату нужно было переставлять клинья, Петре Иванович, прислонившись спиной к стояку, произнес тихо, с сожалением:

— Такой человек. И нет его больше... А он бы, честное слово, как сказал, так и сделал бы! Ближе, ближе забивай клин! Вот-вот! Еще

немного! Григорий крепкой закваски человек, такой же, как и дед Трошук. Тот, бывало, уж если пристанет — не отвяжешься. Ну, и жалеть не будешь — по делу пристаёт. Э-хе-хе! Если бы Григорию — глаза! Руководить он умеет. От природы боевой парень. К тому же и знает все по хозяйству — был и бригадиром, и животноводом, и заместителем председателя. Слышь, Игнат? Где только не побывал он, что только не пережил, времени прошло сколько, а не забыл, что в Белом урочище сосны в полтора обхвата... Вот это память!

### Решение

В пятницу Григорий в сопровождении Дмитрика пошел в Овруч получать пенсию. Они решили идти проселками напрямик — так было совсем близко, всего около восьми километров.

Хорошо в степи! Пригревает солнце, легкий ветерок освежает лицо. И дышится свободнее, хочется петь.

Когда шли по тропинке через высокую рожь, Григорий и впрямь негромко запел свою любимую песню: «Ой, літа орел».

Дмитрик поддерживал отца под локоть. Он был одет в черные штанишки, из которых уже вырос, в белую рубашку и, как всегда, без фуражки. Мальчик подпевал отцу:

Гу-ля Макси-им, гу-ля-а батько-о,  
А за-а ним хлоп'ята...

Домик райсобеса находился в вишневом саду. Под деревьями на скамейках сидели люди в ожидании заведующего. Чтобы как-нибудь убить время, отец с сыном пошли в город. Заглянули в аптеку, купили лекарства, мыла.

— Тато, давай пойдем в парк, — попросил Дмитрик. — Там не так жарко...

Под сенью старых деревьев и на самом деле было прохладно. Прогуливаясь по широкому аллеям, отец и сын подошли к невысокому заборчику, за которым находились могилы героев гражданской и Отечественной войн. На каждой из могил пламенели красные георгины, блестели темные стрелы отцветших ирисов, медвяно пахли неприметные цветы фацелии.

— Тато, а кому этот черный памятник? — Дмитрик потянул отца за руку, указывая на могилу, украшенную цветами. Над могилой возвышался строгий обелиск из черного полесского гранита, на верхушке которого алела маленькая звездочка.

В рамке под стеклом надпись:

«Здесь похоронены партизаны  
Чехословакии:  
командир чехословацкого партизанского отряда  
Герой Советского Союза  
ЯН НАЛЕПКА,

десантник Матуш Михайла, автоматчик Ондрей Кручлу, минер Фабиан Криштофик, пулеметчик Крислан».

Прочтя надпись, Дмитрик воскликнул:

— Ян Налепка! Это же тот самый партизан, из Чехословакии... Про него рассказывал Василий Демьянович! Правда, тато?

Мальчик поднял глаза на отца и затих. Он еще никогда не видел, чтобы лицо отца было таким строгим, исполненным боли и печали, как сейчас. Он молча потянулся к отцу, приник щекой к его сильной руке и долго смотрел на чужую и в то же время близкую могилу.

Это посещение суровой могилы погибших воинов наложило отпечаток на весь день. Отец и сын молча вернулись к райсобесу, молча шли домой. И как только пришли, сын сразу же куда-то исчез. А Григорий остался наедине со своими мыслями. Вот люди честно сложили свои головы в бою. И каждый, кто проходит через этот скверик, останавливается у их могил, склоняет голову, отдавая почесть славным героям.

Быть может, это и лучше, чем жить вот так, как живет он? Ну на что он сейчас годен? Бывало, до войны, где бы что ни случилось — сразу же посылали за Трошуком. И он шел. И принимался даже за то, чего не знал и чего боялся. Так было и на войне.

А теперь?.. Что же делать теперь? Что у него осталось?

Сколько прошло времени с тех пор, как он сидел так один, Григорий не знал. Да и к чему знать — беспросветная горечь охватила его душу и сердце. Но почему же, почему он не может работать? Он начал перебирать в памяти все, что приходилось делать ему раньше, до войны, прикидывал, смог ли бы справиться с теми обязанностями сейчас. Получалось, что бригадиром строителей он, пожалуй, мог бы быть, а завести ферму еще легче. Ведь он же все, все это знает! Это верно, что он мог бы справиться. Но... кто теперь доверит ему такую работу?

По улице с грохотом прокатилась телега. Кудлай бросился к воротам, залаял. В соседнем дворе громко заболботал индюк, будто давился от злости.

Скоро пришла Докия.

— Что это ты такой печальный? — Она села рядом с мужем. — Тоскуешь? Где Дмитрик? Сейчас будем ужинать. Что тебе приготовить? Может, галушек хочешь? Или кулеш? Дмитрик, Дмитрик! Нарви огурцов!

Вскочив, Докия быстро собрала возле навеса дрова, затопила летнюю печку. Мальчик полил матери на руки, и она уже зазвенела посудой, в ее руках залопотало сито. Вот у кого работы хоть отбавляй, а он, Григорий, ничем и помочь не может жене.

Вскоре от плиты вкусно запахло жареным салом, луком.

Как только Докия накрыла на стол, пришел отец. Кашлянул, поздоровался. Дмитрик сразу же побежал, вынес из дому скамеечку, подал ложку, тарелку.

— Дедушка, садитесь поближе. Вот сюда..

Старый отец навещал Григория почти ежедневно, хотя и жил далеко отсюда. То нарубит хворосту, то уберет навоз или пройдет с граблями по огороду, то в саду сухие ветки срежет. И вечером посидит с Григорием, расскажет о сельских новостях, послушает, где сын был, с кем встречался. А на ночь отец уходил сторожить амбары — продолжал работать, будто ему и не семьдесят семь лет. Весь свой век он сам работал и сына таким воспитал. Он горько переживал за сына, хотя своего горя никогда не выказывал.

Старик любил поест горячего. И сыну было приятно, что отец в гостях у него, хвалит свежие галушки.

— Ты бы, сынок, к Семену Ишуку ходил, что ли, — откладывая в сторону круглую деревянную ложку, заговорил отец. — Он у нас партийный секретарь, с ним бы и посоветовался. Может, вместе что-нибудь и придумали бы. Ты его не знаешь — он из Чупаховки приехал в прошлом году. Должен бы помочь. Сам такой... Еле живой с войны возвратился. А что уж курит, так я бы ему, ей-ей, руки поотбивал бы! Ну, прямо-таки не выпускает цигарку из рук.

Еще немного посидев, отец взял свою палку и собрался в дорогу. А Докия уже летала по дому, стелила постель, на ходу полила фикус, запарила отрубей для поросенка. Потом внесла в комнату целую охапку свежей пахучей травы. Особенно сильно был слышен горький запах



полыни. Быстро разбросав траву по полу, Докия глубоко, облегченно вздохнула, будто ей только этого и не хватало, чтобы закончить рабочий день и передохнуть.

Григорий проводил отца до ворот и долго стоял, прислушиваясь, как отдаляются неуверенные стариковские шаги. А то и впрямь пойти к секретарю партийной организации? Только зачем? Что он, беспартийный, может сказать секретарю парторганизации Ищуку? Что он для него представляет? Будь хоть он здешний, нашлось бы с чего начинать разговор. Мол, просто зашел проведать, старое вспомнить. А там и пошло бы — лишь бы зацепка была. Ну, а с Ищуком как? Кто его знает, какой он человек!..

Нет, нужно идти к Мазуренко. Нужно обратиться к Василию Демьяновичу. Кто же, если не он, должен помочь? Но разве у председателя своих хлопот мало? Хозяйство большое, разрушенное войной, пришедшее в упадок.

И все же больше не к кому.

Когда Григорий Трошук зашел в контору, председатель колхоза только что закончил разговор с бригадирами и заведующими фермами и был очень зол.

— Сказано? Баста! — еще в сенцах услышал Григорий его властное восклицание. — Привыкли болтать... Баста!

В конторе стояла неловкая тишина. Бухгалтер, учетчики сидели неподвижно, и если бы не шелканье счетов и шелест бумаги, можно было бы подумать, что здесь никого нет. Григорий засомневался, вовремя ли пришел он со своими разговорами, и в нерешительности остановился возле печки.

Из кабинета Мазуренко резко открылась дверь. Оттуда вышли несколько человек, и кто-то — Григорий, занятый своими мыслями, не узнал, кто именно, — сердито плюнул, даже прокряхтел, еле сдерживая ругательство.

— У-ухх!

И этим своим вздохом словно бы обжег Григория. Что это с Василием Демьяновичем?

Григорию уже рассказывали, что старый председатель после войны круто обращается с людьми, не прислушивается ни к кому, все решает единолично, не терпит возражений. Сначала Григорию не верилось, чтобы такое могло быть. Ведь так уж повелось, что на председателя можно и наговорить. Но чем дольше жил в селе, тем больше нареканий слышал на Василия Демьяновича. А тут вдруг невзначай и сам услышал, как Мазуренко разговаривает с бригадирами. Что же это будет? До чего может дойти? Почему никто не одернет старого председателя?

Григорий решительно направился к двери кабинета.

Все, кто находился в это время в конторе, удивленно посмотрели ему вслед. Этому еще что здесь нужно? Ждали, что Трошук вылетит обратно точно так же, как вылетел недавно бригадир.

— Здравствуй! — еще не оствив, недовольно ответил председатель на приветствие Григория. — Ну, садись... Как ты там?

Григорий примостился у стола, облокотился на него. Не зная, с чего начинать, и чувствуя, как бьется сердце в груди, откинулся на спинку стула и коротко вздохнул.

— Чего вздыхаешь? — Под Василием Демьяновичем скрипнуло кресло. — У тебя что не так? У каждого свое..

Начинать откровенный разговор было нелегко. Григорий заговорил сбивчиво, и от этого он злился на самого себя. Но вскоре он взял себя в руки, стал говорить быстро и твердо, лишь изредка умолкая, чтобы передохнуть. Боялся, что Мазуренко не дослушает до конца, прервет, и тогда произойдет стычка.

Тут, в колхозной конторе, Григорий совсем забыл, что пришел к Василию Демьяновичу поговорить о себе, и говорил о том, что успел узнать об их колхозе.

— Как хотите, а я этого не понимаю. Всюду, куда ни глянь, колхозы как колхозы, растут, восстанавливаются, а у нас ни государству, ни себе никакой пользы. Прошлогодня рожь в скирдах до весны стояла, мыши поточили ее начисто. На трудодень и по полкило зерна не получилось. О чем только вы думаете, Василий Демьянович?

Председатель колхоза ни словом, ни жестом не прерывал Григория Трощука, молчал и только тяжело сопел. Григорий представил себе солидную фигуру Мазуренко, его привычку сидеть, тяжело опершись обоими локтями на подлокотники кресла, так что плечи поднимались вверх. Короткими толстыми пальцами тяжелой морщинистой руки он барабанил по стертým подлокотникам или похлопывал ладонями по ним. И чем дальше говорил Трощук, тем все чаще Мазуренко стучал пальцами, тем все тяжелее, все более хрипло дышал. И вдруг он хлопнул ладонью по столу. На стеклянном подносе звякнул стакан, на пол упала ручка.

— Ты зачем пришел? — сдавленным голосом заговорил Мазуренко. — Думаешь, мне без тебя мало хлопот? Посмотрите, люди добрые, шестнадцать лет Мазуренко председательствовал и все было, как положено, а это вдруг негодным стал? Людям прохода не дает, кричит, ругается. Хозяйство трещит по швам, а он и не замечает! Пилорамы нет, телятник без крыши...

Грохнул отодвинутый стул. Мазуренко вышел из-за стола. Под его тяжелыми шагами закачались неплотно настланные доски пола, что-то застучало в шкафу. Этот шкаф все время, пока Мазуренко ходил, откликался на каждый его шаг то громче, то тише.

— Ты думаешь, я не вижу, что к чему?! Думаешь, ругаюсь от нечего делать и мне не больно, что мы никак не можем подняться после войны? Но всюду, куда ни кинь, — все клин! Сам не накричишь — никто не делает. Я, может, душой своей изболелся, а ты...

Мазуренко вдруг стал возле Григория и замолчал, тяжело дыша.

На минуту воцарилось молчание. Григорий хотел ответить, потому что последние слова, которые Василий Демьянович выдал из себя, прозвучали с глухой тоской, но ощутил на своем плече руку председателя.

— Давай, Сергеич, присядем вот здесь, на диване...

Под грузным телом Мазуренко заныли, заскрежетали пружины старого дивана. Минуту-другую в кабинете стояла тишина.

— Ох, Грицько, Грицько! Если бы ты только знал, как мне тебя не хватает! Сам один, за что ни возьмись! А ведь я уже состарился. Иногда увижу, что не так делается, и рукой махну — ну его ко всем чертям! Делайте как хотите, если не слушаете меня. Потом спохватишься — да поздно уже. Если бы хоть заместитель был, а то...

— Почему же вы не возьмете себе кого-нибудь? — уступчивее спросил Трощук, ловя себя на мысли о том, что начинает сочувствовать Василию Демьяновичу.

— Кого же? Я их уже перебрал знаешь сколько? И Лысюк был, и Самойленко, и Щупак. А то вот Рассоху взяли из сада, назначили. Ну и что же? В саду — он хозяин, а тут... Ходит за мной, спрашивает: можно ли лошадей взять в лес? Выдавать ли кузнецам уголь или пускай чем хотят горны греют? Беда! Беда, Сергеич, да и только! Ну, кого назначить? Семена Михайловича Ищука можно было бы. Он в кооперации тут работает. Или, может, Самойла Кидя прикажешь взять? Этот пойдет с дорогой душой. И во сне видит себя на руководящей должности, да вот беда — он уж тут так руководил, что лучше не вспоминать... И в райземотделе секретарствовал и на пивном заводе кладовщиком был. Потом кто-то додумался выдвинуть его в председатели колхоза. Был в Дубовке — сняли за

сев, избрали в Чернятине — там и до жатвы не дотянул. Правда, в «Заре» год попредседательствовал. А теперь вот снова к нам вернулся...

Неожиданно разговор принял самый мирный характер. Василий Демьянович жаловался на бригадиров, на то, что после войны работать стало намного труднее. Он все вздыхал, забыв о том, что минуту назад кричал, и Григорий понял, что председателю в самом деле нелегко. Но в то, что Мазуренко всюду, за что ни возьмись, один, в это не верил. Знал он и Михея Свиридовича Коркушко, и бригадира строителей Черняка, и заведующих фермами — это все опытные, трудолюбивые люди. Исполнительные, добросовестные. Правда, среди них не было таких, которые могли настоять на своем, поспорить: все оглядываются, за чьей бы спиной стать. Дед Коркушко, тот и горячий, но все без толку — не всегда и сам сообразит, как вернее поступить.

— Почему люпин перестали сеять? — спросил Григорий немного погодя. — Ведь для наших песков люпин — это все. Почему мало овощей выращиваем?

— Э, что ты знаешь, — упавшим голосом протянул Мазуренко. — Нет земли под огороды.

— То есть как это нет? А луга, а балка Сиренко, а склоны вдоль Жучкина болота?

Мазуренко, поникнув головой, молчал.

Григорий ожидал ответа. Было слышно, как за стеной приглушенно звучали голоса конторщиков. На дворе постукивал движок.

— Нет земли, — нехотя подтвердил Василий Демьянович. — Те участки, которые ты когда-то отвоевал у луга, да и вся балка Сиренко нынче под зерном. Теперь все это посевной площадью числится по шнуровой книге. Попробуй не засеи ее ячменем... шкуру снимут, да еще и солью присыплют. Тут, брат, столько законников развелось, чтодохнуть не дают. Лишний кочан капусты не посадишь, чтобы она в сводку не попала. Паршивый поросенок подохнет — сто актов нужно составить, а то обвинят в бесхозяйственности, в разбазаривании скота, и пикнуть не дадут. По каждому пустяку давай письменный отчет, каждый шаг объясняй. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно — сводки, отчеты, доклады.

Он бессильно шевельнулся, провел ребром ладони по шее.

— Петля! Бумажная петля. Дохнуть невозможно. И хоть говори, хоть не говори. Я уже и на пленуме обкома выступал, ей-богу, выступал! Думаешь, помогло?

Об этом Григорий уже знал. С первых дней пребывания в родном селе он обратил внимание на то, что в конторе сидит много людей, и бухгалтер, старый, неразговорчивый Алексей Свиридович Горкун, пробормотал, что даже этот штат не справляется, ежедневно до поздней ночи приходится засиживаться в конторе.

— Гриша, а что ты сейчас делаешь? — перевел председатель разговор на другую тему.

— Да хочу вот в Москву съездить. Жду письма...

Василий Демьянович сел ровно, горячо хлопнув себя ладонями по коленям.

— Лечиться? Значит, можно? Вот если бы посчастливилось тебе... Я бы не знаю что дал за это! Ты же все тут знаешь... Каждый бугорок, каждую лошину. Люди до сих пор вспоминают тебя добрым словом.

Он встал. Размялся. Потом подошел к Григорию, положил руки ему на локти, встряхнул.

— Э-э, пойдём-ка, Сергеич, хлопнем по маленькой! Жинка обещала сегодня пирожков с капустой да с яблоками, а я вот с утра еще и дома не был. И есть и спать хочется. Завтра ведь снова в Овруч ехать! Совещание. А раз совещание, то это уж, почитай, день пропал. И дела не сделаешь — воскресенье ведь! — и не отдохнешь... Ну, так пошли?

Они вышли из кабинета председателя во двор. Было темно.

За забором кто-то проехал на паре лошадей.

— Ну что, привез? — крикнул Мазуренко.

— Калийную дали, — донесся из-за стука колес веселый, видать малость хмельной, голос. — А за супером нужно будет завтра ехать.

— А чтоб вас черт побрал! — рассердился Василий Демьянович. — Хоть бы раз отдали с первого приезда все, что положено! Нет, приходится канючить, ездить без конца... Жи-изнь!

Григорий шел молча. Улица спускалась вниз, и он, не привыкнув ходить в эту сторону села, ступал осторожно и внимательно, хотя Василий Демьянович и поддерживал его.

Последние слова председателя колхоза задели его за живое. Что же это в самом деле? Все необходимое для хозяйства выдается по нарядам. По плану, значит. Почему же нужно ездить по нескольку раз? Кто имеет право не выдавать колхозу положенное?

Не слушая, что отвечает Мазуренко, Григорий обдумывал свою мысль, зародившуюся в этот момент. Когда Василий Демьянович умолк, Григорий остановился.

— А... давайте... я вам помогу, Василий Демьянович! Я... Давайте... я съезжу и достану для вас супер или что там еще нужно.

Вначале в его голосе звучали нотки колебания, но потом они исчезли. Григорий заговорил твердо и уверенно, будто угрожал тем, кто вынуждал ездить и канючить то, что полагается колхозу по праву.

Но, сказав, сразу же притих, затаил дыхание, напряженно ожидая, как отнесется председатель к его предложению. А тот замедлил шаг, заговорил сбивчиво. Но, пожалуй, он согласен. Говорит, что для этой работы требуется упорный, неуступчивый человек. Бормочет задумчиво, что, может, должность экспедитора и будет Григорию подходящей работой?

Долго засиживаться у Мазуренко не пришлось. После первой же рюмки хозяин стал так глубоко и часто зевать, а жена вслед за ним так горько вздыхать, что Григорий засобирился домой. Василий Демьянович хотел проводить Григория, но тот попросил довести его лишь до конторы, а дальше дорога ему была уже знакома.

Попрощавшись с Василием Демьяновичем, Трошук пошел по улице, памятью узнавая соседские строения, заборы, переулки, мимо которых проходил.

Хорошо в селе в теплый летний вечер! В воздухе слышен каждый шорох, каждый звук. Где-то неподалеку проскрипел колодезный журавель, стукнула калитка. Григорий шел, глубоко дыша. Хотелось смеяться, петь. С чего бы это? Чего это он так расчувствовался?

Григорий почти бегом вошел в дом и, радостно улыбаясь, открыл дверь комнаты.

— Где это ты бродил? — встретила его Докия. — Ой, Грицько, ты у меня смотри! То за ним в Москве женщины бегали, а теперь уже здесь какая-то домой не пускает! Сын тебя ждал, ждал, хотел что-то почитать отцу, а он...

Григорий с широкой улыбкой подошел поближе.

— Вишь, какой! — продолжала отчитывать его Докия. — А ну-ка, раздевайся, раздевайся, чего заигрываешь? — Вдруг умолкла. — Э-э, да ты на самом деле?.. Водкой несет, как из бочки. Где это ты угощался? А я себе места не нахожу, не знаю, что и подумать... Хотела уже по всему селу искать. А ну-ка, прочь от меня!

Полушутя, полусерьезно она оттолкнула от себя Григория. А тот так и сиял от радости.

— Доня, да ты знаешь, что произошло?

Торопливо, сам себя перебивая, он начал рассказывать о своей встрече с Мазуренко, о том, как они было сцепились, едва не поругались, о том, как жаловался председатель.

— А чего же ты радуешься, Гриша? Василию Демьяновичу и в самом деле тяжело. Подходящего заместителя нет. Ой, я и не сказала! Тут сегодня из Киева такой концерт передавали! И я с ними пела. Дмитрик даже в лалоши хлопал. А тебя все не было... О чем же вы договорились?

Григорий присел разуваться. Его трясло от волнения. Неужели Мазуренко на самом деле соглашается? Это же... Нет, нет, надо обождать с поездкой в Москву, куда решится дело. Да, да, зацепиться хоть за что-нибудь, найти хоть какое-нибудь дело в артели. А там, может, снимут с него темные очки, может, вырвется он из тьмы, в которой живет вот уже столько лет, и выйдет на широкую дорогу жизни?

Подъем прошел. В сердце закрадывалась тревога. Пододвинувшись к Докии, которая сидела рядом на скамье, он положил ей на плечо свой крутой подбородок, вздохнул, ожидая ее ласковой поддержки. Но Докия тоже сидела тихо, не шевелясь, и смотрела куда-то перед собой.

А на следующий день Григорий вместе с Кириллом, ездовым Василия Демьяновича, поехал в Овруч покупать бидоны для молочно-товарной фермы. В райпотребсоюзе его встретили приветливо, быстро оформили документы, и уже каких-нибудь два часа спустя десяток новеньких алюминевых бидонов для молока тонко позванивал за спиной Григория на дрожках-бегунках.

Сытые кони весело бежали по песчаной, хорошо укатанной дороге, проходившей через заросли лозняка и вербы. С грохотом проносились мимо встречные грузовики.

На первый взгляд — мелочь: велика важность, привезти бидоны! А у Трощука на душе праздник. Он даже сам удивляется, как все легко и хорошо устроилось. Ведь сколько раньше разговоров было, сколько горемычные доярки ругались из-за этих бидонов!

Сутуловатый, невзрачный на вид, с несуразно длинными руками, из которых никогда не выпадал кожанный, мелко плетенный кнут, Кирилл ехал молча, понукая лошадей.

— За бидонами Самойло ездил. Позавчера, — равнодушно прокрипел он.

— И возвратился ни с чем, правда? — засмеялся Григорий.

Кирилл ухмыльнулся.

— Он... гм! Пять кило... Но-о, ленивые! Он там пять кило сливочного масла оставил.

Трощук стал возмущаться, допытываться, как это было, кто разрешил отвезти масло, но Кирилл уже больше не откликался, а только управлял лошадьми, невзначай подталкивая Григория левым локтем.

Умолк и Григорий. Получалось, что бидонов и на этот раз не раздобыть бы, если бы Самойло Кидь позавчера не подмаслил. А он, дурак, рот разинул, возгордился: никто не мог достать бидоны, а вот он, Грицько Трощук, поехал — и сразу же нате вам бидоны для фермы. Тьфу!

Как только приехали, Григорий, не простившись с Кириллом, даже не доложив председателю о выполнении задания, заторопился домой.

Долго сидел в тени, за домом, ругая себя за то, что предстал перед Кириллом в таком свете.

— А-а-а, вот ты где! — послышался голос отца. — Говорили, что пошел домой. Заглянул в комнату — нет. Что это ты такой, будто с кем подрался?

Отец присел на завалинке. Григорий с возмущением стал рассказывать ему о своей поездке.

— Что же это происходит, отец? Не было у нас же такого. Сколько существует Советская власть — вытравливали, истребляли взяточничество, а оно снова появляется?

С досадой попросил сигарету.

Отец зажег спичку, дал сыну прикурить, потушил огонь носком сапога и тоже вздохнул.

— Война, сынок, людей испаскудила. Тут же было — без куска масла никуда и не суйся. А яйца и масло все делали. Слышал, как Мавра при немцах поезд останавливала? Зачем-то поехала в Коростень, а оттуда уже пора бы и домой возвращаться, а поезда все нет и нет. Ну, она и решила пойти пешком. Думалось, машина где-нибудь догонит или кто на лошадях подбросит. А оно, как назло — ни машины, ни телеги в дороге. За спиной котомка, через плечо корзинка с яичками. К корзинке и сандалии прицепила — босиком ведь легче идти. И вдруг услышала, как сзади попыхивает товарняк. Мавра и остановилась под насыпью. Котомку к ногам, корзинку с сандалиями подняла над головой — подает знак машинисту. И что бы ты думал? Остановился. Остановил, подлец, поезд! Вылез из будки, спустился вниз к Мавре, потащил корзину. Смеется, что-то кричит, кивает головой на вагоны — садись, дескать. Мавра взяла котомку, думала, немец поможет сесть, а тот за корзинку да на паровоз. Ой, ба-тюшки! Мавра его за штанину — ты хоть сандалии-то отдай! А он взбирается все выше, ногой отбивается. Свои с будки хохочут, ташат его за руки, а Мавра дергает назад, подняла крик. Немец попался хилый, из тех, которых в конце войны сюда пригнали. Ну, и стянула она с него штаны. Ремень треснул, что ли...

Григорий расхохотался. Отец, обрадовавшись, что утешил сына, тоже засмеялся, вытирая ладонью слезы на глазах.

— Теперь оно и смешно, — продолжал он, — а тогда... Сколько этого фашистского сброда топталось по нашей земле! И как только не издевались над людьми! Парней и девушек, как скотину, гнали в свои края. Слезы, плач, стон по всему селу. Ну, бывало, откупались телком или свинойей. Приведет — и избавится от горя! Ох-хо!

Старик начал кряхтеть, переобуваться: слышно было, как скрипнуло натягиваемое на ногу голенище.

— Да что там говорить... Через Ужок вот перейти в Овруч, и то было не просто. В базарный день обязательно кто-нибудь из них, в мышиных мундирах, станет у кладки, как на границе, — либо давай яйца, либо возвращайся обратно. Наберет полон ранец яичек, тогда и уходит с «поста». Все это и приучило. Это одно. А другое то, что и у нас еще встречаются нечестные люди. После войны да разрухи во всем чувствуется недостача, так людишки и рады погреть на этом руки. Так вот оно и получается: как только где-нибудь что-нибудь не так, сразу же и подмажет. А руки не у всех чистые, пристаёт... А ты удивляешься.

— Гнать! В три шеи гнать отовсюду! — снова разгорячился Григорий. — У кого грязные руки — у того и душа черная. Сегодня он берет взятку за бидоны, а завтра и не такое от него можно ожидать. Чесотка!

Григорий поднялся и стал торопливо расхаживать, не переставая возмущаться.

— Горячий ты, Гриша! Тебе сразу — руби, ломай! Думаешь, это так просто — пошел, да и выгнал. Кого? Ты спроси у Самойлы, кому он дал, — думаешь, допросишься? Как бы не так! Дал-то он, может, и не пять, а всего три килограмма, а на том, что осталось, себе руки погрел. А когда кто берет, то, думаешь, так прямо и скажет — давай. Все обиняками, намеками, пока не вытащит. Чтобы чесотку вывести, окуривать нужно хорошенько...

После этой поездки Григория Трощука долго не трогали. То Василий Демьянович куда-то ездил, то к нему приезжал кто-то из области, то из

района. А Григорий все сидел без дела. Одиноким, углубившийся в свои размышления, ходил он по двору, сидел за домом, слушал радио. Докция уходила из дому с самого утра, Дмитрик тоже почти целыми днями был в школе. Только Кудлай неотлучно слонялся за хозяином.

Иногда Григорий заходил днем в колхозную контору. Но там он чувствовал себя еще хуже. Каждый был занят своим делом, лишь он один от нечего делать сидел на скамье возле висячего телефона, лишний, никому не нужный. Иногда и вмешается в чужой разговор, ему не отвечают, будто бы и не заметили, будто бы и не услышали.

Только на заседаниях правления колхоза чувствовал он себя свободно и непринужденно. Какой бы отрасли хозяйства разговор ни касался, он все помнил: где что было до войны, сколько чего сеяли, какие урожаи собирали. Тут и не нужно было о себе напоминать. Частенько Василий Демьянович обращался к нему с вопросом то о том, то о другом. И Григорий ходил на каждое заседание. А сейчас, как назло, давненько и заседаний не было.

Как-то в магазине, куда Трошук зашел купить сигарет, встретился он с Семеном Михайловичем Ищуком. Григорий узнавал уже по голосу и его. Присели на доска, нагретых солнцем, у открытого рундука амбара, в котором теперь и был расположен магазин. Закурили, разговорились. Оказалось, что Ишук был ранен под Коломыей осколком мины в грудь; очень долго лечился, но окончательно вылечиться так и не удалось. Поэтому пришлось оставить школу, в которой он учительствовал.

— Полгода томился. Горе тому волу, которого даже овца бодает. Вот так и мне было! Куда ни пойду, к кому ни ткнусь — все не то. А домой вернусь — хата холодная, неприветливая...

— А что же тогда мне говорить? — невольно вырвалось у Трошуга. — Ведь... Ведь...

— У вас, Григорий Сергеевич, жена... Таких мало!

Сказал и вздохнул, чего-то не договаривая. (Наверно, о размолвке с женой — до Григория уже доходили слухи об этом.) Закурил новую папиросу. Затянулся глубоко.

— Вот я и покинул родное село... О вас я думал. И не раз. Мы уже говорили с Василием Демьяновичем. Сколько работы в колхозе, а вот... — Не подобрав подходящего слова, Семен Михайлович заговорил о другом. — Вы сегодня будете на правлении? На зиму нужно где-то определять молодняк, а помещения нет.

Из магазина послышался голос. Ишук откликнулся, поднялся и, не прощаясь, ушел. А Григорий еще немного посидел на солнце один, чувствуя подступающую неприязнь к слабости этого человека. Откуда и почему возникло это чувство, он и сам не понимал, вместе с тем где-то в глубине души у него теплилось и смутное чувство жалости к Семену Михайловичу.

Снова встретились они в тот же день на заседании правления. То ли случайно так вышло, то ли Семен Михайлович нарочно выбрал себе место поближе к Григорию, но они оказались бок о бок на стульях, стоявших между диваном и печкой. На диване сидели бригадир плотников Черняк, звеньевая — комсомольский секретарь Оксана Полишук, бухгалтер Горкун. У самого стола слышался голос Самойлы Кидя. На кованом железном ящике, который служил председателю сейфом, как всегда расположился старый Коркушко. Всех их Григорий по разным приметам узнал сразу же, как только они вошли в комнату. Мазуренко дышал тяжело, говорил с одышкой, часто останавливался. Не курили. Ищуку это было не по душе. Он то и дело шарил по карманам, тарахтел спичками, вздыхал.

Речь шла о восстановлении шлакобетонного телятника, разрушенного во время войны. Это было единственное помещение, в котором можно

было разместить молодняк. Нужно было только добыть где-нибудь бетон, чтобы отремонтировать стены. Мазуренко, Горкун, Черняк спорили, прикидывали, сколько его необходимо. Самый старший из присутствовавших на заседании, бригадир Михай Свиридович Коркушко, устав за день, видимо, дремал в углу на сейфе — оттуда доносилось ровное, спокойное дыхание человека, которому уже было не до этих споров. А Самойло Кидь все посмеивался: ну и проблему нашли, спорят, шесть или восемь тонн цемента нужно.

Самойло не был членом правления, однако считал, что без него ни одно заседание не состоится, и потому являлся постоянно. Ни Мазуренко, ни кто-либо другой никогда его мнением не интересовались, но это его не обижало, он во все вмешивался, высказывал пустые советы, неуместные предположения. Но члены правления не обращали на него никакого внимания, продолжали свою работу. А Кидь сидел и шипел, как гусак:

— Да что там с-считать!.. ха-ха! Мешок пшеницы туда — полторы тонны цемента обратно. Вот вам и все расчеты. А как же вы думали?

Григория в жар бросило от этих слов Самойлы. Семен Михайлович тоже шаркнул ногой по ковру, кашлянул.

— Щедр ты на отцовы деньги!

Кидь только усмехнулся:

— Ха! В лес не поедешь, так и на печке замерзнешь!

Ясно, почему Мазуренко так относился к Самойле Кидю, сторонился его. Вон ведь каков этот Кидь!

— Товарищи, поручим мы это дело Трощуку Григорию Сергеевичу! — тяжело дыша, заговорил Василий Демьянович, не обращая внимания на слова Самойлы. — Пускай он едет за шлаком, за бетоном. Может, ты сам, Сергеич, и обмозгуешь, сколько чего нужно? Тебе же это все равно, что семечки грызть. С Ольгой пойдете на место, измерите все.

Ишук подтолкнул Григория, будто Григорий не слышал председателя. И в этом толчке было что-то такое искреннее, дружеское, радостное и сочувственное, что Григорий сразу даже не подумал, кто же это такая Ольга. И только немного опомнившись от неожиданности, вспомнил девушку, которая работала в конторе рассыльной.

Когда-то это было так просто — пойти и измерить помещение, прикинуть, чего и сколько нужно, а теперь... Без посторонней помощи вряд ли дойти до телятника, хоть он и знает, где тот расположен: сам ведь когда-то строил. Дмитрик помог бы пройти, да он в школе, а у Докии и своих хлопот полон рот. А как он пойдет с Ольгой, ведь он совсем не знает эту девушку! Но он обрадовался: ведь это же работа! Он согласен, конечно, согласен! Поработает тут, съездит в Овруч. Начнет работу немедленно, завтра же, если девушку пришлют с утра.

Возвратившись домой, Григорий ничего не сказал жене. У самого душа была не на месте. Не поторопился ли он, справится ли с поручением?

Утром нетерпеливо ждал, пока Докия и Дмитрик уйдут из дому, чтобы поскорее направиться самому по делу.

С Ольгой они встретились в конторе. Девушка подошла, коснулась рукой его локтя.

— Здравствуйте, дядя Гриша! А я уже думаю: придете вы или нет?

По голосу, звучащему ласково и внимательно, понял — хорошая, чуткая девушка. Чья же это такая?

— Оля! — позвал Алексей Свиридович Горкун. — Может, ты успеешь еще свежей водички принести? Что-то пить захотелось. Садитесь, Григорий Сергеевич. Только не из нашего колодца неся, слышишь, Оля? Сходи к кринице Пивненчихи.

— Я сейчас, — шепнула Ольга. — Я мигом. Подождите.



И верно, не успел Григорий с бухгалтером закурить, как она уже появилась в дверях, запыхавшаяся, с ведром. Набрала кружку воды, сплоснула, побрызгала пол, а затем подала Алексею Свиридовичу.

— Пейте на здоровье! Может, и вам дать, дядя Гриша?

Когда шли к телятнику, Ольга заботливо предупреждала обо всем, вела за локоть чуть не обеими руками, даже идти было неудобно, обводила вокруг малейших ямок. А когда пришли, стала против Григория Сергеевича, не таясь, вздохнула горько, словно поперхнулась слезой. Ему и самому не по себе. Чтобы преодолеть неловкость, начал расспрашивать, что осталось от телятника. Ольга рассказывала сбивчиво.

Старый шлакобетон не поддавался ни дождям, ни ветрам. Хоть и без крыши, хоть и под открытым небом, стены были такими, что хоть сегодня укладывать на них стропила, возводить крышу, лишь кое-где в стенах трещины и разрушения. Григорий попросил Ольгу подвести его поближе к сараю. Вскрикивая, прячась за его спиной от колючек, она засмеялась:

— Вот это чаша так чаша! Слышите, дядя Гриша, тут бурьян выше меня! О-о, а репейников сколько пристало!

Она отдираала их со своей одежды, с его кителя, щебетала, как ласточка.

— Что ж мы тут делать будем?

— А вот попробуем, — ответил Григорий и прислонился к стене плечом, начал ощупывать ее рукой, ударять ногами.

Ольга осталась на месте, а он постепенно шел и шел вдоль стены, потом зашел в середину сарая, по-своему, ощупью, обследовал все и снова вышел на улицу, весь в пыли, в паутине, даже сапоги у него были в глине и пыли.

— Ай-яй-яй! Дядя Гриша, вы только гляньте на себя! Как трубочист! Подождите, я вас отряхну.

— Потом, потом, — отвел он руку Ольги. — Все сразу уж... А ну-ка, возьми у меня в кармане метр и измерь, сколько там стены обрушено.

Слыша, как Ольга идет, как наклоняется, как старательно измеряет стены, Григорий ободряюще улыбнулся ей вслед. Больше всего он боялся, что не сможет представить себе, каков телятник после разрухи, какой ремонт необходим. Но это опасение уже прошло. Все, что ему нужно было, он видел. Да, да, видел! Другого слова не подберешь. Еще пока стоял в стороне, это было трудно. Но как только прикоснулся к шершавой шлакобетонной стене, в памяти сразу же возникло все строение, каким оно было до войны, — крепкое, большое, серое. Как он тогда убивался, что приходится вместо железа или черепицы покрывать телятник простой соломой. А теперь, говорят, уже много вырабатывается шифера. Может, удастся раздобыть. Перед ним отчетливо вырисовывалась новая постройка — белая, капитальная, с крышей, которая будет видна даже из-за Черного яра.

— Ну, Оля, записывай, что ты там намерила.

Они почти полдня провели у телятника. Ольга записывала в перегнутую пополам ученическую тетрадку цифры, которые Григорий Сергеевич диктовал ей.

Со смешанным чувством — сожаления, удивления и беспокойства — смотрела Ольга на Григория Сергеевича. Он стоял по колено в бурьяне, в кителе с расстегнутым воротником, в зеленой фуражке, с которой свисали паутина и желтая солома. Над темными стеклами сосредоточенно нахмурены брови. Какой же памятью нужно обладать, чтобы вот так быстро умножать столько цифр. А что, если дядя Гриша ошибется?

Но чем дальше они были у телятника, тем больше девушка убеждалась, что все увиденное и пересказанное ею преобразуется в уме дяди Гриши. Она видит только разрушенное, а он сквозь свои темные очки

видит уже новое, уже отстроенное. Все цифры, которые становились в ряд со словами дерево, цемент, известь, появлялись после того, как дядя Гриша мысленно уже увидел, каким будет выглядеть отремонтированный телятник!

Она стояла возле Григория Сергеевича как зачарованная. Синие глаза, светившиеся из-под длинных ресниц, внимательно следили за каждым его движением.

До войны у жителей Песчанки были прочные связи с местным рудоуправлением, расположенным в Овруче. Григорий решил съездить туда, к старым знакомым. Правда, из бывших руководителей он не застал никого, но ни в цементе, ни в шлаке ему не отказали. Проходя через двор к конторе, Ольга увидела в куче металлолома старые вагонетки, несколько годных рельсов и сказала об этом Григорию. В рудоуправлении согласились отдать их, а он пообещал взамен привезти из села всякого старого железа.

Когда выходили из проходной рудоуправления, Ольга едва поспевала за дядей Гришей. Он шагал широко, довольный. Щурясь и смеясь, он прижал руку Ольги локтем.

— Девушка ты моя, конопляночка! Да знаешь ли ты, что мы тут выпросили с тобой? Рельсы, вагонетки... Это же дороги на ферму. Я о них еще до войны мечтал.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Испытание

— Дядя Гриша! Дядя Гриша!

Ольга стояла на улице и стучала железной щеколдой калитки; поднимаясь на цыпочки, она заглядывала во двор.

Трошук, босой, в белой неподпоясанной рубахе, вышел из-за дома. Ветер ворошил его густые волосы.

— Дядя Гриша, вас Василий Демьянович кличут!

— Да заходи, чего ты кричишь? Да ты не бойся, он не укусит. А ну-ка, Кудлай, пошел вон! Разлегся здесь!

Григорий босой ногой отодвинул ленивого пса с дороги, пропустил девушку в комнату. Ольга не знала, зачем зовут Григория Сергеевича. Ей сказали — она и побежала. Может, помочь одеться? О, какой же быстрый дядя Гриша! Уже и китель надел и обулся.

— Что вы ищете? Фуражку? Да вот она! — Девушка подбежала к постели, взяла фуражку. — Вам бы и причесаться не мешало. А где расческа? А ну, садитесь, дядя Гриша! Ох, и во-олосы у вас! — Вздохнула. — У нашего татка тоже были мягкие, не запутывались.

Когда они пришли к конторе, Василий Демьянович прохаживался в садике, накинув на плечи легкий пиджак.

— Сюда, сюда, Григорий Сергеевич, — позвал он.

Ольга по ступенькам быстро поднялась на крыльцо конторы, а Григорий пошел на голос председателя. Под ногами шелестело. Начинался листопад. Неяркое солнце приятно грело. От бревен, сложенных под старым плетнем, доносился терпкий дух нагретой дубовой коры. Сколько они лежат здесь, эти бревна? Еще до войны собирали их для пристройки к конторе, да так вот и лежат они здесь до сих пор.

Мазуренко сел на бревно, Григорий примостился рядом с ним.

— А что, Григорий Сергеевич, — без лишних слов приступил к главному Мазуренко, — если бы тебе пойти в заместители председателя колхоза, вернуться на старую работу? А?

Это было так неожиданно, что Григорий резко повернулся к Василию Демьяновичу — не мог понять сразу, шутит тот или говорит всерьез.

— Вот так, думали-гадали мы,— продолжал председатель,— сюда нужен человек сообразительный, такой, который и сам не спал бы ни днем, ни ночью и другим не давал бы греть боками печь. Как ты смотришь на это?

У Трощука пересохло во рту. Понимает ли Василий Демьянович, что говорит? Кто же это доверит ему такое дело, которое требует прежде всего зоркого хозяйского глаза?

Он постарался совладать с собой, боялся показаться мальчишкой.

— О-ох, Василий Демьянович! — еле собравшись с силами, чтобы дохнуть полной грудью, сказал он. — Скажете такое! — Сквозь его слова прорывался возбужденный смех. — Мне возвратиться на прежнюю работу? Это вы правду говорите, Василий Демьянович?

Голос Григория сорвался.

— Ну, чего ты так разволновался? — Мазуренко по-отечески придвинулся к нему поближе. — Зачем я шутить буду? Сидели мы вчера с Ищуком, взвесили все. И то, что тебе будет трудно. И что не все сразу гладко пойдет. И что найдутся завистники, которые, может, станут упрекать за поводыря. Ведь нужен тебе будет...

Заметив, как по лицу Григория пробежала тень, Василий Демьянович не повторил слова «поводырь», да и пожалел, что перед этим обмолвился.

— Кого только мы не брали на эту работу! Один и мог бы работать, да совести нет. У другого порядочности хватает, так не знает, что делать, за ним самим глаз нужен. Ну, не сразу... походишь, привыкнешь, а, Сергеич?

Доверительный тон, которым говорил Мазуренко, взволновал Трощука. Значит, ему доверяют?! А сам он верит себе или нет? Нужно было бы побыть наедине хоть несколько минут и трезво все взвесить. Но разве может он отказать от того, о чем так много мечтал?

— Так вы мне доверяете, Василий Демьянович?!

К Григорию возвратилось самообладание. Чего же он мешкает? Сколько мечтал, сколько ожидал, надеялся, а когда счастье само пришло в руки, у него не хватает смелости согласиться.

Откуда-то издалека, со стороны станции, в село донесся протяжный гудок паровоза. Григорий откинул голову назад, будто прислушивался к этому далекому крику, ожидая, что еще скажет Мазуренко.

А председатель колхоза молча смотрел на Григория. В лице старика смешались сочувствие и неуверенность, которую он подавлял в себе. Перед ним Грицько Трощук, которого он знает с детства, — искренний, прямой. Все его мысли и думы как на ладони. Слепой, во многом беспомощный, он уже увлекся, он весь горит, только сказать не решается, что и сам к тому стремится. Нет, этот не будет ни у кого занимать напористости и душой не покривит... А что слепой...

— Поговорим еще на собрании. А ты, Григорий Сергеевич, тем временем еще больше познакомься с хозяйством, вникни во все. Да подумай, с кем тебе лучше было бы ходить. Может, с Ольгой? Хорошая девочка, послушная, старательная. И комсомолка. Поговори с ней. Ну, так как?

Кряхтя, Василий Демьянович поднялся.

Задышавшись от волнения, вскочил и Григорий.

— Что я вам скажу, Василий Демьянович? Я же вижу! Не глазами, так душой, вижу все, что нужно делать!

Василий Демьянович и без слов видел, что с Трощуком творится. Притронулся к локтю, извинился: ему нужно было ехать к молотилке. Ну, а если Григорий Сергеевич согласен, пускай приходит вечером, тогда обо всем договорятся, обдумают, с чего начинать.

Григорий направился домой. Шел широким шагом, размахивая руками, снова чувствуя, что ему хочется петь. Григорий почти бежал по улице — ему хотелось поскорее поделиться с Докией захлестнувшей его радостью. Он и не подозревал, что привлекает к себе внимание всех, кому попался на глаза.

— Пьяный, истинный бог, пьяный! — раскрыла рот соседка Мавра, увидев, как бежит Трошук. — Встречай, Докия! Ты еще не видела его таким? Ах, чтоб ты пропал! Пьяный!

Соседка стояла у своего дома в широкой юбке, вытирая фартуком руки. Она только что мяла картофель для поросенка и покраснелась, вспотела. Сбившийся платок придавал ей боевой вид.

— Антон, слышишь, Докинн Грицько пьет ведь! И как ему только не совестно — и без того жене обуза...

— А что же он, не человек, что ли? — послышался грубый голос Антона. — Зачерствела душа, вот и размочил малость.

Приближаясь к своим воротам, Григорий волновался еще больше. Вот он сейчас поразит Докию. Как обрадуется жена! Он даже усмехнулся, открывая калитку.

Докия в это время убирала около крыльца. Чем-то ударила о землю, что-то хрустнуло, переломилось. На крыльце тонко звякнула скобка пустого ведра, стоявшего всегда в углу.

— А я и не услышала, как ты вошел, — обратилась к нему Докия, и у нее снова затрещало что-то в руках сырое. — Где это ты был?

— Тыкву разбила? Кашу будешь варить? — весело спросил Григорий и сразу же ответил на ее вопрос: — Ходил к Мазуренко. Ох, если б ты только знала...

Докия села на ступеньки крыльца. В ее руках, как мелкая рыбка в сетях, запутались плоские белые семечки тыквы. Докия побледнела.

— Гриша... Ты так говоришь, словно бы видишь?

Поднялась, хотела еще о чем-то спросить, подойти к нему, заглянуть под стекла.

Но Григорию от этих слов сразу же стало душно. Закрыв глаза, опустил руки. Прошел мимо жены в дом и застыл на скамейке, возле кадки с водой.

Зачем согласился с предложением Мазуренко? О чем только он думал? Родная жена и та... А что же говорить о других? Ведь их так много. И со всеми нужно будет иметь дело, каждому нужно будет определить его место, дать работу, проверить, как эта работа выполнена. Он должен держать в своих руках все нити хозяйства. И он посмел согласиться!

— Что с тобой, Гриша? — услышал он будто издали испуганный голос жены, которая вошла в избу.

Григорий не сразу откликнулся на ее голос. Ему сейчас было нужно не сочувствие, — поддержка ему нужна, верная рука, уверенность в нем, прочная, твердая уверенность в том, что он справится со своей работой. А в голосе жены, как всегда, слышна дрожь.

— Ничего, ничего, — тихо пробормотал он, слабо вздохнув.

Сердце у него заныло. Услышать бы ему в эту минуту жизнерадостный смех Фомина, почувствовать около себя Марию Павловну. Хотя бы на миг. Он так живо представил себе госпитальную палату, казалось, даже йодом запахло, послышалась походка Марии Павловны, шуршание ее халата, почудился ее ласковый голос: «Так что же это, мы уже и духом упали? Что это с вами, товарищ старший лейтенант? Я вас не узнаю...»

Так сказать могла только она. И Григорию стало неловко от минутной слабости, хотя он понимал, что на его месте вряд ли кто-нибудь смог бы не заколебаться. Ведь это же не шутка!

«Не побывав в бою, признать себя побежденным?» — Трошuku слышалось, что эти слова одновременно произнесли и Фомин и Мария

Павловна. На душе у него стало легче, будто он и на самом деле поговорил с друзьями.

И сразу же откуда-то из глубины души начала подниматься злоба. Он уже спорил неизвестно с кем. Так что же, что он не видит, разве это лишает его возможности работать? Будут, конечно, и такие, которые дадут почувствовать, что он слепой... Так неужели же нужно уступать им, бояться их, малодушничать? Неужели он не может постоять за себя?..

— Дай, пожалуйста, закурить, — обратился он к жене.

Во время ужина Григорий рассказал жене и сыну, зачем вызывал его Мазуренко. Услышал, как звякнула ложка, ударившись о тарелку. Докия перестала есть, вскрикнула: «Правда?!»

В ее голосе звучали тревога и радость. Она требовала, чтобы он рассказал обо всех подробностях его беседы с председателем колхоза, то и дело переспрашивала, правду ли говорит Григорий. Она успокоилась только тогда, когда по радио начали передавать последние известия. Так повелось в доме. В эти полчаса в доме устанавливалась тишина — отец слушал, что происходит в мире. Дмитрик включил радио погромнее, поцеловал отца и лег спать. А Докия, убирая в комнате, все посматривала на мужа, не скрывая своей радости.

Почти всю ночь Григорий не смыкал глаз. На душе у него было легко и грустно. Жена и сын спят, не зная, о чем он сейчас думает, какая музыка звучит в его душе. Ночные концерты Григорий слушал постоянно. А теперь придется отвыкать от этого: рабочий день заместителя председателя начинается в четыре часа утра, одновременно с доярками, а кончается поздно вечером, когда из конторы пойдут на отдых бригадиры, члены правления. Но это не только не пугало, а, наоборот, влекло Григория. Он был готов сейчас вот, немедленно, окунуться в дело, чтобы колхозники убедились, что ему можно доверить работу.

Но до собрания еще много времени. Покуда нужно постепенно — бригада за бригадой, ферма за фермой — обойти, обследовать все, поговорить с людьми, взвесить все вместе с ними. Вспомнил, как, проходя мимо мастерской, услышал чью-то ругань:

— Вы что там, одурели, что ли? Что ни день, то и колесо, то и колесо... Если не обод, так спицу ломаете. А ясеня нет. Что же я, осину строгать должен, что ли?

Осину на спицы? Дожили! Но ведь невдалеке от Черного яра, на седьмой просеке, такие замечательные ясени растут! Неужели некому позаботиться об этом?..

Осень в этом году стояла теплая, сухая. На полях вокруг села щетинились пажити, выросли высокие скирды соломы. Колхоз уже закончил сдачу хлеба государству, но над Черным яром изо дня в день гудела молотилка, и ее басовый гул был слышен далеко в лесу. Женский говорок, выкрики мужчин, работавших у машины, были слышны далеко, в другом конце села. Оттуда, с гумна, на проселочную дорогу, пролегавшую вдоль глубоких обрывов, одна за другой выезжали машины, нагруженные зерном.

Рано утром в сопровождении Ольги Григорий пришел на гумно. Вчера вечером из МТС пришло распоряжение перебросить молотилку в соседний колхоз «Заря». Но разве можно было с этим согласиться? У самих еще столько ржи необмолоченной.

Михей Свиридович Коркушко пришел на гумно заспанный, сердитый. Старик был в фуфайке: у него болела поясница, ныли ноги — к дождю, верно. Поздоровавшись, он присел рядом с Ольгой, склонил голову.

Взошло солнце, озарило первыми лучами скирды соломы — и солома вспыхнула, засверкала, разгораясь все больше и больше. Ольга словно бы впервые попала на ток — сидела молча и любовалась.

Возле трактора стучал ключами Никодим Бородка, который подменял заболевшего тракториста. Лицо у него было озабоченное и уже испачканное мазутом. К гумну собирались тепло одетые мужчины и женщины — утро выдалось холодное.

Вскоре на току заговорил трактор. Сначала он прокашливался, чихал, а потом зарокотал призывно, во весь голос, будто удивляясь, почему это до сих пор не откликается молотилка.

Но вот воздух пронзил резкий свист. Все вокруг ожило, пришло в движение. Все заняли свои места у молотилки: женщины и девушки становились к соломе, мужчины — к барабану, к веялке и сортировкам. Два старика в широких холщовых штанах, утопая в мягкой соломе, взобрались на скирд и стояли там, озаренные солнцем, как старинные богатыри, в широкополых соломенных шляпах. Кто-то надел ремень на шкив, и молотилка резко загудела.

Машина словно бы поперхнулась первым снопом, затем сыпанула в утреннее небо серое облако пыли и загудела ровно и деловито.

Рабочий день начался.

Не успели обмолотить и трех копен, как на опушке леса показалась чья-то машина. За яром свернув с дороги, она прямо по стерне направилась к молотилке.

— Едут, едут, дорогие гостеньки, — доложил старый бригадир, подходя к Григорию.

Никодим Бородка, стараясь перекричать гул машин, спросил:

— Ну так как же? Будем отдавать машину?

— А то как же? Разве не отдашь? — ответил Михай Свиридович. — С руками вырвут. Разве у них болит, что у нас хлеб остается недомолоченным? Свою молотилку угробили, а теперь и нашу возьмут добывать.

— Дядя Михай! Михай Свиридович! — закричала девушка, работавшая у сортировки. — Давайте мешки! Слышите, мешки давайте!

Невдалеке от Григория хлопнула дверка автомашины.

— Кто здесь бригадир? — раздался незнакомый властный голос. — Вы почему начали молотить? Разве не знаете, какой был приказ?

Приезшему никто не ответил. Михай Свиридович рад был и вовсе не вмешиваться в это дело. А Трощуку неудобно было сразу вступать в разговор, нужно было прислушаться, что к чему, выждать.

— Кто здесь бригадир, я вас спрашиваю?!

— Да вроде бы я, — неохотно ответил Михай Свиридович, косясь на Григория.

— Мне нужен «не вроде бы», а настоящий бригадир!

— Да вроде бы я, — повторил Коркушко. — Я же говорю — я! Ну так что из того?

Григорий представил себе, что старый бригадир, наверное, стоит, расставив ноги, в своих старых, стертых на стерне порыжевших сапогах. И, не обращая внимания на того, кто так заносчиво покрикивает на него, деловито сворачивает огромную сигарку — в палец толщиной. Полы ватника разошлись, старая кепка съехала набок, на ухо. Знакомая картина: кто кого выведет из равновесия, кто кому больше допечет — начальство со своей чванливостью или подчиненный со своим напускным спокойствием, от которого все внутри клокочет.

— Так что же ты дурака валяешь! — крикнул приезжай. — «Вроде бы, вроде бы...» Так бы сразу и сказал, что ты бригадир.

— Ум-гу! — Не вынимая сигарки изо рта, сосредоточившись на своем хлопотном деле, Михай Свиридович кивнул головой. Наконец он заговорил: — Ведь оно же, товарищ Перебендя, как получается? Кому нужно и кому не нужно, все спрашивают бригадира. А бригадир, возможно, в это время сурьезным делом занят.

— Какое там к черту дело! — раздраженно выкрикнул Перебендя. — Цigarка?

— Э-э-э, — хитро улыбнулся в бороду Коркушко, — cigarка тоже важное дело, особенно ежели сворачивают ее из остатков табака. Видите? Пустой кисет!

Григорий, улыбаясь, с увлечением следил за перепалкой между механиком и бригадиром. Ясно, Михай Свиридович сейчас размахивает пустым кисетом, будто для него нет ничего более важного, чем курево. Ну, а молотилка тем временем, конечно же, действует — работа идет. Немалое искусство — скрывать от людей свои мысли, свое настроение, прикидываться равнодушным ко всему. Вот бы Григорию уметь так вести себя!

Перебендя окончательно вышел из себя:

— Что ты трясешь здесь пылью, старая перечница?! Я тебе о молотилке, а ты мне про кисет... Почему не выполняешь приказ эмтеэс? Почему не переброешь молотилку в «Зарю»?!

Михей Свиридович все еще молчал, продолжая испытывать нервы Перебенди. Потом Григорий услышал, как он ухмыльнулся:

— А то у меня своих забот мало, чтобы я еще думал о «Заре»! Они, видно, еще и глаз не продрали, а я им подай молотилку на блюбочке! Вы, товарищ Перебендя, может, прикажете втащить машину прямо на печку зарянскому председателю?

Вокруг Перебенди и Коркушко уже собрались люди. Быть может, шутка старика была уж не столь и едкой, но все, кто мог подойти к ним, когда молотилка работала полным ходом, — шоферы, машинист, водовоз, пожарник, — рассмеялись. Такой повод посмеяться подвернется не часто. А Перебендя раскраснелся, засверкал глазами, запыхтел, будто несколько километров пробежал без передышки.

— А ну, хватит! Открыли цирк! Прекращай молотьбу! Бородка, слышишь? Прекращай!

Смех сразу же оборвался. Все повернулись к Никодиму. Тот стоял невдалеке от трактора, содрогавшегося всем своим черным корпусом. Не принимая участия в споре, бригадир растерянно посматривал то на Коркушко, то на Перебендю, то на Трощука.

— Остановит, ей-же-ей, остановит! — ужаснулась Ольга, подталкивая Григория Сергеевича к спорящим.

Но Михай Свиридович не из тех, которые сразу же сдаются.

— Но, но, я тебе остановлю, ты гляди мне! — ощерился старик на Бородку, направившегося было к трактору. — Кто на гумне старший? Кто имеет право тут распоряжаться через мою, бригадирскую, голову?

Перебендя взбесился.

— Останавливай! Оштрафую за невыполнение приказа! Немедленно останавливай!

Григорий поспешил к ним, сожалея, что не вмешался раньше. Но тут старик Коркушко со зла отколол такое, что на гумне снова грохнул смех.

— Вот тебе штраф! — Приседая, он протянул к самому носу Перебенди кукиш. Его маленькие серые глазки так и пронизывали механика.

Послышались выкрики, еще более громкий смех. Захотали зерновозы, веяльщики, барабанщики. Весело ахнула пустым барабаном молотилка, и широкий ремень от трактора захлопал еще быстрее, еще веселее.

Разозленный Перебендя, широко открыв глаза, стиснув кулаки, пошел прямо на Михея Свиридовича. Но вдруг перед ним появился Григорий Трощук, за спиной которого, ожидая неприятности, пряталась Ольга. Спокойный вид нового человека поразил механика.

Перебендя остановился.

— Вот! Вот! Вот покричи-ка теперь! — злорадно поддал жару Коркушко, заметив, какое впечатление произвело на Перебендю появление Трощука.

— Вы что, молотьбу сорвать решили? — вскричал Перебендя, уже слышавший, что в Песчанке заместителем председателя колхоза работает слепой.

— Пойдите! Пойдите! — холодно оборвал механика Григорий. — Где сорвать? У нас сорвать? Это же вы пожелали вдруг перебросить нашу молотилку в «Зарю». А тут что? Обе скирды раскрыты. Собирается дождь. Что ж по-вашему — пускай гибнет хлеб?

Михей Свиридович, еще не остывший после стычки, как петух после боя, метался за спиной разозленного механика, трясая своей кудей бородой. Колхозники, не прерывая работы, следили, что же будет дальше. А молотилка, окутавшись пылью, гудела все сильнее и сильнее.

— В «Заре» ведь была машина? — доказывал Трощук. — Почему же мы должны уступать им свою?

Он вообще не понимал, как это можно прервать молотьбу в одном колхозе, чтобы помочь другому. Почему песчанцы должны гнить свой хлеб?

— Да понимаете ли вы, что в «Заре» машина вышла из строя?

— Так вы отремонтируйте!

— Для этого нужно много времени. Вы что, смеетесь?

За эти несколько минут Григорий понял уже, кто такой Перебендя. Мелочной, суетливый, любящий без толку покричать, он из кожи лез вон, чтобы защитить честь мундира. Но все было против него.

— Смеяться тут нечему. Если бы у нас произошла авария, мы бы никого не стали беспокоить, сами бы отремонтировали. Ведь и эту молотилку мы тоже своими силами привели в порядок. Потратили деньги на запасные части, на кузнечные работы, а теперь должны отдать машину за здорово живешь? Не дадим до тех пор, пока не закончим молотить свсе. А то получается: и молотилку ремонтировали для «Зари» и хлеб из-за нее гнить должны.

Наступление было отражено. Перебендя бросился к машине. Вслед ему полетели злые шутки, смех. А Никодим Бородка, предчувствуя, что все это придется расхлебывать не кому иному, как ему, начал зло скрести затылок. Из-под козырька, опустившегося ему на глаза, он тревожно поглядывал на Трощука.

— Давай, давай! Не мешкай, — развеселился Михей Свиридович. — Подбавь газку, разве не слышишь — барабан гложет?.. — А затем подмигнул Ольге так, что по всему его лицу разошлись морщины. — Сам бы я с ним, с этим Перебендей, не справился! Честное слово, не справился бы!

### Надежда

Докия в эти дни сбилась с ног. В колхозе осенью всегда много работы. Но раньше просто было — пойдешь себе на работу, прихватив краюшку хлеба, и не думаешь ни о чем! Пока жива была бабушка, сынишке покушать даст, а Грицько весь день в поле, если и не пообедаст, то пополачивает. А нынче так уж не обойдешься: где бы ни был Григорий, чтобы он ни делал, а поесть Ольга приводит его домой.

Много забот было у Докии: трепала ли лен, приходилось ли рыть свеклу, жала ли пшеницу на перелесках или убирала кукурузу, давно перестоявшую, всюду она думала об одном и том же: как там ее Григорий? Теперь она стала какой-то слишком уж впечатлительной. О чем бы ни думала, видит обоих — и мужа и девчонку. Вот Ольга. Худенькая,



в черной безрукавке, в клетчатой юбке, простом сером платочке на голове. Идет, поддерживая дядю Гришу под локоть. Тот рядом с ней великан, сильный, косая сажень в плечах, мускулы у него налитые, будто железные. Лицо округлилось, посвежело, щеки загорели, темные стекла постреливают против солнца короткими загадочными лучиками.

Вот идут они по узенькой кривой улочке, огороженной почерневшими плетнями, идут по хорошо знакомой тропинке. Но девочка нет-нет да и поддержит его локоть, предупредит: «Дядя Гриша, наклонитесь—ветка».

И Докия мысленно всегда вместе с ними. Она видит, как они перебираются через перелаз у Пивненчихи, чтобы пройти напрямик мимо колхозной риги. Вот они миновали старый магазин. И вдруг остановились. Григорий о чем-то говорит Ольге. Она берет у него деньги, бежит в магазин (за папиросами, наверное) и вскоре возвращается обратно.

Сначала Докия волновалась — справится ли с ним эта синеглазая девчушка? А когда присмотрелась — удачно выбрал Григорий себе помощницу. Лишнего слова от Ольги не услышишь. Старшие разговаривают — она сидит молча, не вмешивается, будто ей и дела нет до чужих разговоров. А в нужный момент и напомним: «Дядя Гриша! А ведь Василий Демьянович не так говорил...»

Хорошая девушка. Послушная, умная. И неутомимая. Когда бы ни позвали, тотчас же приходит. Хорошо, что живет поблизости. Вон там, в кривом переулке, возле колодца. Если нужно, то и чуть свет встает, а если нет, то и полежит, понежится под одеялом.

Девушки начали было смеяться над ней — ни дня, мол, ни ночи не знаешь, все бегаешь да бегаешь с Трошукком. Забыла, когда и в клубе была, уж сколько картин пропустила и петь, видно, разучилась.

А она в ответ:

— Жаль мне дядю Гришу. Разве он виноват, что так вот искалечило. Кто-то же должен ходить с ним.

Подружились. Он ей никогда злого слова не скажет, а она и тем более. Так и следит, так и следит — не нужно ли чего, всем ли угодила?

Как-то Докия встретила с ее матерью у кладовой. Мать сказала, что Ольга и дома не перестает думать о своем дяде Грише. Однажды заплакала горько:

— И наш отец муку где-то принял...

Ольга была любимицей отца, с малых лет с колен его не слезала, все гребешком усы причесывала, щебетала о чем-то. Бывало, и засыпал отец от этой детской ласки, а вот война осиротила ее. Сколько лет уже прошло, а она все отца вспоминает, вздыхает, вздыхает так, что и мать, не отходя от печи, горько прослезится.

Тот день, когда Мазуренко пригласил Григория на работу, Докия, наверно, вовек на забудет.

За ужином Григорий все говорил, говорил — что он будет делать, как поднимет всех, как заставит бригадиров подтянуться.

— Сам буду вертеться, как белка в колесе, но и им не дам дремать! Они еще узнают, что за человек Григорий Трошук!

Успокоился он только ночью, когда на улицах уже ни один огонек не светил. В нижнем белье вышел на крыльцо покурить. Докия напомнила, что скоро нужно будет снова собираться в дорогу на операцию: об этом говорил письмо из Москвы.

— Ну, нет, теперь не скоро поеду! А Марии Павловне ответить нужно. — Он помолчал, кивнул головой своим мыслям, засмеялся задумчиво. — Вот если бы Фомин узнал, как его «хохол» в ход пошел!

А когда зашел в комнату, обнял ее, да так, что у нее дыхание перехватило.

И с тех пор все шло хорошо. Но вчера явился домой, словом не обмолвился и сразу же к себе в комнату. Стал у окна, будто засмотрелся на соседку Мавру, которая развешивала на плетне старые шубы, одеяла, дерюги.

Зная характер мужа, Докия молчала, хоть и тревожилась. Молча прислушиваясь, поставила тесто. Мучилась в догадках — что случилось? Что у него не так? Не слишком ли рано он радовался? Все сердце у него изболелось. Недаром говорится: где тонко — там и рвется. На свои плечи столько работы взвалил, а ведь такому, как он, кто захочет, тот палку в колесо вставит, и опомниться не успеешь.

Григорий не скоро разговорился. Недавно остановил его возле кузницы Семен Ищук. Отвел в сторону, начал расспрашивать, как идут дела. И тут же предупредил:

— Готовься к совещанию актива. Послушаем, что ты думаешь о нашем хозяйстве.

Накрыл, как петуха решетом: готовься к четвергу, к вечеру.

Эта новость не на шутку встревожила и Докию. Что же он им скажет? Сам еще не знает, да и записать ничего не может. Задумавшись, Докия привычно шла между рядов кукурузы и не заметила, как наломала полный фартук початков. Солнце уже поднялось высоко. Девушки собрались на меже, развели костер, чтобы печь картофель. Дым тяжело расстилался по стерне. А ей не с ними оставаться, домой бежать. Может, ничего и не присоветует, а хоть голос ее услышит, и то легче станет Григорию.

Выходя с кукурузного поля, споткнулась, рассыпала все початки. Стала торопливо собирать и вспомнила слова Григория: «Мало еще сеем кукурузы». Обо всем он думает! Что ни день, то все новые у него хлопоты. Сам во все вникает.

Спросили бы у Докии — переводить Григория на другое дело, полегче, — она, кажется, и минуты раздумывать бы не стала, согласилась бы. А как подумает серьезнее, понимает — в том-то и есть его спасение, что работы у него невпроворот.

До войны Григорий увлекался пчелами. Каждое утро ходил на пасеку. Теперь она снова поставила ему в саду два улья. Очень он обрадовался. Сказал: «Может, какая пчела ужалит и то польза, развлечение». А теперь и вовсе забыл о пчелах.

Как-то в Овруче Ольга увидела голубей. Распродала продукты, а по дороге домой купила пару для Григория, помнила: перед войной он любил ухаживать за ними. Покупке обрадовался Дмитрик. Он залез на голубятню, устроил там голубей. За обедом Григорий услышал воркование голубки. Подошел к Докии, вытянул голову, прислушиваясь.

— Воркотунья какая!

Тепло, ласково сказал не то о голубке, не то о ней. А теперь вот и голуби ему ни к чему: уходит из дому еще затемно, а возвращается, когда голубей уже на ночь в голубятню закрыли. Как-то в воскресенье попросил он Дмитрика, чтобы тот погонял голубей. Сидел на завалинке, прислушивался, как голуби свистят крыльями, и сам будто бы помолодел. Голубка уже устала, сесть хотела, а он чуть услышит, что она приближается, кричит сыну:

— Гоняй! Гоняй, сынок! А то обленятся! Гоняй!

А главная у него радость была радио. Ни днем, ни ночью выключать не разрешает — все слушал бы, и слушал бы, и слушал бы. Из-за этого радио ни поговорить, ни поспорить. Еще пока музыка играет, либо поют — туда-сюда, а как только начинается беседа, сразу обрывает:

— А ну-ка, Докия, давай послушаем, о чем там говорят. Дмитрик, подкрути-ка сильнее.

Теперь вот и от радио отказался. Как придет — поест или не поест — сразу же идет к себе в комнату, просит, чтобы не мешали. Однажды подсмотрела: ходит из угла в угол, шевелит губами, лоб нахмурил, думает о чем-то.

...Глупые девчата начали было отговаривать — куда, мол, в такую даль бежать собралась?.. Им разве понять? И Докия, ссыпав початки в кучу, побежала в село.

В поле повсюду люди. На опушке леска тракторы гудят. В лощине собирают тыквы. Гриша посоветовал рубить их и бросать вместе с кукурузной ботвой в силосные ямы. Докия рассмеелась. И пожалела: Григорий сразу притих, лицо болезненно дернулось.

— Видно, со стороны я и впрямь на мальчишку смахиваю. А, Докия? — И со смехом добавил: — Кабы колбасе да крылья, какая бы птица была!

Докия сидела около лампы, чинила сыну штаны. Комната была освещена желтоватым светом, по радио передавали музыку. Григорий еще что-то сказал, еще посмеялся, а потом подсел к ней, прислонился плечом к ее плечу, коснулся лбом ее лица.

— А ты уж и размахнуться мне не даешь. Я бы сейчас горы vorочал... Почувствовал, что нужен людям. Вот и увлекся. Смешно это, я понимаю, а ты...

Наклонился, поцеловал ее.

В комнату вбежал Дмитрик. Чистую рубашку всю извозил, на штанах дыра, лицо перемазано. И хотя бы поглядел на мать. Подскочил к отцу, сверкнул глазенками и застрекотал, как сорока, где был, что видел, что делал. Школьники вместе с комсомольцами собирали металлический лом. Руководила ими Оксана Полищук. Возле овина Дубенко они нашли маховик и испорченный привод от молотилки. А возле кузницы увидели тракторное колесо, присыпанное землей.

— Наш отряд собрал больше всех! У Ганны Перепелицы одна мелочь — ломаные ухваты, дырявые чугуны. Разве девчонки чего-нибудь могут! Задаются, что нашли рельсу возле птицефермы. Подумаешь! Вот ребята, если захотят...

— Вот я тебе сейчас как захочу, — встала со скамьи Докия. — Посмотри, на что ты похож? Трубочист! А ну-ка, айда мыться, а то я тебе выплюю и ухватов и рельс! Тащи корыто!

Вытащила из печи горшок, налила в корыто теплой воды и начала отмывать мальчика. А он головой крутит и все болтает, болтает, даже мыльные пузыри вздуваются на губах. Григорий, словно заметив, что Докия сердится, тоже стал поддразнивать ее, хвалить мальчишек. Посмотрела, а он, оказывается, вовсе и не шутит, сам готов с Дмитриком бежать за ломом.

— Да сядь ты, неугомонный!..

Пока сын уминал вареники, отец все говорил об этом ломе — куда да на что он пойдет. Наконец Докия прогнала сына спать: час был не ранний.

Спеша домой, Докия думала, что они и сейчас, наверное, вдвоем. Как они там хозяйничают? Поскорее бы добраться к ним.

Проходя мимо магазина, вспомнила, как когда-то давно, еще до войны, Григорий покупал ей первые туфли на высоких каблуках. Дорого они очень стоили, Докия даже испугалась. А он поддразнивал ее, все спрашивал: купить, а может, не покупать?

И когда она справилась с желанием иметь туфли (уж слишком дорого), Григорий бросил на прилавок пачку червонцев.

— Не нужно, — остановила его Докия. — Ну их к лешему, этикие деньги платить за них! Слышь, Григорий Сергеевич!..

И то, что она заставила себя отказаться, и то, что назвала его при людях по имени и отчеству, Григорию так понравилось, что он облокотился на прилавок и громко засмеялся. А продавец, перевязывая картонную коробку, сказал, что жена не имеет права вмешиваться в такие покупки — не кармана это дело, а сердца. То-то было радости! Дома, обувшись, она земли под собой не чуяла. И работала же она потом, чтобы возвратить потраченные деньги!

...Когда Докия пришла домой, Григория и Ольги уже не было. Видно, куда-то спешили: на столе остались невымытые тарелки и ложки, в другое время девушка так бы не оставила посуду.

Докия присела. Только сейчас она почувствовала, как сильно устала за день. Лень было подняться, ни до чего дотрагиваться не хотелось. Только руки на валик дивана положила, щекой на них легла и едва не уснула. Но через минутку вскочила, насыпала зерна курам, поросенка накормила. Только после этого подумала о себе — перекусила, выпила молока. Солнце скрылось за домом: дни уже стали короче, вот-вот и дожди начнутся. Хорошо, что у Григория новые сапоги, ему-то и в дождь и в ясную погоду нужно быть на хозяйстве. Хорошо бы купить где-нибудь плащ, чтобы Григорий не простудился: он бы ему очень пригодился сейчас, ведь Григорий снова собирается в Житомир. Ох, не даст он там кому следует спуска! Пообещали шифер, а не дают. Он и до войны спуску никому не давал, а теперь и тем более: нужно же доказать, что его не зря оставили заместителем.

На скорую руку убрала в комнате, накинула платочек, прикрыла дверь. За воротами встретилась с Семеном Михайловичем Ищуком.

— Здравствуйте, Евдокия Петровна! Григория Сергеевича нет дома?

— Я и сама не знаю, где он, — ответила Докия. — Он теперь все время в походах. Случилось что?

Семен Михайлович не спеша вынул из кармана сигареты, закурил, закашлялся.

— И зачем вам этим куревом давиться? — по-женски упрекнула она Ищука. — От этого ж один лишь вред... В горле у вас клокочет. Такой человек, а себя не можете одолеть.

— А вечером поздно приходит? — переводя разговор на другое, спросил Ищук.

Докия ответила, что Григорий приходит очень поздно.

— Жа-аль, а мне говорили, что он домой пошел.

— Был, правда. Я вот с поля наведалься, вижу, что и они были дома.

— Ну, ничего, мы еще встретимся, встретимся... Поговорим перед активом. У него доклад. Приходите и вы. Как там и у вас с кукурузой? Успеем убрать до дождей?

И пошел неторопливо.

За спиной что-то зашелестело. Отходя, Докия посмотрела туда и увидела, как из-за старого плетня, поросшего вербовыми листьями, выглянула соседка Мавра. В очипке, в простой холщовой рубаше с широкими рукавами. На полном ее лице были написаны и удивление и досада: никак опоздала подслушать, дошла! И какое ей дело? Сует свой нос куда нужно и куда не нужно и обязательно обо всем сплетничает.

Докия вышла из переулочка, посмотрела — ох, и далеко же в поле идти! А тут, на счастье, от кладовой, поднимая пыль, машина. Шофер сигналил — садитесь, дескать, подвезу.

Забралась в кузов, подставила лицо свежему ветру. Ветер затрепал волосы. Хорошо!

День накануне совещания актива был трудный, хлопотный, тревожный. После обеда Григорий вышел из дому, стал расхаживать по двору.

Ольга, которая зашла за ним, посмотрела вокруг и удивилась: как переменилось все кругом. Кажется, совсем недавно повсюду было зелено, весело, а теперь... Цветы на клумбах Докии пожелтели. Только белые астры цветут да кое-где синеют последние анютины глазки. Под домом на ветру шелестят, колышутся крученые панычи. Широкие листья на высохших стеблях, забравшихся под самую крышу, уже пожухли. Коробочки с семенами потрескались, и черные граненые зерна усеяли глиняную завалинку, рассыпались под домом.

Посредине двора, прислонившись к деревянному сараю, висит желтый стог соломы, а рядом с ним копна свежего душистого сена. Огород весь изрыт, чернеет высохшая картофельная ботва. А возле забора еще стоит неубранная кукуруза. Обнажаются деревья. Бродяга-ветер срывает с них последние листья. Желто-багряные, они мерцают в осеннем воздухе, стайками поднимаются над забором и опускаются на землю, собираясь в кучки под хатами и сараями.

Тоскливо на сердце, и Григорий Сергеевич стоит, будто засмотрелся он в глубокое осеннее небо, по которому разгуливают белые барашки облаков. Лицо сосредоточенное, задумчивое.

Скоро нужно идти в правление. Ольга вынесла из дому кружку с водой, полотенце, помогла умыться. Из дому, где Докия доглаживала белую рубашку, доносился запах белья под утюгом.

Дядя Гриша поблагодарил и с полотенцем через плечо пошел в дом, одеваться.

— И ты, Оля, иди переоденься. Или не пойдешь в клуб?

— А я уже собралась!

Докия набросила ему рубашку на голову.

— Да не шевелись ты! — Поднялась на цыпочки, застегивая воротник.

Григорий закрутил головой.

— Да ты меня защекочешь! Э-э-э, нет, нет, верхнюю пуговицу расстегни!.. Горло давит.

— Я хотела галстук завязать!

— Ну его к лешему, не люблю...

В клуб пришли, когда там еще только начинали собираться люди. Ольга сразу же направилась к девушкам, а Докию позвала Оксана Полищук: у нее был глубокий, низкий голос, который невозможно было спутать с другими голосами.

Клуб был невысокий, старенький. Когда-то давно на вкопанные прямо в землю столбы положили доски, и они служили вместо скамеек.

«Тут ожидать, пока придут Ищук и Мазуренко, или к ним в контору направиться?» — подумал Григорий.

Вышел во двор. Солнце заходило, прорываясь сквозь тучи длинными яркими лучами.

Перешел через улицу. У Мазуренко в кабинете были люди. У окна покашливал Семен Михайлович Ищук. Никодим Бородка оправдывался в чем-то, и голос его то поднимался, то срывался. Еще кто-то был там... Григорий напряженно прислушивался.

— Когда же этому наступит конец?! — крикнул Василий Демьянович, не дослушав бригадира до конца.— У тебя если не то, то другое... Значит, снова зябь недопашем.

— Василий Демьянович, послушайте! Да ведь мы же... Вот подождите, Василий Демьянович,— зачастил Никодим. Переступая с ноги на ногу, он чем-то позвякивал, наверно подковкой на каблуке.

Григорий силился уловить нить разговора, становившегося все более острым.

— Ждать больше нельзя! Сколько она, эта проклятая шестерня, тянет?

— Рублей двести, не меньше, — откликнулся своим охрипшим голосом Самойло Кидь. — Дешевле не возьмешь. Уж я знаю. Покупал не раз.

— Почему же двести? У тебя все как не двести, так триста, — прервал Кидя бухгалтер Горкун. — В прошлый раз заплатили девяносто. Они до сих пор не списаны — за Никодимом числятся.

Подковка Никодима зазвенела еще сильнее: он обескураженно затоптался на месте.

— Пускай себе висят... Во время окончательного расчета сможете вычсть. Если бы у меня были свои деньги, я бы к вам не пришел.

Мазуренко хлопнул ладонями по подлокотникам кресла.

— Какой добрый! Подумать только! Дайте ему, Свиридыч, еще девяносто. — Голос председателя колхоза дрожал от возмущения на Самойлу Кидя. Это понимал и Григорий и все находившиеся в кабинете. Но зло председатель срывал на Никодиме. — Ну, больше не приходи! Так и скажи своим перебендям — не дам больше ни копейки! И все тут! И... только попробуйте мне пахоту не закончить...

Так уж повелось в первые послевоенные годы, что МТС не завершала ремонта тракторов, и колхозы вынуждены были на черном рынке покупать для своих бригад то поршневые кольца, то подшипники, а иногда и коленчатые валы. Так было и на этот раз. Получив разрешение купить шестерню, Никодим незаметно вышел из комнаты. В прихожей еще раз тихонько звякнула его подковка. Мимо Григория прошел и Алексей Свиридович Горкун, походка у него была степенная, размеренная.

— Ну, Антон Федорович, — спросил теперь Мазуренко, — а у вас что?

— Так я ж это...

По несмелому, подобострастному голосу легко было узнать Антона, мужа Мавры.

Григорий направился к крылечку.

— Вот, Григорий Сергеевич, — обратился председатель к вошедшему Трошуку. — Твой сосед, Антон Федорович, просит возок свежей ржаной соломы: ему нужно крышу в сарае перекрыть, что ли...

Василий Демьянович чего-то не договаривал, на что-то намекал, лукаво поглядывая на просителя. Семен Михайлович Ищук кашлянул — тоже, наверное, с улыбкой.

— Ха, подумаешь, горе какое! — вмешался и в этот разговор Самойло Кидь. — Сказал бы...

— Соломы не жаль, — медленно произнес и Григорий, уже сообразив, в чем дело. — Так видите ли, Антон Федорович...

— Ну вот, — ухватился Мазуренко, чтобы не дать Кидю снова вмешаться в разговор. — Я же вам говорил — лучше бы пришла Мавра. Чего это она там прячется за вашей спиной? Такая баба дородная, а до сих пор и сотни трудовней не выработала. Баста, баста, Антон Федорович, хочу повстречаться здесь с Кирилловной. Давно не видел!

Как только за Антоном прикрылась дверь, Мазуренко, не сдерживаясь, рассмеялся:

— Ну, она же ему и выплет, истинный крест, она шкуру с него спустит.

Он и договорить не успел, как за окном послышался крик Мавры:

— Дак говорила же я тебе!.. Да ты бы им!..

Все в кабинете затихли. Антон что-то тихо пробормотал, начал оправдываться.

— Ох-хо-хо! — снова покатился со смеху Мазуренко.

Пора было уже начинать совещание. Мазуренко и Ищуку хотелось перед этим хотя бы несколько минут побеседовать с Григорием Сергеевичем, но только без Самойлы. Но разве же Самойло мог упустить воз-

возможность выйти в зал вместе с руководителями села? Он в таких случаях всегда шел вторым после Мазуренко, чтобы все видели, что даже секретарь парторганизации уступает ему место.

В маленьком зале собралось уже порядочно людей. На актив пришли даже и те, кто никогда не показывался в клубе. Шли горячие споры. Обиженная Мавра сыпала как горохом о стенку:

— И надо же такое — назначили в заместители, будто в селе нет другого человека! Что он делать может? Лишь бы трудодни ему писали... И до войны все на этом руки грел, а теперь снова...

— Замолчите, Мавра Кирилловна, что вы мелете! — одернула старуху Пивненчиха. — Не справится — снимем. Или вам больше всех нужно? Смотрите, вон Петро Иванович молчит...

Старый столяр Петро Иванович сидел на одной скамье с Маврой. Шершавой пятерней он прикрыл рот, весь перекоксился и кивал головой, то ли соглашаясь с женщиной, усевшейся возле него, то ли насмехаясь над ней.

А в другом углу стройная красавица Оксана донимала Никодима Бородку, о чем-то весело болтала, смеялась, переглядываясь с подружками, которые посмеивались у окна. Бедный же Никодим, не понимая, что над ним подшучивают, становился на цыпочки и вытягивал свою шею к двери — не видит ли его Мария: из-за Оксаны ему уже не раз попадало от жены, хотя он ни сном, ни духом виноват не был.

Председателем собрания избрали Михея Свиридовича Коркушко, а секретарем — Оксану Полишук. Она сразу напустила на себя степенный вид, а бригадир подкрутил седые усы, солидно откашлялся.

Шум и гам в зале не затихали.

— Так, может, будем начинать, товарищи? Или не наговорились еще? А ну-ка, помолчим, послушаем товарища Григория Трошука.

Григорий поднялся со скамьи, подошел к столу, повернулся лицом к залу. После войны он впервые оказывался лицом к лицу перед многими людьми. Когда он был в кругу двух-трех товарищей, он чувствовал, что на него смотрят, а сейчас, перед множеством глаз, он уже утратил ощущение чужих взглядов. Не видя людей, а лишь слыша общий гомон, он начал краснеть от волнения и растерянности. Часто застучало сердце. Он слышал, как дышали сидевшие на первой скамье, слышал, как кто-то сдержанно вздохнул. Понял — это отец тоже пришел послушать. Где-то там, в гуще людей, точно так же волнуются за него и Докия и Ольга.

Наконец, собравшись с мыслями, Григорий начал. Сначала он заговорил неестественно громко — в горле словно бы сухой песок. Потом, превозмогая себя, стал говорить более ровно и спокойно. И вот он уже почувствовал, что овладевает вниманием присутствующих. Он рассказал о положении хозяйства, о том, что еще не закончили делать в поле. Поделится своими мыслями, как бригадирам в напряженные осенние дни распределить рабочую силу, чтобы закончить молотьбу, убрать лен, кукурузу, ускорить силосование. По памяти приводил цифры, подсчитывал, сколько и каких строительных материалов нужно для ремонта хозяйственных помещений.

И чем дальше говорил, тем яснее чувствовал, что расстояние между ним и залом сокращалось, исчезало. А в начале оно казалось огромным, неизмеримым. То там, то тут вырывались короткие одобрительные восклицания. Прямо перед ним кто-то быстро, восторженно зашептал. Григорий ободрился и заговорил еще увереннее:

— Сев закончили еще в прошлую субботу, а третья бригада до сих пор сеялок с поля не свезла. Да и бороны там ржавеют. Разве это хозяйски? А ведь я же говорил Петру Колоброде, да и не раз...

В зале послышался шум. Люди зашевелились, начали оглядываться на бригадира третьей полевой бригады. Петр покраснел так, будто

только что вышел из бани. Вокруг него зашептались. Колоброды склонил голову, опустил оба локтя на колени.

— И Михею Свиридовичу должен сказать...— Григорий повернулся к столу президиума, за которым сидел бригадир Коркушко.

В зале стало еще тише.

— ...Ведь скирда у Черного гая так до сих пор стоит раскрытая? Пойдут дожди — намокнет солома. А у нас ведь с кормами не все ладно, товарищи...

Бородач Михей Свиридович забыл, где он сидит, и потянулся рукой к затылку, поглядывая на докладчика исподлобья. В зале засмеялись. Григорий не понял, над чем смеются, и остановился. Лицо его побледнело. Но он заставил себя продолжать доклад, заговорил о восстановлении телятника. Сказал, сколько нужно людей поставить на распиловку леса, сколько на укладку стен. Сообщил, что за бетоном обратился в рудоуправление и что оттуда дают даже вагонетки и рельсы для сооружения дорог на фермах.

— За это нужно поблагодарить наших комсомольцев и школьников. Это они собирают лом, чтобы обменять...

— А чем крыть будем телятник? — донесся из зала вопрос.

— Шифер нужен! — требовательно сказал Игнат Руденко.

В зале послышался гомон. Это давнишняя мечта была, чтобы в Песчанке вместо соломенных крыш крыть дома и общественные помещения шифером. Перешептывания, громкие разговоры покатались из конца в конец. Коркушко встал, постучал ладонью по столу.

— Не в Овруче, так в Житомире! — долетел до Григория обрывок чьей-то фразы.

— Попробуем купить шифер, — поспешил ответить Трощук. — Ну, если не удастся, так и под соломенной крышей перезимуют телята. Для этого у нас материала достаточно.

Только он сказал слово о соломенной крыше, как вначале будто про себя, а потом все громче и громче заворчала Мавра Кирилловна. Григорий, не расслышав, что она говорит, продолжал доклад. Но Мавра, уже не обращая внимания ни на него, ни на одергивания соседей, сидела и гудела. Голос ее с каждой минутой становился все более громким, заглушал смех и гомон всего собрания.

— Вот-вот... Я же и говорю... Для людей нема... ни соломы, ни камыша...— гудела Мавра, не обращая внимания ни на президиум, ни на Петра Ивановича, который усмирлял ее, ни на Пивненчиху, которая подталкивала ее в спину. — Пусть сарай будет раскрытым, им дела мало до этого... А чем же я укрою его? Что мне, в «Зарю» за соломой ехать, что ли? Где же это видано, чтобы из одного села да в другое ездить за соломой!

Председатель Михей Свиридович Коркушко сильнее постучал кулаком по столу, попросил не мешать собранию.

— Тетка Мавра, вы хотите выступить? — поспешил на помощь председателю Семен Михайлович Ишук. — Так пожалуйста, после доклада вам предоставят слово. А сейчас помолчите, пускай Григорий Сергеевич закончит.

— Ну да, — не унималась Мавра, глядя куда-то в угол, через головы людей. — У них разве болит? Думаете, дали? Как бы не так...

И тогда в клубе, сразу во всех углах, взорвался смех, который уже невозможно было ничем остановить. На Мавру отовсюду посыпались насмешки, остроты. Михей Свиридович сердито взглянул на Мазуренку. В его серых глазах, в лице, заросшем седоватыми волосами, стоял еле



сдерживаемый гнев. Но Василий Демьянович весело улыбался, не собираясь вмешиваться в то, что произошло.

— А ну, замолчи! — сквозь зубы цыкнул Коркушко. — Ты где находишься? Вот ты завтра ко мне придешь... вот ты придешь!

Сверкнув глазами, Мавра умолкла. Григорий, сбитый с толку, не знал, как ему дальше продолжать. Случай с Маврой сбил его. Он коротко напомнил, о чем говорил раньше. Бригадир, как бы много у него ни было работы, должен заботиться о своем инвентаре, а не бросать его в поле. А заготовкой кормов должны заниматься не только бригадиры, но и все колхозники. Сейчас в колхозе стало много скота, а будет его еще больше, нужно по-хозяйски распоряжаться и сеном и соломой, а не оставлять все это открытым под дождем.

В клубе наступила тишина. Не зная, чем закончить, Григорий переминался с ноги на ногу у стола. И снова, как и в начале собрания, ему показалось, что он безнадежно утратил связь с людьми, что он попал в вязкую пустоту, которая тянула, засасывала его, отрывая от тех, кто находился в зале.

Он стоял и молчал. И собрание тоже молчало. Люди с удивлением смотрели на Григория Трощука. Никто не ожидал, что он успеет и, главное, сможет так разобраться в хозяйстве. У Никодима Бородки как поднялись брови на лоб, так и застыли. У Алексея Свиридовича Горкуна на лице — улыбка удивления. А Антон Фомич Черняк, волнуясь, то и дело вынимает, а затем снова поглубже засовывает в карман желтый складной метр. Докия ждет, что будет дальше, опустила глаза и не поднимает головы. Ольга всем корпусом подалась вперед, она не видит перед собой никого, кроме дяди Гриши.

Григорий забеспокоился еще больше. Отчего в зале такая тишина? Значит, люди недовольны? Значит, он не разобрался в хозяйстве, не сумел доложить так, как нужно? И Коркушко молчит, и никто слова не просит. По лицу его пробежала тревога.

Усилием воли Григорий подавил рвавшийся у него из груди вздох, сделал шаг вперед. Протянул руку, будто бы защищая лицо от того, что его ожидало.

— Что ж, товарищи? — хрипло, с болью вырвалось у него. — Значит, наверно, не годен я для этой... работы, не годен?

Над залом будто буря пронеслась. Заскрипели скамейки, поднялся шум.

Со всех концов полетели выкрики:

— Годен! Годен!

Игнат Руденко поднялся с места, закричал громче всех:

— Кто тебе сказал, что не годен? Годен, годен!

Докия прикусила губу. Слезы брызнули у нее из глаз. Ольга затанцевала на скамье, обрадованно закричала звонким голосом:

— Годен! Годен!

Отец Григория, сидевший у окна, приподнял голову и сердито застучал грушевой палкой об пол. На глазах старика блеснули слезы.

А взволнованный Григорий все еще стоял у стола президиума. Кто-то дотронулся до его руки. Он узнал Василия Демьяновича. Мазуренко жал ему руку выше локтя, жал крепко, как клещами, и тяжело, прерывисто дышал. С другой стороны, кашлянув, возле него остановился и Семен Михайлович Ищук. Где-то совсем близко звякнула подковка Никодима Бородки.

Григорий Трошук понял, что его окружают друзья, что все сложилось хорошо, что собрание одобряет его работу. Радостно затрепетало сердце: «Годен! Годен! Годен!»

## Крутые тропинки

Развернулась работа по восстановлению телятника. Бригада каменщиков ремонтировала стены, бетонировала трещины. Плотники готовили детали для крыши, и Петро Иванович с Игнатом Руденко начали складывать их между кучами желтой глины и песка. Другие мастера, с Антоном Фомичом Черняком во главе, готовили ясли, укладывали обрешетку.

Григорий Трошук появлялся здесь по нескольку раз в день, следил, чтобы у рабочих все было под руками, допытывался, кому что нужно.

Куда бы он ни уходил, что бы ни делал, а мысленно все время возвращался на строительную площадку. Это была его первая большая работа в новом положении. Тут иногда собиралось до шестидесяти человек одновременно, и Трошук радовался, что руководит таким делом.

Не хватало шифера. В понедельник он продиктовал Ольге уже третье письмо на базу облпотребсоюза, но оттуда и не думали откликаться. Пришлось поехать в Житомир.

Прямо с поезда Григорий решил направиться на базу. Вышли они с Ольгой к трамваю. В вагоне было полно людей, но Григория и Ольгу пропустили, уступили им место. И сразу же, как всегда, когда Григорий появлялся в новом кругу, все умолкали. Ощущая на себе взгляды пассажиров, молчал и он. Это сочувственное, неотвязно-назойливое внимание сопровождало Трошука повсюду, как только он выходил за пределы родного села. Конечно, тот, кто смотрел на него, не догадывался, что может вызвать неловкость или досаду. Ведь он не видел... Но, попадая в такое молчаливое окружение, Григорий каждый раз чувствовал, как из глубины души у него подымалась смутная досада, которая, чем дольше длилось молчание, переходила в злость. Правда, достаточно ему было произнести одно слово, как неловкость исчезала. Но сегодня у него было беспокойно на сердце и говорить не хотелось. А люди, считая себя чуткими, сердечными, обстреливали его со всех сторон жалостливыми взглядами, не понимая, что их вздохи ничего, кроме огорчения, слепому человеку не приносят.

Старый трамвайный вагон скрипел и гудел, раскачиваясь на ходу так, что пассажиры налегали друг на друга, цепляясь за поручни, за кольца, подвешенные под потолком.

На одной из остановок в вагон через переднюю площадку вошел мужчина в грязном ватнике, из-под которого выглядывала замызганная рубаха. Оля увидела, как он снял с головы фуражку, опрокинул ее дном вниз и, опираясь на костыль, начал пробираться по вагону. Заученным льстиво-гундосым голосом он канючил:

— Дорогие граждане и гражданки! Пожалейте инвалида, помогите пострадавшему на трех фронтах Великой Отечественной войны! — Нищий протягивал фуражку то в одну, то в другую сторону. — Помогите, кто сколько может, солдату, искалеченному фашистской войной...

Григория передернуло.

Звякнуло серебро: кто-то, видимо, бросил в фуражку несколько мелких монет. Нищий подобострастно поблагодарил:

— Дай вам бог здоровья и богатства...

Григорию стало еще противнее. Когда нищий загундосил над его ухом, он резко повернулся.

— И не стыдно тебе побираться? Неужели не можешь работу найти?

— Благодарю, граждане... Благодарю, братцы и сестры. — Потом инвалид тихо сказал Григорию: — Чего ж ты тихо сидишь? Просил бы, так я бы и не зашел, понял бы, что тут уже есть один.

— Замолчи, паразит! — вскипел Трошук. — Нищенствуют те, кто совесть потерял. Работать нужно. А ты позоришь солдатскую честь — руку протягиваешь...

Ольга испуганно прижимала локоть дяди Гриши, боясь поднять глаза на людей. Услышав перепалку, заговорили и женщины. Кто-то из них произнес:

— Ну да, такой будет работать... Пьянчужка!

Пассажиры начали стыдить побирушку. А он, пьяно улыбаясь, проталкивался к выходу.

— Сходи, браток! Тут ничего не раздобудешь!

— Иди, иди, бездельник! — крикнула ему вдогонку женщина.

Как только вагон остановился, «браток» соскочил на тротуар, взял костыль под мышку и пошел, зажав в кулак фуражку с монетами. Другой рукой он залихватски откинул назад длинные волосы, оглянувшись со смехом.

— Видали «инвалида»? — смеясь и возмущаясь, говорили пассажиры.

Возмущенный поведением «братка», Трощук шел быстро и никак не мог успокоиться.

В небольшой тесной каморке базы, загроможденной фанерными ящиками, их встретил заведующий. Рыжее лицо его было усеяно веснушками. Взглянул на Григория, смерил взглядом с ног до головы Ольгу, спросил, чем может быть полезен.

Ольга застеснялась, отступила за спину Григория Сергеевича.

— Зачем ехали? Почему не могли дожидаться нашего извещения? — затархтел рыжий, узнав, зачем приехал Трощук. — О каком шифере может быть речь? Смешно!

Трощук напомнил, что по наряду база должна была отгрузить шифер колхозу еще в августе.

— Разве вы не знаете, как пишутся наряды? Разве трудно написать бумажку? Пожалуйста, вот наряд. Хотите еще? Извольте еще! А что вы получите по этим бумажкам?

Рыжий уселся на куче упаковочных ящиков, накрытых серой оберточной бумагой, усеянной чернильными и масляными пятнами, взялся левой рукой за подбородок и выжидательно посмотрел на Григория.

— Шифер, шифер, — вздохнул он, покачивая головой. — Всем нужен шифер! А нам его дают с гулькин нос. Разве их интересуют живые люди? Разве они думают, что живой человек пить-есть хочет? Вот это все наряды. И это тоже наряды. — Рыжий потащил из окна, заделанного решетками, замасленную, беспорядочно набитую бумагами папку. — С шифером возвращается домой лишь тот, кто застанет его на базе. А разве можно знать, когда он поступит? Может быть, и сегодня, может быть, и завтра, а может быть, и через месяц! Такая морока с этим шифером!

Григорий уже понял, к чему он клонит.

— Значит, не дадите? — с усмешкой, в которой звучала угроза, еще раз переспросил он.

— Если бы у меня был шифер... Наведайтесь через недельку. Что? Уже дважды были? А еще раз тяжело наведаться?

— Так снова ж ведь не будет?

— А разве я знаю? Может, будет, может, нет.

Намеки заведующего приводили Трощука в бешенство, но он все еще сдерживал себя.

Рыжий не замечал этого и бормотал еще чаще:

— У кого какое счастье... Повезет — достанет!

Так ни до чего не договорившись, Григорий и ушел с базы. Было холодно. Пронизывающий, сырой ветер бил в лицо, пробирался за воротник, охватывая все тело дрожью. В гостинице Ольга устроила Трощука у окна и ушла на женскую половину.

Несколько постояльцев уже спали. Двое играли в шахматы за столом, который стоял посреди комнаты. Голоса шахматистов, не выключен-

ный репродуктор долго не давали Григорию уснуть. К тому же и день выдался хлопотливый.

До войны со всем этим было куда спокойнее и проще. А теперь всюду что-нибудь да не так. Что же делать дальше? Врет рыжий! У него где-то есть шифер. Но голыми руками его оттуда не вырвать, это уже ясно. Нужно обращаться куда-то выше. Но куда? Сколько ни думал, сколько ни размышлял — все дорожки вели к товарищу Рябчуку. Когда-то он уже выручил с железом для кузницы.

Утром они и направились к товарищу Рябчуку. Подождали в приемной, потом секретарша пригласила Григория Сергеевича войти, открыв обитую дерматином дверь. Ольга смущенно зашагала по мягкой ковровой дорожке, проложенной от двери к столу.

— А-а, прошу, прошу,— поднялся из-за стола стройный, приветливо улыбающийся человек.— Садитесь, прошу... С чем пожаловали?

Рябчук узнал Трощука, который когда-то уже был у него. Григорий коротко, даже не садясь, рассказал, по какой причине беспокоит товарища Рябчука. Рябчук сразу же снял трубку телефона, спросил кого-то о шифере, выслушал и распорядился не терпящим возражения тоном: песчанскому колхозу немедленно же отпустить шифер.

Григорию показалось, что Рябчук чем-то недоволен. Он еще раз извинился за беспокойство.

— Как видите, шифер есть. Нужно было ехать прямо на базу,— холодно произнес Рябчук, тряхнув черной кудрявой головой.— Вы, кажется, уже бывали у меня? Простите, но вы... одним словом, я хочу вам посоветовать — не пользоваться своим положением. Получается как-то неудобно. Скажите тем, кто посылает вас...

С такой жестокой откровенностью Григорий столкнулся впервые. Он оторопел от слов, которые в неприкрытой форме напоминали ему о его слепоте. И Ольга тоже почувствовала, как оскорбительно то, что сказал Рябчук. Искоса, из-под насупленных бровей, она посмотрела осуждающим взглядом на человека, который вначале показался ей образцом вежливости.

— Меня никто к вам не посылал,— четко и раздельно произнес побледневший Трошук.— Я сам к вам приехал. Кто же, если не вы, уничтожит бюрократов, которые засели на базах и держат колхозы, как в паутине? Они же набивают карманы на послевоенных трудностях, разве вы не видите? Если не у вас, так где же мне было искать правду?

Григорий был возмущен, но старался говорить сдержанно.

— Простите, простите,— опомнился Рябчук.— Я же... это так... а шифер вы получите. Распоряжение дано.

Четким военным шагом Григорий направился к двери. Ольга едва успевала направлять его. Но раздражение, которое охватило Григория в кабинете, так же внезапно прошло. Он сразу же ослабел.

Поскорее бы добраться, забыть обо всем — и о приключении с этим «братишкой»-нищим, и перепалку на базе, и эту неожиданную, обидную реплику товарища Рябчука. Вот и Ольга подавленно вздыхает. Славная девушка, она обеими руками поддерживает его за локоть... Голубушка, милая, этим меня не утешить.

До каких же пор это будет продолжаться? До каких пор ему не будут верить, что он не беспомощный слепой, что он работает, что он заместитель председателя колхоза и никогда не пользовался и не разрешит себе пользоваться своим беспомощным положением. А впрочем... Разве он сам поверил бы, что тот слепой дядька, которого он когда-то видел у порога дома, мог бы вести крупное артельное хозяйство? Нет, это не такое простое дело.

— Домой, скорее домой... Только раньше, Оля, нам нужно на телеграф, мы вызовем машину за шифером. Ты знаешь, где здесь телеграф? Девушка не знала. Пришлось спросить у одного из прохожих.

— А вот здесь, за углом, пожалуйста, я вас провожу,— с готовностью ответил прохожий.— Может, вам написать телеграмму, так я найду с вами...

Григорий поблагодарил и отказался.

— Ну, смотрите, а то мне нетрудно.

Через минуту Трошук с Ольгой прошли в высокую стеклянную дверь почтамта и смешались с шумной толпой людей.

Диктуя телеграмму, Трошук представлял, как обрадуется этой весточке Василий Демьянович, как засуетятся строители. И ему полегчало на сердце.

Вечером они с Ольгой пришли на вокзал. Шел снег. Крупный, пушистый, он быстро покрыл белым покрывалом перрон. Обоим стало легче. Вот они сядут в вагон, приедут домой, и все пойдет по-старому — тихо, спокойно.

Но как только взяли билеты и зашли в вагон, приключилось новое происшествие, которое имело для Григория Сергеевича неприятные последствия.

В вагоне было полно людей. Все полки в передних купе были заняты. Корзинами и мешками были загромождены даже проходы. Ольга пропустила Григория Сергеевича вперед, а сама бочком пробиралась за ним сзади, поддерживая его за локоть.

Какая-то сердобольная старушка, глядя, как неуверенно и осторожно идет по вагону среди людей слепой человек, покачала головой и начала вздыхать. А затем, пропустив Трошука, неожиданно что-то сунула Ольге в руку.

— Возьми, сердечная.

Ольга отпрянула. Испуганными, обиженными глазами посмотрела она на старушку. Губы ее задрожали. Отступая, девушка толкала Григория Сергеевича все дальше вперед и с ужасом, как от огня, прижимала к груди свою свободную руку.

Если бы Григорий знал, что сейчас случилось и чем это для него закончится, он поговорил бы с Ольгой, успокоил бы ее. Но, занятый своими мыслями и переживаниями, он утомленно сел у окна и молча, неподвижно сидел, не обращая внимания ни на Ольгу, ни на пассажиров, гудевших вокруг.

Ольга сидела напротив. Их разделял лишь маленький столик. Григорий не видел, как болезненно сомкнулись тонкие брови девушки. Она переживала молча. В опущенных глазах стояли крупные слезы.

Так, значит, люди считают, что они с дядей Гришей побираются? И эти сочувственные, печальные взгляды людей, которые она до сих пор относала только к дяде Грише, касались, значит, и ее? Значит, ее считали нищенкой?

Нет, нет, она больше никогда никуда не поедет с Григорием Сергеевичем. Она молодая, здоровая, снова будет работать в звене, будет там вместе с подружками, и никто никогда не обидит ее. Пускай Григорий Сергеевич подыщет себе другую помощницу. Конечно, ему будет тяжело, неудобно. Но ведь привык же дядя Гриша к ней, привыкнет и к другой. Ольга долго жалела дядю Гришу, долго помогала ему, а теперь не может. Пускай ее никто и не просит, не уговаривает. Она не может оставаться с дядей Гришей. Пускай дядя Гриша извинит Ольгу, но она решила уйти от него, уйти во что бы то ни стало...

Зима в этом году выдалась ровная, хорошая. Снег покрыл землю, лег на крыши. На опушке леса, возле старого дуба, с которого еще не опали листья, молодые ели в белых нарядах переплелись ветвями, будто соби-

рались в свадебный танец. Один за другим проходили свежие безветренные дни. А потом ударили лютые морозы, загоня все живое в теплые дома, над которыми прозрачными столбами поднимался дым.

К Докии пришла Ольгина мать и, вздыхая, сказала, что Ольга больше к ним не придет.

— Так что вы не очень гневайтесь на нас. Ольга сказала, что вернется в звено Оксаны.

В старом платке, в теплой кофте, Ольгина мать сидела на скамье у самой двери, положив на колени овчинные рукавицы.

— Ты, Докия, скажи Сергеичу, пускай поищет себе другую. И я нездорова сейчас — ноги ломит: не то ревматизм берет, не то годы уже не те...

Беспомощно посмотрела на свои огромные стоптанные валенки, на которых таял необметенный снег, даже руками развела.

Обескураженная Докия всплеснула руками.

— Ой, что же это вы такое говорите?! — Она встревоженно села на скамью. — Да он и не поверит мне. Привык же к ней как! Хвалит не нахвалится Ольгой: и ласковая, и умная, и сообразительная, а уж какая добрая — другую такую не сыскать... Как же это он будет без Ольги, матушка?

Старуха и не прочь бы, чтоб Ольга оставалась при Трошукке. Да разве же с девчонкой совладаешь? Сказала, что не будет ходить. Сама слезы льет, а не хочет.

— Вы хоть не обижайтесь на нас...

Отказ Ольги поразил Григория. Он даже не допытывался, почему девушка не захотела с ним работать. Ходил по комнате опечаленный, сумрачный. Сын прибежал с катка, стал рассказывать, как они играли с Федькой, как за ними потом гонялись все ребятишки, а Григорий только поддакивал, толком не понимая, о чем рассказывает сынишка.

Докия называла то одну, то другую девушку, рассказывала все, что знала о них, а он молчал. Разве ему не все равно, кто с ним будет — Христа или Настя? Раз уж Ольга, сердечная, терпеливая, ласковая Ольга, отказалась, то и эти долго не удержатся.

Чувство безнадежности охватило Григория. Он пал духом. Как лег на диван, положив обе руки под голову, так все утро и пролежал, не проронив и слова. Лежал в одежде и в сапогах и словно бы посторонним взглядом смотрел на свое горе, взглядом человека, которому все равно, что же будет делать Григорий Трошук, как будет держать себя дальше. Значит, всем он в тягость. Каждый ему уступает дорогу, каждый сочувствует, но никто не хочет взять на себя частицу тяжкого горя. И так будет всегда. Он сам обрекает себя на это, ища чего-то здесь. Ему нужно ехать в Москву, позаботиться о глазах. Не может же быть, чтобы ему говорили неправду! Ну пусть профессор Колин, тот всех обнадеживает, но ведь и Мария Павловна верит. Не только умом — сердцем чует она, что ему еще можно вернуть зрение. Чего ж он ждет здесь? За что цепляется? Не искать себе в помощь новую девушку, а немедленно, сейчас же выезжать. Жаль, что Докия ушла, а то он велел бы ей собирать в дорогу — нельзя больше растревать сердце. Почувствовал, как холод пошел по спине. Докия поспешила на работу, не протопив печь. От двери тянуло все сильнее и сильнее. Дмитрик неплотно прикрыл дверь в сенях.

Где же теперь Мария Павловна? Что она делает?

Написать бы ей обо всем. Но ведь это значит диктовать кому-то. А кому доверишь свои сокровенные думы? Обессиленный горькой печалью и чувством одиночества, Григорий лежал на диване.

Сколько времени прошло, он и сам не знал. Услышал — на крыльце кто-то обивает снег с ног, но не поднялся, даже не шевельнулся навстречу: видно, Докия.

Скрипнула дверь. Послышались чьи-то шаги.

— Здравствуйте! Есть кто в доме?

Григорий неохотно сел. Значит, Мазуренко не дождался, прислал за ним. Но Григорий никуда не пойдет. Ни сегодня, ни завтра.

— Что это вы заболели все, будто сговорились. И Василий Демьянович слег и вы. Что с вами, Григорий Сергеевич?

Только теперь Григорий узнал голос Семена Михайловича Ищука. Зачем это он пожаловал? Григорий насторожился. Сидел, ожидал, что скажет неожиданный гость.

Семен Михайлович кашлянул раз и другой и затем сел на скамью. Из груди у него с хрипом вырвалось сдерживаемое дыхание.

— Вы бы сами полечились,— холодно произнес хозяин.

— От чего это мне лечиться? Я здоров-здоровехонек.— Ищук чиркнул спичкой, прикурил.— Дать сигарету?

Сидели, курили. Ветер качал ставню, и она тихо и печально поскрипывала. Окутываясь дымом, Семен Михайлович наблюдал за Григорием. Какой-то он сегодня не такой, как всегда, будто тяжесть легла ему на душу,— даже не встает, хотя непохоже, что болен.

— Что со стариком? — первым нарушил молчание Григорий. «Неужели снова сильно заболел? — мелькнула внезапная мысль.— Неужели опять придется откладывать поездку?»

Ищук еще внимательнее посмотрел на хозяина: и говорит-то, еле выдавывая слова. А Мазуренко болен... Жалуются и на сердце и на ноги. Вчера не выдержал, ушел из конторы и не приходит больше.

— Все идут к Горкуну. А что же бухгалтер может? Разве заменит председателя? А с вами что? Что это вы осунулись?

В голосе Семена Михайловича что-то изменилось, потеплело.

— Ушла... от меня Ольга,— мрачно ответил Трошук.

— И это вся болезнь?

Удивление Ищука подняло Григория на ноги.

— А разве же нет? Бросила, и пускай меня черти возьмут! А я... А-а, ну его ко всем чертам!

— Так, так,— с насмешливой улыбкой протянул Ищук.

Григорий почувствовал, что его охватывает гнев, но Семен Михайлович не дал ему заговорить.

— Ну, давайте будем вместе скулить. Вас бросила Ольга, а меня — Мария, жена.— Голос Ищука становился все более суровым.— Так что же нам, уйти ото всего и тешиться своей болью? Жить воспоминаниями? Киснуть? Не дождутся! Нам некогда впадать в отчаяние.

Неожиданная исповедь Семена Михайловича поразила Григория. Последние слова, которые он с гневом выдохнул из себя, касались, конечно, не Трошука и не Ольги, но в них проявилась такая сила и страсть, которую в этом тихом и скромном человеке трудно было и подозревать. Григорию стало стыдно. Вспомнилась их первая встреча у магазина, когда Ищук похвалил Докию. Теперь понятно, откуда была его печаль. Так это же Семен Михайлович еще тогда хотел поделиться с ним своим горем, а он, занятый собой, не заметил этого.

Григорий шагнул к Семену Михайловичу, хотел что-то сказать ему. Но тот прервал:

— Нас люди ждут, Сергеич. Собирайся, пойдем.

То, как просто и непринужденно Ищук перешел с ним на ты, порадовало Григория. Может, это и было начало той мужской дружбы, которой ему так не хватало.

Через минуту Семен Михайлович и Трошук выходили из дому.

В эту зиму здоровье Мазуренко резко ухудшилось. Старика мучила одышка. Он старался поменьше ходить, но никак не мог усидеть дома. Хоть на час, а все-таки выходил из дому. Полы его старого бушлата сви-

сали, как крылья у подбитого петуха. И сейчас вот, здороваясь с колхозниками, Василий Демьянович шел по узенькой улице к конторе, чтобы переброситься словом с Трощуком и с Семеном Михайловичем. С ним приветливо раскланивались люди со всех дворов. Вот Пивненчиха порадовала улыбкой — улыбнулась, как в девичестве улыбалась: лукаво, призывно. Ох, и девка же была! Пальца в рот не клади, веселая, остроумная, а как танцевала — все уголки села хвостом своей юбки подметала под Мазуренкову гармонию. А вот и жена Коркушко. Сколько знает ее Мазуренко, она всегда одинакова: ничем ее не удивишь, ничем не развеселишь, лишнего слова не обронит, не улыбнется. И как только Михей Свиридович век с ней прожил и не очерствел!

Против двора Никодима Бородки Василий Демьянович задержался. Подозвал Марию. Вот еще штучка! Сухая, колючая, как терновая ветка. Маленькая, а злющая. И себя и Никодима на посмешище перед всем селом выставила. Всем жалуется, что Никодиму нет ничего милее на свете, чем трактор, а сама к Оксане его приревновала. Девушка терпела-терпела, думала, что Мария уймется: нет же никакой причины для ревности. А потом разозлилась и начала поддразнивать долговязого Никодима. Красивая, задорная Оксана то начнет при всех заигрывать с Бородкой, то вместе с ним домой идет, чтобы жена увидела их вдвоем. Словно и не знала, что Мария потом своему мужу спуску не дает!

— Здравствуй! Скажи Никодиму, что деньги за шестерню правление списало с него. Пускай ходит к Горкуну.

— Какие деньги? — закричала Мария. Дерюжку, которую она вынесла вытрясать, она опустила и впилась в председателя пронзительным взглядом.

— Он знает. Осенью покупал за свои. Был за ним такой грех.

— За свой-и? Богач какой сыскался! День и ночь в колхозе толчется, да еще и деньги свои тратит. Это все вы, Василий Демьянович!

— А ты, Мария, не кричи. На собственные купишь — зорче присматривать будешь. А за колхозом людское добро никогда не пропадало. Так не забудешь передать Никодиму?

Еще бы Мария забыла! Вот она ему задаст — пускай только явится домой. Мария так тряхнула старенькую дерюжку, что та треснула. Ну, стой же, Никодим! Лучше бы и не говорил с ней Василий Демьянович. Вот она уже кричит на детей в избе.

Тяжело дыша, Василий Демьянович не скоро добрался до конторы и очень обрадовался, встретив там Григория Трощука.

— Уж ты... как-нибудь сам... Хочу... пускай Кирилл съездит за врачом. Я бы и не посылал. Так жена ведь... Ты сам, Сергеич, проверь, чтобы трактористам привезли керосин и все, что полагается, заблаговременно. А то как развезет дороги, тогда уж...

Василию Демьяновичу даже разговаривать было трудно. Григорий ни о чем не расспрашивал его, ни о чем не докладывал ему, хотел только, чтобы Мазуренко поскорее пошел и лег. Григорий вышел и велел, чтобы Кирилл подъезжал к конторе: в таком состоянии Василия Демьяновича нельзя было отпускать домой пешком.

И только после того, как Василий Демьянович уехал, Григорий остался наедине со своими мыслями. Значит, о Москве сейчас нечего и думать. И когда только выберется у него время на эту поездку? Не поздно ли будет потом?

Григорий пришел домой еще более встревоженный, чем уходил. С кем он теперь будет ходить? Ох, Ольга, Ольга, если бы ты только знала, как ты подвела своего дядю Гришу! Но только вошел в дом, как Докия сказала:

— И я тоже только через порог переступила. Знаешь, Гриша, Ульянина Христа согласилась ходить с тобой. Правду сказать, она не из очень



послушных, ну что же... Уж ты с ней как-нибудь обойдись. Я бы и сама ходила, так люди скажут, что на даровые трудодни заруюсь. А когда чужой человек будет ходить, так оно и ничего...

После тихой, скромной Ольги Григорию трудно было привыкать к Христе, племяннице Докни. Высокая, длинноногая, любившая погулять, поболтать, и Григорию не раз приходилось извиняться перед людьми за ее выходки. Часто Христя опаздывала, а то и вовсе не приходила. А когда ее начинали корить, она ругалась. Да и не такая была сообразительная и наблюдательная, как Ольга. Трудно приходилось Трощуку с этой девушкой. Она раздражала его и тем, что часто оставляла одного. Стоило ему заняться делами, как она быстренько уходила поболтать к женщинам, ему то и дело приходилось звать ее.

Зимой, когда похолодало, женщины стали неохотно выходить на работу. А между тем нужно было готовить семена к весне. И Григорий решил пойти по домам тех, которые уклонялись от работы. Слух о том, что Трощук ходит по домам, разнесся по всему селу. Колхозницам стало стыдно. Он, инвалид, убивается о хозяйстве, не зная ни усталости, ни отдыха, а они заставляют его ходить в такую даль — даже на Коркушевку.

— Ох, дядя Григорий, и пристыдили же вы меня, — краснея, оправдывалась женщина, когда он заставал ее во дворе. — Я уже и сама было собиралась... Да знаете, как оно дома? Пока печь протопишь, пока корову подоишь да свинью накормишь... И постирать нужно и воды наносить... Я сейчас, одна нога тут, а другая там!

Так вот Григорий узнал, что и вдова Пивненчиха забыла дорогу в бригаду. В субботу днем они с Христей заглянули к Ефросинии. Застали ее на козлах с кисточкой в руках: она вырисовывала на печке желтых кукушек, красных петушков, синенькие барвинки. Только скрипнула дверь, Пивненчиха сразу закричала, уперши руки в бока:

— Да что ж я, привязана к работе? Изо дня в день на работу да на работу... Не пойду! Вздумали по дворам ходить. А когда же мне по домашнему хозяйству заняться? Прислуги у меня нет!

Красивое, нестарое лицо ее было забрызгано красками. Руки в синьке, юбка тоже. Карие глаза так и сверкали.

— Не пойду! Пускай те ходят, которые за мужьями сидят!

— Моя Докня ходит.

Только Григорий Сергеевич произнес эти слова, в разговор вмешалась Христя.

— Ваша правда, тетя! Женщинам никогда нет покоя. Еще и мы пристаем. Хотя бы зимой оставили в покое!..

Трощук не успел и одернуть девушку, да это и к лучшему: ее непрошеное заступничество произвело на вдову неожиданное действие.

— Во-о! Только тебя, девка, тут и не хватало! Буду я у тебя ума занимать! А где ж я и заработаю тогда, если не в колхозе? Муж оставил меня с тремя, которые еще в школу ходят, да и не вернулся с войны. Кто же их кормить будет? Вишь, какая умница! Иди кати подобру-поздорову!..

Христя только юбки крутнула.

— Тю, глупая, ей же добра хочу...

— Неужто тебя мать не учила уважать старших? На рабочего человека такие слова, — отчитывал ее Трощук. — Постыдилась бы!

Пришли в другой двор. Мотря Чеглик, девица лет двадцати трех, жила одна. Замуж и не собиралась, знала, что некрасива, — парни и в добрые-то времена не ухаживали за ней, а где уж теперь, после войны, было надеяться! Тихая, смиренная, жила, как овечка, никто ее никогда не слышал. Целое лето возилась у себя на приусадебном участке, а колхозной работы чуралась и летом и зимой.

— О-о-о, господи, дядя Трощук, у меня и сил таких нету, чтобы веялку крутить, — застонала Мотря, когда Трощук с Христей зашли к ней.

— Нужно, нужно, Мотря,— ласково добивался своего заместитель председателя. — Людей не хватает. Если не к вялке, так другую работу себе возьмете, смотришь, лишний трудодень и заработаете.

— Ну, ежели так, я и пойду, — с постным видом протянула Мотря, пряча длинные руки в рукава кофточки.— Что же, если нужно, так пойду...

— Да сидите, чего вам выскакивать на холод?— вмешалась Христя, с лукавой улыбкой поглядывая на Григория.— Вы одна-одинешенька, сколько же вам нужно!

— Нет уж, если так, то пойду!

— Сидите, говорю вам. Стала бы я спешить на вашем месте.

— Замолчи, Христя!— цыкнул на девушку Трошук.— Не сбивай с толку, а то урежем огород у нее...

— Ну, так я и пойду, я и пойду, люди добрые! — почти шепотом отвечала Мотря.

Но так-таки и не шла, сколько ни зазывали ее. Тихая, уступчивая на первый взгляд, она упрямылась до тех пор, пока и на самом деле у нее не урезали часть приусадебной земли. Только после этого начала изредка появляться в бригаде. Немало крови попортила она Григорию Сергеевичу и бригадиру Колоброде, а Христя, пока Мотря кланялась и соглашалась на все, знай себе хохотала. Хоть говори ей, хоть не говори — ей было все равно.

— Не слушайте вы их, тетя Мотря, говорю я вам. Сидите! Ох-хо-хо!

— Нет уж, ежели так, то я и пойду. Чего же...

Со стороны это было и смешно, но Трошuku было не до смеха. Он просил, кричал, требовал угомониться, а Христя и ухом не вела. Как же тут не посмеяться над Мотрей, а заодно и над дядей Гришей? И Христя со смехом рассказывала обо всем девушкам и женщинам на своей улице. По ее милости Мотря стала выходить почти в герои. Только мать Ольги молча качала головой. И если бы Христя умела, она прочла бы в ее глазах: «Большая же ты, большая девка, а глупая...»

### Твердая почва

Ежедневно Григорий бывал во всех бригадах и на фермах, проверял, как кормят скот, допытывался, что еще не отремонтировано из инвентаря, следил, чтобы готовили к весне семена, вывозили лес, удобряли поля. И так повелось, что заместителя председателя никто никогда не обманывал. На каждый его вопрос отвечали только правду. Этому он добился не сразу: были среди колхозников и такие, которые вначале пытались было провести Трошука. Но он внутренним чувством угадывал, что тут не все в порядке, и добивался правды.

Летом, когда он еще не работал и ходил повсюду с Дмитриком, заглянули они как-то на поле, где рожь убирали комбайном.

— Потерь нет? Колоски не теряете? — поинтересовался Трошук.

— А с чего бы это мы теряли колоски? — отмахнулся от него помощник комбайнера.

Григорий отошел немного в сторону, начал шаркать подошвами сапог по высохшей земле. Зашелестела стерня. Под ногами то тут, то там качались колоски. Позвав сына, который увлекся машиной, отмерил ему широкими шагами кусок сжатого поля, велел собрать и подсчитать потерянные здесь колоски. А потом пошел навстречу комбайну, остановил его, заставил опустить мотовило и сделать из дерюжки зерноулавливатель.

— Ну что, обманул слепого? — насмеялись потом товарищи над помощником комбайнера.

— Да он, право слово, зрячий. Ей-богу, видит! Хоть немного, а видит...

С легкой руки этого парня так и пошел среди колхозников слух, что Григорий не совсем слепой, что он немного видит, хотя и скрывает глаза за темными очками. Особенно утвердились люди в этой мысли после случая с льноводами. Возвращаясь откуда-то, Григорий заглянул в звено, когда там расстилали лен.

— Товарищи, Докия здесь? — весело спросил он у девушек.

— Нет, ее здесь нет, — ответила Оксана Полищук, нарочно меняя голос.

— А Оксана Полищук здесь?

— Нет, и ее здесь нет, — тем же голосом повторила Оксана.

Женщины и девушки, находившиеся поблизости, притихли, с укоризной поглядывая на дерзкую Оксану: нехорошо насмехаться над таким человеком. Девушка и сама уже опомнилась, покраснела, опустила голову. И вдруг слышит — Григорий смеется.

— Думаешь, ты меня обманула? — Подошел поближе, сверкнув стеклами очков.

Оксана так и присела на стерню.

— Ох, Оксана, Оксана... Может, ты все-таки скажешь, где Докия?

У Григория был острый слух и чуткая память на голоса. Он мог безошибочно узнать, кто из женщин находится в толпе, хотя все они стрекочут вместе, как сороки. Однажды поговорив с человеком, он узнавал его и через месяц и через два, лишь бы тот подал голос при нем. Он сохранял в памяти тончайшие отличия голоса каждого человека и никогда не ошибался. По голосу составлял даже представление о характере человека, и почти никогда не приходилось ему изменять это первое впечатление.

Зимой свой рабочий день Трощук начинал с обхода молочно-товарной фермы. Еще затемно, когда в небе светил ясный месяц и от морозов трещали ветхие заборы, неразговорчивый спросонья, он добирался с девушкой до коровника. Окутанный паром, входил туда через боковую дверь и очищал снег с сапог. Первая дойка начиналась на рассвете. В полутемном помещении, которое освещалось лишь несколькими закопченными фонарями, стоял крепкий дух свежего навоза, пота и сухого сена.

Одни доярки позвякивали подойниками, другие домывали посуду.

— Здравствуй, Марина! — поздоровался Григорий с дояркой, которая притаилась меж коров на низеньком стульчике и почти не дышала.

— Как же вы угадали, что я здесь, Сергеич? — вскрикнула удивленная девушка.

— Вижу тебя, голубушку, вижу — не спрячешься!

— Ну да, видите! За теми стеклами и дном-то, как в погребу...

— Я же сердцем вижу, — пошутил Трощук, наслаждаясь впечатлением, произведенным на доярку. Он знал ее место и почувствовал, что Марина тут.

За полчаса он обходил коровник, здоровался, разговаривал с доярками, животноводами, узнавал, нет ли больных коров, хватает ли кормов, не снижаются ли надои. А затем шел отдавать распоряжения, чтобы на ферму подбросили силосу, сена для стельных коров, чтобы ускорили резку соломы.

Было очень трудно скрыть от Трощука какие-либо неполадки. Он словно бы нюхом чувал, где что случилось. Однажды дед Мирон, убирая в конюшне навоз, нечаянно разбил рукоятью вил окно. Услышав, как звякнуло и посыпалось стекло, старик крепко выругался, остановился и с досадой сбил набекрень свою потертую шапку.

— Тьфу! Криворукий!

Глядь, а во двор идет Григорий Трощук с Христей.

— Ну, как дела, дедушка Мирон?

— Да так себе: курочка бычка родила, поросенок яичко снес, — решил замести следы шуткой дошлый конюх.

Христя захихикала. Григорий, уловив в голосе Мирона тревогу и скрытую лстивость, прошелся по конюшне. Из разбитого окна задувал ветер, сыпал мелкими снежинками. Не выдавая себя, Григорий возвратился.

— Есть и другая поговорка: дело было в долине, жуки деда повалили, шубу сняли, по шее надавали. Вы бы хоть соломой окно заткнули, ежели уж того...

Дед Мирон только рот раскрыл.

— Что жуки! От тебя, Грицько, и комар носа своего не упрячет. Это я только что, нечаянно, рукоятью отвил. А ты уж вон куда загнул...

На морщинистом лице конюха сиял восторг. И кто бы потом ни заходил — чужие и свои — в конюшню, он тыкал пальцем в закрытое дерюгой окно и с бесконечными подробностями, прибаутками и домыслами рассказывал, как его «накрыл» чертов Трощук!

Один лишь Василий Демьянович не очень верил всем этим рассказам. Однажды, в феврале, встретив Григория Сергеевича во дворе, председатель колхоза похвалился:

— Хорошая новость, Сергеич!

— Какая?

— Рудоуправление соглашается подключить нам электричество. В порядке шефства. Кажется, уже и проводку достали. А столбы у нас найдутся. И ямы сами быстренько выроем.

Это действительно была приятная весть. Село, в котором до войны было электричество, теперь было погружено во тьму: здесь освещались каганцами да пятилинейными лампами, к которым трудно было раздобыть стекло и которые без стекол тоже превращались в каганцы.

Григорий расцвел.

— Вот будет жизнь! Всем сразу посветлеет.

Когда Мазуренко с Трощуком подошли к телятнику, уже наступали сумерки. Но тут все еще шла работа. Строители решили отделить внутреннее помещение от входных дверей тамбуром, чтобы на телят не дуло.

Антон Фомич Черняк вместе с плотниками как раз заканчивал работу.

— Добрый день, товарищ! — Трощук прошел с Христей впереди Василия Демьяновича. — Ну, как у вас дела?

— Вроде бы ничего... Доброго здоровья и вам...

В ответе Фомича слышалась какая-то неуверенность.

— А в чем дело? Что-нибудь не так? — сразу же уцепился Трощук.

— Да нет, ничего... Вроде все как следует, — отводя глаза от Мазуренко, снова пробормотал строитель. — Сейчас дверь навесим...

Мазуренко с удивлением следил за Трощуком. Тот, внимательно прислушиваясь к речи Черняка, явно был чем-то недоволен. Подошел к наружной двери. Попробовал закрыть ее. Постучал сапогом о порог, измерил носком, не высок ли он, дотянулся рукой до косяка окна, прорезанного высоко, как и во всех животноводческих помещениях, пробежал пальцами по раме и снова вернулся. От входной двери пошел четким, размеренным шагом к дверному косяку, будто что-то измеряя. Плечом зацепился за косяк.

Плотники молчали, настороженно наблюдая за его движениями. Христя бросилась было к Трощуку, но встретилась взглядом с Мазуренко и отошла в угол. Игнат Руденко с топором под мышкой выжидающе-лукаво поглядывал на худощавого Фомича с его бородкой, стриженной клином. А Антон Фомич почему-то смущенно топтался на месте.

Тем временем Трошук измерил шагами один простенок, потом противоположный. Никто не нарушал длительного молчания. Черняк откинул полу своей шубы, достал из кармана ситцевый кисет и начал сворачивать сигарку. Но делал он это так внимательно, что и Мазуренко, заподозрив что-то недоброе, улыбнулся.

— Ну, Фомич, так и не скажете? — наконец нарушил молчание Трошук.

Плотники зашевелились. Антон Фомич пыхнул сигаркой, прищурил один глаз, окутался целым облаком дыма.

— Не скажете? Игнат Руденко, ты здесь?

— Здесь! — совсем уже не сдерживаясь, сквозь смех ответил широкоплечий плотник.

— Скажи хоть ты, Игнат, ежели Антон Фомич стыдится при председателе колхоза: промахнулись с дверью?

— Промахнулись!

— Ну, так я и знал! Чего же вы сразу не сказали, Антон Фомич?

Бригадир строителей печально покачал головой, не выпуская сигарки изо рта.

— Что уж тут говорить? Сам знаешь, Григорий Сергеевич, и в самом деле неладно... Черт его знает, как я сбился. Заметили, как уже обшили косяк снаружи. Да там ошибка пустяжная... Всего на сорок сантиметров промахнулись. — Старик виновато посмотрел на Василия Демьяновича, который молча, с интересом следил за всем этим, ни во что не вмешиваясь. — Что ж нам было делать? Снова ломать шлакобетон? Оно и так не помешает, думается мне... Вышел промах, чтоб ему пусто было!

— Что не помешает? — подался к нему Трошук. — Как это не помешает? Теперь же в телятник нельзя ни заехать, ни выехать на телеге. Значит, пускай женщины носят корм руками?! А навоз снова будем вилами выбрасывать? Как же это вы, товарищи плотники? Нет, нет, будем обязательно переделывать. А то как же?!

Конфуз получился необычайный. Мазуренко, дослушав Григория, весело засмеялся. Ему, правда, было жаль обескураженного бригадира Черняка, но Трошук удивил его бесконечно.

— Это вам, Антон Фомич, не Самойло Кидь! Тот каждый день тут ходит и не замечает! Правда?

Оставив Трошука с плотниками, Мазуренко вышел из телятника. На дворе начиналась вьюга. Подняв воротник, Василий Демьянович шел и улыбался. Перед глазами у него стоял Антон Фомич в острой шапчонке, в коротковатом полушубке с вытертыми бортами. Борода рыжим клинышком. Маленькие добрые глаза виновато помигивают... Но Трошук, Трошук! Невероятно! Как это слепой мог догадаться, да еще сразу, прямо с налета обнаружить ошибку? Правда, Грицько сам был когда-то строителем, хорошо разобрался в этом деле. Но ведь тут действовала не профессиональная осведомленность, на поиски его толкнуло не только знание дела — речь шла о какой-то трудно объяснимой догадке, о каких-то необычных отношениях между тем, кто спрашивал, и тем, кто отвечал на вопрос. Видно, перед этим чистым человеком никто не может покривить душой, слукавить, а он знает это и умеет пользоваться этим. Поэтому-то ему и удается держаться с такой уверенностью, быть всюду нужным. Другой, даже зрячий, начал бы спрашивать и переспрашивать, что делать, как исправить ошибку, а этот, не колеблясь, не раздумывая, требует переделки. Кто осмелится пойти такому наперекор? А Игнат Руденко, видно, и раньше говорил бригадиру, что так дело не пройдет, потому что сразу же, как только Трошук начал искать ошибку, Руденко заулыбался...

«Нет, нет, это не Самойло Кидь... — все еще улыбаясь, думал Василий Демьянович. — При таком заместителе можно быть спокойным. Этот не подведет».

В среду Григорий Трошук днем возвратился домой злой, раздраженный. Кудлай подкатился было под ноги, но, почувяв, что с хозяином случилось что-то недоброе, сразу же завертел хвостом и бочком-бочком, нагибая голову, поплелся к будке.

Как только Григорий вошел в комнату, с лежанки прыгнул кот и замыкал у двери. Хозяин толкнул его ногой в сенцы, снял и бросил на скамью бушлат и как неприкаянный заходил по комнате. Чтoб она пропала, эта долговязая! Точно овод на нее напал, на эту Христю! Вчера договорились, что перед обедом он придет в мастерскую, чтобы спланировать, когда что делать, а Христя заартачилась. И вот теперь люди будут понапрасну ждать его...

Как только вышли из конторы, Христя заныла: зачем туда, в такую даль, тащиться, разве там и без них не обойдутся?.. Такой холодище, ноги мерзнут, а дядька Грицько с самого утра мотается по всем закоулкам. И пошла, и пошла — подняла крик на всю улицу.

— Не хочу ходить с вами! Ходила, угождала, а теперь хватит! Берите себе кого хотите, а мне эти походы поперек горла уже стоят!

Бухгалтер Алексей Свиридович Горкун как раз шел в магазин.

— Постыдилась бы девка! Люди на тебя смотрят!

Да где уж там! Пуше прежнего взбеленилась Христя. И пусть глаза их повылазят, и пусть они сами водят, а она уже наводилась — ни днем, ни ночью нет ей покоя.

— Не пойду!

И убежала. Бросила посреди улицы и подалась домой, противная девчонка. Что ж теперь делать? Сам он дальше конторы дороги не знает. Кажется, впервые за все время, прошедшее после возвращения из госпиталя, Григорий так сильно злился на свою беспомощность.

Сел на маленькую скамеечку возле сундука и долго сидел в одиночестве, не зная, за что взяться. Быть может, там сейчас Василий Демьянович Мазуренко ищет его, кому-нибудь что-нибудь требуется из кладовой, а он сидит вот, окаменев, с болью в груди. Что же делать?

На крыльце кто-то мелко протопал. Видно, Дмитрик из школы возвратился. Пускай он и проводит к мастерской. Там и ему будет интересно. Токарный, сверлильный станки, разные инструменты.

— О-о, вы дома?! — вскрикнул мальчик и тотчас же метнулся назад. — А там Ольгина мама зачем-то вас спрашивает.

На пороге и в самом деле появилась мать Ольги, одетая по-зимнему, в истоптанных валенках.

— Не будете меня ругать, Сергеич?

В дом к заместителю председателя часто заходили колхозники. Одному нужна солома, другому — чтобы выдали, пока свою привезет с мельницы, муки, третьему — лошадь для поездки в больницу. Ничего удивительного не было и в том, что сегодня к нему заглянула мать Ольги. Но Григорию было больно слышать ее голос. Разве плохо он относился к Ольге? Или работать лишнее заставлял? Нет же. Бывало, как только вырвется часок свободного времени, отправлял ее отдохнуть, помочь матери по дому, по хозяйству, а вечером, лишь войдут в контору, так и говорил, не дожидаясь, пока она спросит сама:

— Ну, иди, Оля. Сегодня кино? Я тут сам справлюсь.

И хотя не мать, а Ольга обидела его, он и к матери не мог относиться по-прежнему. И принесло ее именно в такое время! Ожидал, пока прибежит Дмитрик, — нужно ведь идти.

— Слышите, Сергеич? Я к вам, — мялась женщина, не зная, с чего начать. — Ольга моя плачет на весь дом... Прибежала — и в слезы: говорит, Христя на вас кричит, ругается. А ей подружки проходу не дают.

Говорят — ни стыда, ни совести, бросила дядю Гришу. Комсомольцы от нее отворачиваются...

Женщина и сама шмыгнула носом.

— Может, вы возьмете ее назад?

Григорий не поверил своим ушам. Правда это или ему только послышалось? А за дверью уже слышались топот, суета, смех и выкрики Дмитрия: «Иди! Ну, иди же!..»

Растроганный Григорий бросился к двери.

— Оля!

Через дверь хлынул пар, разостлался низом по комнате, а Григорий, без пиджака, не чувствуя холода, смеялся, звал, чтобы девушка заходила в комнату.

Ольга вошла. В белом теплом платке, в коротенькой черной кофте, в сапожках, маленькая, румяная с мороза, она, стесняясь, стояла у порога.

Григорий Сергеевич не мог успокоиться.

— Пришла, Оля? Пришла?

— Пришла, потому пришла, что Оксана сказала — ей на собрании влетит, — поддел Дмитрик.

Но Ольга ответила:

— При чем тут Оксана? Захотела, вот и пришла. Соскучилась!

Так неожиданно хорошо обернулся для Григория Трощука поступок Христи. О лучшем он и не мечтал. Да и Ольга пережила немало приятных минут. Где бы они ни появлялись с Григорием Сергеевичем, колхозники встречали ее, будто она возвратилась из путешествия, приветствовали добрыми словами:

— Уж эта не побоится ни снега, ни холода. Ожил теперь наш Сергенч!

В начале марта солнце прорвало серые тучи над селом, засияло, заиграло горячими лучами. Снежные сугробы осели, впервые оттаял снег на крышах. Закурились паром завалинки. Зазвенела звонкая капель.

Первыми на пороги домов стали выходить погреться на солнышке коты, умывались, мурлыкали. Куры начали рыться в золе. А голенастые пестухи кричали, предупреждая, когда над двором пролетал ворон.

Вышли на завалинки старые деды и бабы. Подстелив дерюжки, сидели и старческими ладонями прикрывали от солнца глаза. А привыкнув, подставляли свои морщинистые лица под ласковые лучи, что-то бормотали себе под нос, улыбались, вздыхали с облегчением: кончается зима, можно слезать с печки.

По улице от двора к двору ехали сани с высоким ящиком. Остановив лошадей, Оксана Полищук забежала в дом и с порога кричала:

— С солнцем! С весной вас, тетя! Зола есть? Куриного помета собирали?

— Прибежала уже, белозубая! Как ранняя ласточка... — встретила девушку Пивненчиха и, набросив на себя платок, зашла в сарай. Там сохранялась собранная за зиму зола, в уголке лежала куча высохшего куриного помета.

— Ранняя ласточка — к счастливому году! — сверкнула черными глазами Оксана. — Ой, как много у вас!

— Ну да, насобирала, хотя я в звене уже не работаю, — не без гордости подмигнула женщина звеньевой. — Где же твои корзины, в чем носить будем?

Оксана метнулась к саням. Удачный день сегодня! Куда ни заедет, к кому ни зайдет — всюду без отговорок дают удобрение. Только приговаривают:

— Под ленок собирали. Глядите же, растите побольше!

Год от году лен давал колхозу все больше и больше доходов. От этого полновеснее становился и трудодень. Григорий Трошук с Алексеем Свиридовичем Горкуном высчитали, что половину стоимости трудодня дает лен, и теперь по всем бригадам собирали под лен местные удобрения.

От Пивненчихи Оксана заехала к Мавре. Спросила, нет ли удобрения.

— Какие у меня куры... — сложив руки на животе, начала Мавра Кирилловна. — Были когда-то, а теперь на налог сдала, да и продала... Золы немножко сохранилось.

— Ой, тетка Мавра, как погляжу я на вас... — набирая в корзину золы, поддела ее Оксана. — Руки у вас в колхозе, а сердце — в приусадебном хозяйстве! Когда только уж вас перевоспитают! Противно слушать! Бегите поскорее, выгоняйте кур из хаты!..

Мавра Кирилловна всплеснула руками. А, чтоб они подошли, как только оставишь дверь неприкрытой, сразу же набиваются в сени.

— Киш! Киш! Киш-ш!

Целая стая белых, желтых и рябых кур, кудахтая, вылетала во двор. Оксана стояла и смеялась. Уже уходя со двора, кинула:

— Просчитались, тетка Мавра! Теперь за каждый центнер птичьего помета пишут по пять трудодней!

— Да что ты говоришь?

— То, что вы слышите!

Мавра начала что-то кричать, зазывать девушку снова к себе во двор, но Оксана не оглянулась. Щелкнула кнутом.

— Несите теперь сами на склад! Вы здоровая, осилите.

Окруженная курами, Мавра запричитала.

Да пусть он сгниет, этот помет, чтобы она тащила его на склад! Видели какая! Пять трудодней дают! Это все Трошукковы выдумки. Ясно, никто не хочет нести бесплатно. Да почему бы и не отнести? Тут столько хлопот с этой птицей, а они хотят на даровщинку! Где ты взялась со своими трудоднями? Да хотя бы сразу сказала, а то набрала золы, да еще и подзуживает... Что это на свете белом происходит? Никогда не поймешь, как лучше сделать. Думала, свой огород удобрить всем пометом — и картошка и баклажаны лучше будут, а теперь... Тьфу! Так Оксана хочет, чтоб у тетки Мавры пропали трудодни? Нет, дудки, девонька!

— Анто-о-он! Анто-он! Иди-ка сюда, меня тут каждый норовит обмануть, а ты и глаз не продерешь!

Антон и в самом деле вышел во двор заспанный, против солнца и глаз не раскроет. Стоял, тер ладонью лоб, щеку, подбородок.

— Бери-ка мешок, там на жердочке в сенцах, да и набирай помет. Отнесешь на склад. По пять трудодней дают. Да смотри мне — взвесь, а то обманут.

Возле склада Антон повстречал Григория Трошука. Ольга удивленно спросила:

— Чего это вы, дядька Антон, на собственном горбу помет несли, если его по всему селу на санках собирают?

— Разве к вам не заезжали? — забеспокоился и Трошук. — Было же сказано, чтобы ко всем заезжали.

— А может, и заезжали. Сто чертей с моей жинкой не совладают. Самого тащить заставила. Взвешивайте, записывайте трудодни. Фу-у-у! Вот и трудовую книжку дала.

Однорукий невысокий кладовщик, прикинув мешок на весах, что-то записал себе в книжечку.

— Контора в конце месяца занесет в трудовую книжку.

Антон Федорович взмолился.

— И не говорите, и не говорите, Сидор Петрович! — К вспотевшей голове прилипли редкие волосы, капли пота стекали по давно не бритым



шекам. — Она меня съест! Без соли съест! Вот свою книжку дала. Говорит: это же в минимум засчитается. А то каждый придирается к ней, что мало трудодней выработала.

Кладовщик, Ольга и Григорий рассмеялись. Нужно было выручать Антона-горемыку.

— Запишите ему, сколько там вышло, — велел Трошук кладовщику. — Да покрупнее выведите: «За птичий помет».

Уже Антон Федорович вышел из кладовой, а Ольга все смеялась:

— Съест! Без соли съест!

### Яблоневый цвет

И вот пришла весна. После зимнего сна пробуждалась земля. Все живое радовалось яркому солнцу, дышало полной грудью.

Рано утром неразлучные Трошук и Ольга вышли к загону. Двери всех животноводческих помещений были раскрыты настежь. Животноводы ходили с вилами, подбирали навоз. В загородке, оттопырив уши, задрав хвосты, грелись на солнышке худые, но чистые телки.

Трошук подошел к загородке, положил руку на перекладину, прислушался. В это время из коровника выпустили еще десяток телят, и они, радуясь теплу и солнцу, начали метаться по загородке. Красный телок с белым пятном на лбу с разбегу подбежал к Трошуку, остановился.

— Григорий Сергеевич! — К Трошуку подошел кладовщик. Он был в байковой рубашке. Пустой левый рукав заправлен за солдатский пояс. — Что, наведались к молодняку? Хороши телята! Тут вот Колоброда просит овса. Можно выдавать? Он говорит — завтра сеять начнет.

Григорий повернулся к кладовщику. Прислонился спиной к ограде. Теленок еще немного постоял, потом потянулся к пиджаку Трошука и, ткнувшись мокрым носом, начал деловито жевать его. Не оглядываясь, Григорий протянул руку назад. Теленок отступил, но сразу же снова потянулся шершавым языком к руке.

— Э-э-э, скотина и та ищет ласки! Пригревает! Ну так что же, Петрович, можно и овес и ячмень выдавать. Скоро и монтеры придут за лампами. Я выписал требование у Горкуна, пускай возьмут.

Городские шефы сдержали свое слово. В Песчанке полным ходом шли работы по электрификации. Монтеры рудоуправления поставили на выгоне новую трансформаторную будку и уже заканчивали проводку. Столбы электросети разбегались по всему хозяйственному двору. Повсюду белели на солнце чашечки изоляторов, сверкал на солнце натянутый, как струна, желтый провод. Электрический свет в селе должен был вспыхнуть к ленинским дням. Пройдет еще немного времени, и над Песчанкой снова, как и до войны, засияют яркие электрические огни. Он так любил раньше наблюдать, как темной ночью над селом разливается золотистое зарево...

Разговаривая, Григорий и Ольга пошли через двор по сырой, но уже просыхающей земле. Возле птицефермы они невольно замедлили шаги. Штук полтора петаухов подняли такой разноголосый крик, что даже в ушах зазвенело. Один еще не кончал, а другой уже начинал, потом пели все вместе, долго, протяжно.

— К дождю! — пожелал Трошук. — Вишь, как завели!

Миновали старую, облезшую за зиму избушку, в которой была расположена кормокухня. Ольга уже сворачивала к трансформаторной будке, как вдруг услышала сзади чей-то испуганный крик.

Оглянувшись и оторопела. От коровника, мотая оборванным поводком, прямо на них бежал огромный черный бык Гапон. Ошалев от неожиданной свободы и хмельного весеннего воздуха, бугай крутил рогами, несся тяжелыми прыжками, разбрасывая куски мокрой земли.

— Гапон! Гапон! Чтоб ты пропал! — причитал перепуганный скотник Харитон Рипчак, бежавший с палкой наперерез ошалевшему быку. Он орал изо всех сил:

— Гапон!.. Убегайте! Гапон!..

А разгоряченный бугай, весь в хлопьях пены, бежал прямо на Ольгу и Трощука.

Григорий окаменел. На лице его выступили желваки. Почувствовал, как на локте у него задрожала рука Ольги, сделал шаг вперед. Но девушка — откуда только сила взялась! — отдернула его за руку, толкнула за угол дома. Не помня себя, дрожа от ужаса, она крикнула и замахала на быка руками.

Рипчак, едва не растянувшись на земле, швырнул в бугая свою огромную палку. Дубина, со свистом разрезав воздух, ударила Гапона в морду. Бугай взревел и осел на задние ноги. Ольгу словно ветром смело. Она бросилась за дом, потащила Трощука дальше.

А Гапон с разгону всем корпусом наскочил на стог сена, стоявший возле кухни, и через минуту на том месте бился лишь черный вихрь пыли.

— Дядя Гриша! Ой, дядя Гриша! — Ольга, дрожа, прикинула к Трощуку. Она прерывисто всхлипывала. — Проклятый Гапон!

Потом сквозь слезы улыбнулась:

— Ох, я же испугалась!.. Чтоб он сдох!

Ольга стала уводить Григория Сергеевича подальше от места приключения. А он шел рядом с ней и, не зная, что сказать девушке, пораженно бормотал:

— Ну и Оля!.. О-ох же, Ольга! Какая ты!

Под вечер две бригады получали свои семена, а Михай Свиридович Коркушко только теперь спохватился, что у него не хватает мешков. Прибежал к кладовой, раскричался. Как раз в эту минуту здесь появился Трошук.

— Что вы кричите? Вот уж, казалось бы, из хозяев хозяин, а все у вас наскоро: на охоту ехать — собак кормить. А где вы были раньше?

— Там, где и ты! — взорвался дед. — Почему ты меня спрашиваешь? Ты или я должен был о мешках позаботиться?

— Так что ж я буду бегать за вами! — рассердился Григорий. — Каждый день спрашивал, кому что нужно.

— А то ты не знаешь, что мешков у нас всегда не хватает?

Чтобы не было перебоев с доставкой семян к тракторам, каждая полевая бригада имела по три комплекта мешков. Пока из одного заправляли сеялки, в другом везли семена в поле, а мешки третьего комплекта тем временем заполнялись зерном в кладовой. При таком порядке и тракторы не простаивали и меньше тягла приходилось выделять для их обслуживания. Другие бригады старые мешки залатали, а недостающие пошили из дерюг. Михай Свиридович не сделал этого вовремя, и теперь, по старой привычке, искал виновного, кричал, угрожал.

— Хватит, Михай Свиридович! — одернул его Трошук. — Из крика мешков не сошьешь. Нужно просить у людей.

— Как бы не так! Наш отец никому не должен — у кого займет, тому отдаст. Что же, теперь я должен идти кланяться? Иди сам, если ты такой умный!

Михай Свиридович принялся кланяться Трощуку. Кладовщик, девушки, которые насыпали семена, Ольга — все начали смеяться. Открылось окно и в конторе, и оттуда высунулись головы двух девушек-учетчиц в черных, будто шитых по одной мерке, жакетках и белых платочках. Они облокотились на подоконник и тоже начали смеяться звонко и весело.

Старый Коркушко сообразил, что хватил лишку, шмыгнув носом, стрельнул колючими глазами на кладовщика и отошел немного в сторону.

— И что хохочете? Устроили концерт...

Старику было не по себе. Напустился ни с того, ни с сего на Трощука, да еще и при людях. Коркушко откашлялся, затоптался на месте.

— А ты бы посовестился, Григорий Сергеевич! Ведь мне уже шестьдесят пятый пошел. Всего не упомнишь...

Но выходка бригадира сильно смутила Трощука. Действительно, он таки дал маху с этими мешками. Можно ведь было в Житомире с полсотни купить, если бы вовремя узнал, что их не хватает. Да еще и на старика навалился. Люди скажут: с больной головы на здоровую.

Шел от кладовой, никак не мог успокоиться. С самого начала мешков не хватает. Дед Михей был прав, но кой же леший виновен в этом? Чуть что понадобится, сразу же в кооперацию тянутся. Конюх и тот дожидается, пока ему кнут купят в магазине. Когда-то каждый хозяин имел на огороде грядку конопли. И веревку совет и постромки сплетет. Случалось, шили мешки и из крапивы. А теперь, вишь, дед Коркушко кричит...

К вечеру небо затянуло тучами. Стало накрапывать. Григорий поднял лицо вверх, поймал на губу свежую каплю, глубоко вдохнул воздух.

Вокруг все притихло. Только на чердаке у кого-то ворковали голуби. Вдруг с юга потянуло теплом, и хлынул первый весенний дождь. Ольга вскрикнула и побежала к конторе.

— Сюда, сюда скорее, дядя Гриша! — весело подала она свой голос.

А Григорий шел медленно, всем телом чувствуя тепло, которое разливалось вместе с дождем, с радостью ощущая, как намокают плечи, колени. Он словно бы слышал, как теплая земля с жадностью пила и впитывала влагу. Гимнастерка сразу же прилипла к спине, с картуза потекла вода за ворот. Григорий вздрогнул и тоже в тон Ольге весело засмеялся.

— Ох, и хорошо же! Ах, словно бы по заказу — дождь перед севом... Ну, я пойду домой, а ты, Оля, отнеси Василию Демьяновичу почту. Я завтра найду к нему.

И, осторожно пройдя к воротам, привычным шагом зашагал домой.

Дмитрик был дома. Переодевшись, Григорий посадил сына писать письмо под диктовку. Мальчик с радостью согласился. Ему и самому было интересно, о чем же это отец будет писать в Москву. А тот стоял перед столом какой-то необычный, будто даже немного опечаленный.

— Дорогая Мария Павловна! — начал он наконец и вздохнул. — Настало время, когда я уже могу приехать к вам...

Хотелось рассказать о многом, но письмо получилось кратким. Сообщая о том, что он скоро приедет, Трощук просил передать профессору Колину, что согласен на любую операцию, что чувствует себя хорошо. Очень надеется, что на этот раз ему повезет. О своей работе в колхозе обещал рассказать по приезде.

Долго думал, как подписать письмо. Хотелось в конце сказать что-нибудь теплое, душевное, но произнес только фамилию да попросил еще написать инициалы «Г. С.». Потом, немного подумав, приказал твердым командирским тоном:

— Дopiши: бывший старший лейтенант.

Итак, поездка в Москву решена. Но Григорий должен был еще провести сев. Мазуренко в последнее время снова болел, и, хотя уже начал выздоравливать и вставать с постели, эта хлопотная работа была ему еще не под силу.

Сеять выезжали в пятницу, в полдень. С утра Григорий обошел все бригады. Все уже было наготове. День стоял ясный, теплый. На голых ветвях осокорей, сбрасывая на землю сучья, кричало воронье.

Михей Свиридович Коркушко озабоченно бегал по двору, отдавал последние распоряжения, когда Григорий подошел к нему. Возле склада для горючего раздавался голос Никодима Бородки: там втаскивали на телегу железные бочки с керосином и автолом.

— Боком, боком! Осторожнее! — кричал Никодим. — Вот та-ак... Осторожно. Да осторожно же, говорю!

— Ну, кажется, все! — потихоньку, словно бы самому себе, доложил Григорию дед Коркушко. — Можно и трогаться.

Какое-то неуловимое мгновение было тихо. А потом вдруг заревели моторы тракторов, послышались сильные выхлопы, мощный грохот.

С бригадного двора выехали возы с семенами, с боронами, сверкавшими на солнце острыми зубьями. А через минуту вслед этому обозу двинулись тракторы с сеялками. Застучали окна в домах. Из всех переулков высыпала детвора. Босоногие, без фуражек, мальчишки окружили машины, девочки в легких платьицах и платочках стояли немного в стороне, с интересом рассматривая выезд. Женщины, сложив руки на груди, что-то кричали трактористам, смеялись. Старые деды и те, с палками, еще в шубах, но уже без шапок, выходили на солнечную сторону, провожали сеятелей.

Михей Свиридович Коркушко, Григорий и Ольга шли следом за тракторами. Щеки Трощука пылали. Почти не чувствуя Ольгиной руки, он шел прямым, твердым шагом. Настроение дяди Гриши передалось и Ольге — она семенила рядом с ним в сапожках с короткими голенищами, радостно сверкая чистыми и ясными, как сегодняшнее весеннее небо, глазами.

Со всех дворов махали руками, что-то кричали. Вот Оксана выбежала прямо на дорогу, ветер развеивает ее черные волосы. Увлеченная, подскочила к переднему трактору, что-то крикнула трактористу. А вот Пивненчиха у своего плетня.

— Мария, твой муж сегодня все село поднял! — крикнула она, обращаясь к хмурой, щупленькой соседке, которая тоже подошла к плетню. — Смотри, смотри, Никодим перед тобой фуражку снимает!

— Ну да, передо мной! Рад, что из дому удирает на все лето! Насиделся за зиму. — Мария и на этот раз осталась верной себе.

Но Никодим Бородка, уже давно миновав свой двор, все еще поворачивался назад и махал жене фуражкой, улыбаясь и кланяясь. И это покорило Марию. Она не выдержала, уголки губ у нее дрогнули, оживились глаза.

— Поезжай, поезжай, ишь, вежливый!

За селом тракторы разъехались во все стороны и, расстилая сизый дым над черной просохшей землей, проложили по ней первую борозду.

Михей Свиридович Коркушко остался на меже с Григорием Трощуком, снял шапку.

— Поздравляю с первой бороздой, Сергеич!

Григорий стоял лицом к полю, широкоплечий, коренастый. Его озаренное солнцем лицо счастливо улыбалось. Он все чувствовал: как отдохнувшая за зиму щедрая земля освобождается от дремоты, покрывается первой нежной зеленью весны, как струится над пахотой нагретый воздух, слышал, как в небе зазвенели жаворонки.

— Как там Мазуренко? — спросил Коркушко. — Что-то давненько его не видно. Впервые без него начинаем сев. Такая славная пора наступила, а он болеет...

Трощук ежедневно бывал у председателя колхоза. Докладывал, что и как делается в хозяйстве, выслушивал советы Василия Демьяновича.

Задыхаясь, Мазуренко жаловался. Это война ему боком выходит. Бывало и холодно и голодно. Сколько пришлось исходить лесных дорог, лесистых яров. Водил за собой отряд партизан — красных мстителей — и по речкам и по болотам. А теперь вот ноги набрякли, как бревна.

— Сердце. Нечем дышать, и все тут! — сетовал, тяжело дыша. — Ох, старость, старость... Кто ее выдумал! Живет себе человек, живет... Не успеет и оглянуться, в бороде седина, в груди хрипота. А ведь никому

не хочется стариться. Мой отец, бывало, когда у него спрашивали, сколько ему лет, отвечал: «Когда крестили, не помню, а когда родился, и вовсе забыл».

Ольга, сидя в ногах у постели больного, засмеялась. Василий Демьянович, весь обложенный подушками, подмигивал ей, лукаво прищуривая глаз. Старого председателя беспокоило одно: на отдых пора, а колхоз некому передать.

— Тут нужны крепкие плечи,— как бы извиняясь, хрипел он.— Все село, сколько людей... И о каждом нужно позаботиться. Ты, сказывают, в Москву собираешься?

— Еду, Василий Демьянович. А вы не выдумывайте про старость. Отдыхайте, не беспокойтесь. Набирайтесь сил. Сеем мы хорошо: на втором месте в районе. Вас на Доску почета занесли, в газете о вас написали.

— А я вот на кровати сею, аж пыль столбом идет! — откликнулся Василий Демьянович.— Передай Никодиму, что не мою фамилию нужно было напечатать, а его. Так говоришь, хорошо трактористы сеяли? Благодарность надо бы объявить хлопцам! Да во всех бригадах объявить. Людей больше хвалить нужно. Они тогда лучше работают, скорее обо всем плохом забывают. Собери, Сергеич, правление. Да сам не очень того... видно, и днем и ночью на ногах? Ольга, хоть ты его сдерживай. А то дядя Гриша, как молодой конь, еще на ноги припадет.

И засмеялся, как добрый отец: почему же это она до сих пор не сказала ему, как спасала дядю Гришу от Гапона?

— Я бы тебе, девка, медаль за это выдал!

Ольга зарделась, не знала, куда и глаза спрятать. Сидела, покусывала белыми зубками уголок платочка. Она уже и позабыла об этом приключении, а Василий Демьянович выдумывает, будто в селе только об этом и разговор идет.

Василию Демьяновичу вскоре стало лучше, он вышел на работу. А тут как раз из Москвы пришла Григорию Трощуку долгожданная весточка от Марии Павловны.

Присев на крылечко у конторы, Ольга читала письмо медленно, поученически, и Григорию казалось, что он слышит голос самой Марии Павловны.

— «Мы теперь почти ежедневно выписываем людей, — читала девушка. — Профессор Колин беспокоится, ждет вас с нетерпением. Говорит, что считает себя в долгу перед вами. Надеется, что все будет хорошо. Только вы поскорее приезжайте. Мы вас очень ждем». Дядя Гриша! Так они вас вылечат? — вскрикнула Ольга, и письмо задрожало у нее в руках. Она смотрела на Трощука уже совсем другими глазами. Ей представлялись вместо темных очков его живые, паверно насмешливые, глаза.

— Может, один глаз и вылечат... А второй... — Григорий тихо покачал головой.

Из-за угла конторы неторопливо вышел Мазуренко.

— Что это вы забрались ко мне под окно и гудите здесь? Вишь, пригrelись на солнышке! Сидел, слушал-слушал и не удержался: что это вы тут читаете?

Григорий рассказал.

— Поезжай, поезжай, — забеспокоился Василий Демьянович. — Возвратишься — я тебе такой пир на радостях закачу, что... А-а-а! — махнул старик рукой. — Ну, а с кем же ты поедешь? С Ольгой?

— Ой, что вы, что вы, Василий Демьянович! Разве я найду там дорогу?

Ольга покраснела, опустила голову. Такой уж этот дядя Василий Демьянович: всегда что-нибудь как скажет, как скажет... Будто некого послать из старших, которые дорогу знают...

Ей и в голову не приходило, что придется ехать в Москву. Но Трощук

сразу согласился. Он поедет с Ольгой, если Василий Демьянович разрешит. И самому легче будет, потому что привык к ней, да и Ольга свет повидает.

Девушка замахала руками. Смеялась, отказывалась, а у самой даже голос срывался от радости.

Весь день Григорий ходил с ощущением того, что находится дома последние минуты. Радостно билось сердце. Разговаривая с людьми, он не мог скрыть своего настроения, смеялся, шутил. И все еще больше удивлялись тому, что ходит он так свободно, непринужденно, будто темные очки только прикрывают большие глаза.

— Ну, Ольга, милая моя, иди, собирайся! Завтра трогаемся.

— За-автра?

— Ну да, завтра, завтра! Теперь уж откладывать нельзя. Иди!

Думая о Москве, о предстоящих встречах, Григорий пришел домой. Там Докия что-то готовила, чем-то был занят Дмитрик. Несколько раз он обращался к отцу, но Григорий, отвечая, все прислушивался к тому, что происходило с ним, что творилось у него внутри. Всеми мыслями, всем сердцем, всей душой он был уже в Москве. Слышал шум большого рабочего города, звон трамваев, гудки машин, свистки милиционеров, которые всегда как-то очень резко слышны были там, на втором этаже госпиталя. Казалось, Мария Павловна снова, как и тогда, когда они вместе шли к профессору Колину, поспешит впереди него, часто дыша, оглянется, дернет за борт халата, обдаст щеку горячим дыханием.

С сигаретой во рту Григорий вышел на крыльцо. На дворе было хорошо, тепло. Воздух такой, что надыхаться невозможно. Охваченный радостными мечтами, он долго сидел, пока совсем не стемнело. В комнате Докия напевала песню под радио... Голос у нее сохранился хороший. А как чудесно пела она, когда была девушкой!

Григорий вздохнул. На сердце было хорошо и немного тревожно. Он вздохнул еще раз, глубже, и уловил смутный свежий запах, еще неясный, но такой, в котором словно бы таилась вся сила жизни.

— Докия! Слышишь, Доня! — с удивлением и радостью вскрикнул он, поворачиваясь к сенцам. — Доня!

Докия подошла к освещенному окну, наклонилась к подоконнику. Григорий слышал, как стукнула ставня.

— Яблони цветут! — радостно сказал он.

Докия обеими руками схватилась за подоконник. Старая ветвистая яблоня, которая стояла под окном, была освещена светом, лившимся из комнаты. Все ветки были в набрякших почках, из которых выбивались только первые клейкие свернутые листочки.

Сердце Докии больно сжалось. Что ответить ему?

Григорий хотел порадовать ее, а на яблоне еще ни единый цветок не забелел. Выдумывает он, прикидывается зрячим!

Пока Докия закрывала ставню, Григорий лег в постель и очень быстро уснул. Он не слышал, как, горько вздыхая, легла жена, как переворачивалась она с боку на бок и долго не могла сомкнуть глаз.

Утром Григорий пошел в степь. После ночного дождя всюду стояли лужи, и в них играло, переливалось яркое солнце. Золотистые лучи искрились в свежей зелени деревьев, рассыпались в росистой траве. Воздух звенел от веселого птичьего щебета. Разомлевшая земля дышала, как женщина после родов. Чувствуя себя свободно и легко, Григорий росистыми тропинками вышел на опушку леса. Под старым дубом залегла прохладная тень от его могучих ветвей. А вокруг глубокая тишина.

Потом издалека донеслась музыка. Кто-то запел: «Ой, літа орел». Молодые голоса нарастали, поднимались, звучали ярко и полно, бились под зеленой стеной очарованного леса. Песня врывалась Григорию в душу, влекла его, и он с удивлением и счастьем увидел, как заволновалось у

него под ногами зеленое поле. Оно перекатывалось из края в край, изменялось, переливалось изумрудом, сбегало ручьями к лощинам. И чем больше росли волны, тем все более зрелым и зрелым становилось поле, а затем все вдруг выбросило колос, зазолотилось от леса до самого села.

Среди многих поющих голосов Григорий слышал и свой голос. Да, да, это он поет. Вместе со всеми поет свою любимую песню, которая манит, влечет его туда, дальше, в поле, где созрел урожай, где под ветром разливается золотое море пшеницы.

«Где я? Что со мной?» — думалось Григорию. Живая крупноколосая пшеница покачивалась и наплывала на него. А вокруг все цвело и пело.

Но вот посреди этого поющего поля, раскинувшегося перед его глазами, появилась Докия. Белолицая, красивая, с косой через плечо, в вышитом платье, она плыла в степном мареве навстречу Григорию. Глаза ее смеялись. Жена показывала ему в сторону села, которое выбежало на пригорок всеми своими белыми домиками. Село стояло таким, каким он видел его всегда в своих заветных мечтах. Вон там, возле конторы, возвышается двухэтажная школа под красной крышей с широкими окнами. А дальше, над высокими шпилем, развевается красный флажок — это детские ясли; еще дальше — новый клуб; светлые, просторные дома, хозяйственные строения под шифером...

На мгновение музыка притихла. Сильнее прилегали стебли пшеницы. И Григорий Трошук увидел, как его со всех сторон окружают люди. В праздничной одежде, с радостным лицом идет Василий Демьянович. За ним в соломенной шляпе шагает красный, круглолицый дед Коркушко с мохнатыми бровями и кучей бородкой. А дальше — едва ли не все колхозники-односельчане: Игнат Руденко, Петр Колоброда, Оксана Полищук, Петро Иванович, Ольга, Никодим и много, много людей... Среди них ласково и доброжелательно улыбнулась Мария Павловна в своем белом хрустящем халате. Он было потянулся к сестре, но кто-то окликнул его, взял за руку. Григорий оглянулся. Это был Семен Михайлович Ищук, он шел по грудь в пшенице, ласково прижимал к себе ее буйные колосья и звал, звал за собой Григория.

От этого голоса Григорий и проснулся.

Докия только что встала. Босиком она подошла к окну, толкнула раму. Стукнул о стену железный болт. Открылись ставни. В глаза женщине ослепительно ударило солнце. Весенний воздух дождил в лицо, защекотал в ноздрах. Докия закрылась от солнца рукой. А когда открыла глаза, так и ахнула: яблоня зацвела.

— Гри-ша! — радостно позвала Докия. — Яблони цветут! Вставай!

Вся освещенная солнцем, она обернулась к мужу.

Григорий отбросил одеяло, вскочил, подошел к Докии и улыбнулся ей. А перед глазами все еще был привидевшийся ему во сне яркий солнечный день, волнующаяся пшеница, затопившая село золотыми волнами, и люди, с которыми он шел вперед и вперед по необозримому полю.

После завтрака, за которым Василий Демьянович вместе с отцом Григория и Докией выпили по чарке вина на счастливую дорогу, Григорий Трошук и Ольга выехали на станцию.

Докия, Дмитрик и Василий Демьянович вышли на улицу, к машине, и еще раз простились с ними.

— Возвращайся здоровый, — шепнул отец, глядя из-за плетня вслед отъезжающему сыну.

Ветер шевелил на его голове седые волосы и гнал на глаза слезы.



---

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

## РОССИЯ

Россия, ты меня учила,  
чтобы не знал потом стыда,  
дрова колоть, щепать лучину  
и ставить правильно стога,  
ценить любой сухарь щербатый,  
коней впрягать и распрягать  
и клубни

надвое  
лопатой,  
сажая в землю,  
разрубать...

Все поднимала, выносила,  
надеждой чистою дыша,  
твое спасение и сила —  
твоя рабочая душа.

Какие вложены заботы,  
какие вложены труды  
в твои колхозы и заводы,  
и в самолеты и сады.  
Ты на жнивье детей рожала —  
с измученно-счастливым ртом.  
Трудом сражения решала  
и заглушала боль трудом.  
И что бы ни происходило,  
какая б ни была беда,  
ты молча сталь производила  
и возводила города.

Россия, ты меня учила —  
и в юных и в иных летах  
упрямым быть, искать причины  
того, что плохо, что не так,  
и свято поклоняться праху,  
и свято верить в молодежь,  
и защищать по-русски правду  
и бить по-русски в морду ложь...

Но ты меня еще учила  
всем скромным подвигом своим,  
что званье «русский» мне вручила  
не для того, чтоб хвастал им.



А чтобы был мне друг-товарищ  
будь то поляк или узбек,  
будь то еврей или аварец,  
коль он хороший человек.

Ты никого не оскорбляешь, —  
как совесть, миру ты дана.  
Добра Америке желаешь,  
желаешь Франции добра.  
Не для войны ты строишь зданья,  
ракеты, фабрики, мосты —  
ведь не для нового страданья  
коммуну выстрадала ты!

Благодарю тебя, Россия,  
за то, что строю и пашу,  
за буквы первые косые,  
за книги те, что напишу.  
Наградой сладостной и грустной —  
я верю — будет мне навек,  
что жил и умер я, как русский,  
рабочий русский человек.



## ПЛАТОН ОЙУНСКИЙ

(1893—1939)



# СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Выдающийся якутский поэт Платон Алексеевич Ойунский был одним из организаторов и первых руководителей Советской власти в Якутии. Он был заместителем председателя Совета рабочих и солдатских депутатов Якутска, руководителем Комиссии по установлению Советской власти в Якутии, председателем Якутского губревкома, первым председателем Якутского ЦИК.

П. Ойунский — член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР первого созыва, делегат X съезда партии, участник Первого съезда писателей СССР, где был избран членом правления, был председателем правления Союза писателей Якутской АССР.

Начало революционной деятельности П. Ойунского относится ко времени его участия в подпольном марксистском кружке, организованном в Якутске ссыльными большевиками Ем. Ярославским и Г. И. Петровским. Примерно в этот же период начинается и его литературная деятельность.

В 1917 году по заданию Ем. Ярославского он переводит на якутский язык текст революционного гимна «Интернационал». Написанное в это же время стихотворение «Песня рабочего», переложенное на мотив «Марсельезы», стало любимой массовой революционной песней якутского народа. Народными песнями становятся также стихотворения «Песня свободы», «Да восторжествует слава». Широко известны в Якутии стихи: «Железный конь», «На смерть вождя», «Благословенные отца», «Власть Советам!», «Заветы орла» и другие.

Проникнутые революционным пафосом, политически острые, целеустремленные, эти стихи вызвали чувство ненависти к врагам якутского народа, верность революционным принципам, идеям большевизма.

Лирика П. Ойунского, так же как и его революционные стихи, насыщена гражданскими мотивами. Воссоздает ли поэт картины пробуждающейся природы родного края, передает ли свои впечатления от впервые увиденного Черного моря, крымского пейзажа, он остается самим собой — революционным поэтом, для которого главное — это завоевания революции, которые никто у народа не отнимет. «Сил, уверен я, нет, что могли бы затмить воли свет, погасить до конца, навсегда этот пламень, обнявший все небо собой» («Жаворонок пел...»). Большой популярностью пользуются лирические стихи П. Ойунского «Море», «Крым», «Мимоза» и другие.

Значительным поэтическим произведением П. Ойунского является его поэма «Красный шаман», которую он создавал в течение восьми лет. В этой поэме поэт обращается к далекому прошлому своего народа. При всей спорности метода, которым поэт здесь пользуется, — модернизация, придание главному герою некоторых не свойственных ему черт, — поэма эта привлекает к себе ярко выраженным свободолобием, сочувствием к угнетенным, ненавистью к угнетателям, поэтической выразительностью, точностью и музыкальностью стиха.

П. Ойунский много и плодотворно работал над переводами произведений русских классиков (Пушкина, Жуковского, Крылова). Переводы эти обогащали якутскую поэзию, приобщали широкого якутского читателя к художественной культуре великих мастеров слова.

На якутский язык переведены П. Ойунским стихотворение «Партбилет № 224332» А. Безыменского и ряд других произведений советских авторов.

Используя традиции русской классической литературы и устной поэзии своего народа, П. Ойунский создавал новую, революционную якутскую поэзию, политически актуальную, идейно насыщенную, поэтически своеобразную. Являясь новатором также в области якутского стиха, П. Ойунский ввел в него размер и рифму (до него якутские поэты пользовались формой устной народной поэзии, не знавшей ни строгого размера, ни рифмы).

Наряду с поэтическими произведениями П. Ойунский писал пьесы, повести и рассказы. Многие из них написаны на современные темы. В пьесе «Большевик», в рассказе «Никус-помешанный», в повести «Выход из тины» и других П. Ойунский одним из первых в якутской литературе создал образы советских людей — участников революции, гражданской войны, коллективизации.

В своих прозаических произведениях П. Ойунский, так же как и в поэзии, часто обращался к прошлому своего народа, к его многовековой истории. Используя исторический материал, он создавал образы, созвучные революционной эпохе. В центре повести «Улуу Кудангса» — образ смелого, мужественного родового вождя, защищающего свое племя в трудные дни его жизни и готового бунтовать против воли «всемогущих» богов. На сюжет народного предания написана одна из лучших его повестей — «Николай Дорогунов из долины Лены».

Якутский народ имеет богатейшее устное народное творчество: сказки, песни, легенды, предания. Среди них особенно выделяется героический эпос «олонхо». Произведения народного эпоса записывались и издавались много раз, но в литературе не было целостного сводного текста олонхо, объединяющего многообразие сюжетов народных сказаний. П. Ойунский внес огромный вклад в сокровищницу культуры своего народа. Литературно обработав большое олонхо «Нюргун-Боотур Стремительный» (размером около 36 тысяч стихотворных строк), он создал при этом целостный поэтический текст. Этот творческий успех явился результатом многолетнего труда поэта, сочетавшего в себе мастера поэтического слова и выдающегося знатока и исследователя народного творчества. По своему культурному значению этот труд П. Ойунского может быть приравнен к труду Эл. Лёнрота, создавшего целостный текст карело-финского эпоса «Калевала».

**И. Пухов,**

*кандидат филологических наук.*

\* \* \*

Ниже мы помещаем стихи П. Ойунского, написанные им в разные годы.

### ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ

В немоте и мраке ночи,  
 Неподвижной, непробудной,  
 Словно горный кряж чернея,  
 Силой пара напрягаясь,  
 Жарким пламенем дыша,  
 Паровоз тысячесильный  
 Часто-часто застучал.  
 На стальных упругих рельсах  
 Величаво возвышаясь,  
 Зашипел горячим паром,  
 Задышал со свистом шумно,  
 Ночи тишину прорезал  
 Звонким ржанием своим;  
 Дал немного  
 Задний ход  
 И рванул  
 Состав вперед,

Задрожал, скользнул по рельсам  
 И пошел, шипя, пошел...  
 Задышал  
 Все чаще, чаще,  
 Заклубил белесым паром,  
 Вспыхнул он  
 Огнем зеленым,  
 Вспыхнул алыми лучами —  
 Всю окрестность озарил.  
     И железные суставы  
     Многотонных лап округлых,  
     В такт похрустывая мягко,  
     Не ослабли...  
     Бег упруге,  
     Только слышно пенье рельсов.  
 Конь заржал еще протяжней,  
 Чтоб открыли путь ему.  
     В страхе перед мощным бегом,  
     В темноте —  
     С пугливым криком —  
     Ворота ему открыл,  
     И из мрака душевной ночи  
     Кто-то яростно кричал:  
         «Ночь темна!  
         Куда спешите?  
         Придержите  
         Грозный бег!»  
 В этом мраке неподвижном,  
 Что стоял болотом черным,  
 Грудью мощной конь железный  
 Распахнул в просторы путь.  
 Все быстрее, быстрее цокот!  
 Телом плавно извиваясь,  
 Конь в пути рождает вихри;  
 Он в порыве богатырском  
 Быстро скорость набирал...

Мчится он без передышки,  
 Без оглядки боязливой,  
 Мышцы мощно напрягая,  
 Рвется с грохотом вперед.  
 Тьму прорезав, осветил он  
 В мгле дремавшие вершины.  
 Пыхнув вверх огнем искристым,  
 Он багряными лучами  
 Озарил ночное небо.  
 От могучего порыва,  
 От стремительного бега  
 Вся земля заколебалась,  
 Как вода в широкой чаше,  
 Закружились рядом вихри.  
 Стук копыт его железных  
 Доносился за пять суток;  
 С расстояния трех суток  
 Можно было слышать ржанье;  
 За полсуток до прихода

Воздух шумно колебался.  
 Грома грохоту подобный,  
 Распластавшись от разгона,  
 Он стремительно несется,  
 Лишь мелькают рощи, реки  
 И уходят горы вдаль.  
 Яростно гудят колеса,  
 Катятся вперед со звоном  
 По железным лентам-рельсам  
 И навстречу дали рвутся.  
     Он раскачивает землю  
     Небывалым ураганом.  
     Стук, и звон, и рокот пара  
     Повторяют гулко реки,  
     Даже дальние аласы<sup>1</sup>  
     Эхом вдруг отозвались:  
     Так стремительно-упорен,  
     Безудержен звонкий бег!  
 Вот он, вот он,  
 Конь железный,  
 Что своим порывом мощным  
 Взвихрил воздух, сдвинул землю.  
 Это он, огнем сверкая,  
 Распахнул тьму душной ночи  
 И летит заре навстречу,  
 Что зарделась над горами.  
 Оттого-то ночь густая  
 Так кричала и зывала:  
 «Воротись, куда спешишь ты,  
 Конь неистовый железный!» —  
 И бессильные проклятья  
 Посылала вслед ему.

1919 г.

*Перевел с якутского Ал. Лаврик.*

### ХАРАЧАС

В глухом полумраке клубится тайга,  
 Гудит жерновами ночная пурга.  
 Навстречу врагу я, как пуля, летел —  
 В бою никогда Харачас не робел.  
 И снова сквозь ветер и злую пургу  
 Иду я бесстрашно навстречу врагу.  
 В дозор! По болотам, тайгой напрямик  
 Торопит коня молодой большевик.  
 Быть может, в недобрый полуночный час  
 Сомкнет свои очи в бою Харачас...

Среди сопок угрюмых, в дыму и в огне  
 Здесь вихрем летел я на быстром коне.  
 Здесь, полный отваги и пламенных сил,  
 Я с именем Ленина белых громил.  
 И может случиться, даль вспыхнет лучом —  
 Я свижусь в Москве с дорогим Ильичем.

<sup>1</sup> Алас — поляна или озеро с поляной, окруженное лесом. (Примеч. ред.)

— Да здравствует Ленин! — шагну я вперед,  
И вместе со мной весь якутский народ  
Подымется рядом могучей стеной:  
— Спасибо за счастье, Ильич наш родной.

И ветер и темень густая — в упор.  
По снежным заносам спешил он в дозор.  
Раскатами залпов грохочет тайга,  
Следы замечает слепая пурга...  
По грозным чашобам в полуночный час  
Скакал на коне вороном Харачас.

Вовек не коснется весны седина —  
Бессмертны отважных сынов имени.  
Все небо сияет в потоках тепла —  
И счастьем людским вся земля расцвела.

1932 г.

*Перевел с якутского* **Ив. Дремов.**

### ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

В день набатной грозы, в день седьмой ноября,  
Польхая огнем под дыханьем войны,  
Вихри взвились, гудя, над родимой землей,  
Взбушевались в неистовой силе своей.  
Угнетенные  
Вышли на улицу все,  
Стали бить в барабан  
И призывно греметь:  
Славьте!  
Славьте! Ведь вся  
Власть Советам теперь!

Капитал, что на черной крови восседал,  
Казематы, чьи тяжкие крышки глухи,  
Как посуда гремящая, были вверх дном  
Перевернуты в эти грозные дни.  
Глядя смерти в лицо,  
Не боясь острия,  
Люди шли, вспять ни шагу —  
Приспела пора...  
Славьте!  
Славьте! Ведь вся  
Власть Советам теперь!

Тех, кто страхом, бедой, кандалами морил,  
Кто наживую сделал проклятье и стон,  
Впрок насытился кровью бездольных людей —  
Обделенных, голодных детей нищеты, —  
Наш рабочий с крестьянином,  
Гнева полны,  
Разметали, развеяли  
Пикой своей.  
Славьте!  
Славьте! Ведь вся  
Власть Советам теперь!

Закалим мы в счастливом горниле судьбу,  
 Тяжким молотом мы отшлифуем ее,  
 Утверждая рабоче-крестьянскую жизнь,  
 Утверждая свободную жизнь навсегда.  
 И, от гнева темны,  
 Над вселенной в набат  
 Будем бить, будем бить,  
 Призывать, веселясь:  
 Славьте!  
 Славьте! Ведь вся  
 Власть Советам теперь!

Племя злобных вампиров всегда и везде  
 Проливало людей обесправленных кровь,  
 Где попало бросало погибших тела...  
 Мы к великой расплате врагов призовем.  
 И рабочий с крестьянином  
 Шли, обнажив  
 Лес штыков и клинков,—  
 «Кровь за кровь, зуб за зуб!»  
 Славьте!  
 Славьте! Ведь вся  
 Власть Советам теперь!

Зрела мести наука в груди у людей,  
 У людей трудовых — не года, а века.  
 Так пускай же до срока не гаснет она,  
 Пусть пылает, горит с новой страстью она.  
 Угнетенным опорю —  
 Большевики,  
 И побед нашей партии множится счет,  
 Те победы на крыльях все выше парят.  
 Славьте!  
 Славьте! Ведь вся  
 Власть Советам теперь!

Прославляем мы нашу Советскую власть,  
 Что в огне революции родилась,  
 И шестую одну всей планеты—Земли  
 Мы хвалебною музыкою огласим.  
 И я вам говорю: «Пусть на шаре земном  
 Торжествует простой угнетенный народ».  
 Славьте!  
 Славьте! Ведь вся  
 Власть Советам теперь!

1925 г.

*Перевел с якутского Ник Сндоренко.*

### БОКАЛ

Во славу чудесного года,  
 Что новой звездой засверкал,  
 За девичье нежное имя  
 Аринушка, друг мой, подыдем  
 Любви нашей звонкий бокал.

Железною силой народа  
 В сраженьях разбиты враги.

Отныне везде и повсюду  
Якутии вольные люди  
К весне устремляют шаги.

Над скудной холодной землею  
Горячее солнце встает.  
И, гнет забывая вчерашний,  
Выходит в тайгу и на пашни  
Якутский свободный народ.

Рожденный под горестным небом,  
Люблю я по-детски, до слез,  
И в зелени пышные горы,  
И рек полноводных просторы,  
И брызжущий солнцем мороз.

Я верю в прекрасное завтра:  
Якутов земля расцветет,  
И эта вот песня простая,  
Суровые годы листая,  
До верных потомков дойдет.

Ты, мать четырех ясноглазых  
Крупиц, что я радостно ждал.  
За утро, что встало над ними,  
Аринушка, друг мой, подыдем  
Любви нашей звонкий бокал.

Я помню то милое время,  
Когда ты мечтою была,  
Когда полевыми цветами  
Земля открывалась пред нами  
И к звездам и песням звала.

Сердца наши радости полны.  
Нам счастье сулили годá.  
И шли мы вперед неустанно.  
Аринушка, друг мой желанный,  
Минувшее с нами всегда.

Я счастлив, мой друг, беспредельно.  
Гляжу: рядом дети мои —  
Четыре улыбчивых солнца,  
В них наша любовь отзовется  
Любовью якутской земли.

Во славу чудесного года,  
Что солнечным днем засверкал,  
За звезды, что нами любимы,  
Аринушка, друг мой, подыдем  
Любви нашей звонкий бокал!



## ЖАВОРОНОК ПЕЛ...

Трепеща, он летит крутизною в зенит,  
Заходясь, он звенит, заливаясь вовсю,  
Трель свою вознося в поднебесную синь:  
Джирь-джирі-джирі!  
Не струится ли это воздушная зыбь?

Воздух ласковый льется, теплыню лучась,  
Благодатна, ясна, к нам вернулась весна.  
Лучезарное, щедрое солнце ее  
Озарило простор, обнажив склоны гор,—  
И повсюду проталины стали видны.  
В буераках, распадках, овражках шумит,  
Очищаясь, плеща,  
Половодье весны...  
Джирь-джирі-джирі!  
Не струится ли это воздушная зыбь?

На холмисто-бугристых просторах и там,  
В глухоманях лесных, глубоко, в кладовых,  
Шум воды — тают льды и, смешавшись с землей,  
Вырываются кверху, потоками став.  
Лед, что сковывал корни деревьев в ночи,  
Превращенный в ручьи, с бурным рокотом всплыл.  
Вкруговую, и ночи и дни напролет,  
Половодье бушует,  
Все в пене, гремя,  
От разводья к разводью потоки стремя  
И сверкая, оно разливается вширь...  
Джирь-джирі-джирі!  
Не струится ли это воздушная зыбь?

Вслед за вешней водой, всюду в здешней тайге,  
Где высоких дерев прямоствольных не счесть,  
Зелень, зелень, воспетая множество раз,  
Быстро сочные ветви окутала все  
И склонила в красе, их колебля, к земле,  
И точеные шишечки, позолотев,  
Заблестели на лиственницах молодых,  
И на лоне родной благодатной земли  
Расцвели в изобильных узорах цветы.  
Все вокруг и ласкает и радует взор —  
Половодье цветов, половодье листвы...  
Джирь-джирі-джирі!  
Не струится ли это воздушная зыбь?

С наступленьем волнующе-дивной поры  
На дернисто-целинной земле, в мураве,  
Засверкала саранка<sup>1</sup> огнистым цветом,  
И на пестром просторе долины она  
Полным светится счастьем, но тучи грозы,  
Тучи старого быта, что сходит на нет,  
Затемняют  
Высокую просинь небес,

<sup>1</sup> Саранка — растение из рода лилий. (Примеч. ред.)

Насылают тяжелый и мглистый туман  
 На саранки цветок, тот, что рдян и огнист...  
 Джирь-джирь-джирь!  
 Не струится ли это воздушная зыбь?

С наступленьем волнующе-дивной поры,  
 На дернисто-целинной земле, в мураве,  
 Засверкала саранка огнистым цветком,  
 И над нею срывается молния вниз,  
 Но в испуге проносится мимо она...  
 Сил, уверен я, нет, что могли бы затмить  
 Воли свет, погасить до конца, навсегда  
 Этот пламень, объявший все небо собой;  
 Где та нечисть, которая это свершит?  
 Символ светлого счастья и ласки весны —  
 Пусть саранка цветет, пламенеет, горит!

1932 г.

*Перевел с якутского Ник. Сидоренко.*

### МИМОЗА

В бархат зелени одета,  
 Обронивши тень на камни,  
 В дымке солнечного света  
 Чуть трепещет лепестками.  
 Каждым утром на просторе,  
 Увяданью не подвластна,  
 Ты встаешь, встречая зори  
 Ласковой улыбкой ясной,  
 Недоступная морозам  
 Жизни полная мимоза.  
 Край родной земли кандалный!  
 За нуждой шагая следом,  
 Мой народ многострадальный  
 В прошлом радости не ведал.  
 Тропы хищные тойонов  
 Позабыв, в лесной теплыни  
 Взором нежным, просветленным  
 На тебя он взглянет ныне.  
 И вздохнет он облегченно,  
 Новой жизнью окрыленный.

1923 г.

*Перевел с якутского Ив. Дремов.*

### МОРЕ

Голубеет, синее, мерцает вдали,  
 И не видно земли за размахом воды.  
 Задыхаясь, вздымаясь, грохочут валы,  
 Злы, от пены белы, рвутся с силою ввысь.

Хлещет, плещет певуче в изломах вода,  
 Переливами радуг трепещет простор,  
 И шумит и гремит день и ночь напролет,  
 И ревет и поет разыгравшийся шторм.

А веселая пена кипит и шипит  
 На буграх и горах неумной воды.  
 Гневно гребень гряды поднялся высоко,  
 И завихрился он, чтобы небо схватить.

Густо-черные тучи нависли, клубясь,  
 Свет дневной затемнен, побежден, полонен.  
 Полоснула вдруг молния длинным огнем —  
 И раскатистый гром загремел, грохоча,  
 И жестокая буря, медведем взревев,  
 Свой обрушила гнев, сплющив горы воды.

Камни грузно катались во мраке по дну —  
 И волну не одну рушил с гулом прибой.  
 Вольно вскинулось море, и каждый бурун,  
 Полный ярости, глухо, со свистом гудя,  
 Изумрудный взметнул над собою фонтан.  
 Торжеством обуян стоголосый простор!

Задыхаясь, вздымаясь, грохочут валы,  
 Злы, от пены белы, рвутся с силою ввысь.  
 Море, в пламени красном, мятежно бурля,  
 Стрелы молний хватает, кидает назад.  
 Багровеет седое, все вздулось, грозит,  
 Разошлось, расплеснулось оно через край.

Чайки мечутся, стонут над темной водой,  
 Задевают крылом за нее на лету  
 И, набрав высоту, снова книзу парят.  
 Море гулко грохочет, гремит и шумит,  
 Гонит бешено волны, вздымает холмы,  
 Возмущенно хрипит, потемнев, почернев...

124 г.

*Перевел с якутского Ник. Сидоренко.*

## ПРОЩАЙ

Вздымает волны ветер южный,  
 Расстаться с морем срок настал,  
 Прощай, бушующий, жемчужный,  
 Глубинных вод кипящий вал!

Слова мои — потоки песен,  
 Слова мои огня полны.  
 Зарей лучатся в поднебесье,  
 Сливаясь с грохотом волны.

Они горды своей судьбою,  
 Летят, что стаи голубей,  
 И, убаюканы прибором,  
 Сверкают россыпью лучей.

Могучи, солнечны, свободны,  
 Толпясь, бегут валы гурьбой.  
 Прощай, крутой, громopodobный,  
 Сияньем залитый прибой!

Моих заветных песен слово  
За лучшими мечтами вслед  
В краю лесов, в краю суровом  
Несло друзьям желанный свет.

Где долго слышался чугунный  
Неотвратимый звон оков,  
Ковать и строить жизнь коммуны  
Я звал якутов-земляков.

Седой, улыбчивый, веселый,  
Грохочущий о ребра скал,  
Прощай, поправший все оковы,  
Безудержный слепящий вал!

Мне ль быть на жизнь свою в обиде?  
Мне ль пред своей судьбой робеть?  
Мы все, родившись, солнце видим,  
Мы все, родившись, встретим смерть.

И я умру — мой прах исчезнет,  
Травой мой холмик прорастет.  
Но мной оставленные песни  
В столетьях сохранит народ.

Вздымает волны ветер южный,  
Расстаться с морем срок настал,  
Прощай, бушующий, жемчужный,  
Глубинных вод кипящий вал!

1925 г.

*Перевел с якутского* **Ив. Дремов**



---

МИХАИЛ КОЗАКОВ

★

## ПЕТРОГРАДСКИЕ ДНИ

Повесть \*

13

**О**дин длинный, затем короткий и снова продолжительно длинный звонок... Неужели Фофанова вернулась, не добравшись до Смольного? Что же произошло в таком случае?

Владимир Ильич кинулся к двери — порог перешагнул старый приятель Эйно.

Он громко захлопнул за собой дверь, чего никто покуда не делал здесь из осторожности.

— Я за вами, Владимир Ильич, — тоже громко сказал он. — Товарищи просят вас в Смольный.

— Очень хорошо!

Ленин поглядел на Эйно: тот почему-то облизывал губы и — заметно было — часто глотал слюну.

— Что с вами, Эйно? Устали?

— Можно считать, что устал, Владимир Ильич.

— Хотите пить? А-а, я знаю: хотите есть, но молчите. Это — безобразие, что молчите!

Ленин вынул из фофановского буфетика две тарелки (маленькую и почему-то глубокую, как будто она могла и в самом деле сейчас понадобиться), поставил их на стол, покрытый клетчатой клеенкой, принес из кухни полбуханки черного хлеба.

— Пожалуйста, кушайте, Эйно. Слышите? Я сейчас еще чего-нибудь поищу... — Он беспомощно оглядывал комнату.

— Спасибо. Ничего не надо больше. Спасибо.

Эйно положил буханку на маленькую тарелку, вынул из кармана финский нож, аккуратно отрезал им, ничуть не накрошив, кусок хлеба.

— Весь день сегодня было не до еды. Ходил я, Владимир Ильич, по казармам.

— О, это чрезвычайно интересно! Рассказывайте!

— Товарищи из ЦК сказали мне: объясняй все своим землякам, Эйно. Латышам тоже объясняй, что к чему. Я ходил, объяснял. Солдаты сказали: не беспокойся, Ленина мы все поддержим. Я пришел в Смольный, доложил, а мне говорят: надо, Эйно, привести сюда непременно Владимира Ильича. Вот.

Он, как всегда, был немногословен, и рапорт его краток.

Отрезанный ломоть хлеба Эйно разделил на восемь кусочков и в каждую паузу своего рассказа съедал по одному, запивая водой.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

— Одевайтесь, Владимир Ильич, — сказал он. — Уже такой час, что мы можем двинуться в путь. Темно, трамваи ходят не всюду, кое-где, Владимир Ильич, уже и постреливают в городе. Вы не беспокойтесь, у меня тоже есть револьвер. А у вас есть, Владимир Ильич?

— Представьте, нет! Это — большое упущение, каюсь. Ну что ж, сборы мои недолги. — Приладил парик. — Поглядите-ка, Эйно.

Тот одобрил:

— В порядке, — и спросил: — Что вы будете делать с ним, когда уже не надо будет носить?

— Вот уж никогда не задумывался об этом! — пожал плечами Ленин. — О многом думал, а вот об этом — не пришлось как-то.

— Прощу вас, подарите мне парик на память, когда вы станете главой нашего правительства, — сказал серьезно Эйно.

Ленин прищурился, ничего не ответил, а только похлопал его по плечу.

— Я чертовски доволен, Эйно, что пойду с вами, старым моим другом!

Рабочий только и ответил:

— О-о!.. — и крикнул, покраснев от удовольствия.

ЦК может быть спокоен: уж лучшего провожатого для Ленина, чем он, Эйно, не найти!

— Очки! — напомнил он Владимиру Ильичу.

— А нужны ли сегодня?

И Ленин положил их в карман пиджака «на всякий случай», повязал шеку тряпкой, надел истасканную кепку.

— Ну что ж, Эйно, пойдём?

— Если вы уже все сделали, Владимир Ильич, то пойдём.

Ленин черкнул какую-то записку и положил ее на дно так и не понадобившейся глубиной зарелки.

На улицах было темно, а на ближайших к фюфановскому дому — и пустынно. Шли молча, каждый думая о своем. Сейчас это «свое» было у обоих одно и то же в конце концов: скорее бы в Смольный!

Издали послышался шум и звон приближающегося трамвая.

— Девятка идет. Будем садиться?

— Обязательно! Побейстрой, товарищ Эйно!

На остановке они вскочили в вагон.

— Входить будем? — спросил Эйно. — Или здесь?

Он предпочитал оставаться на площадке.

— Войдем, разумеется. А как же!

— Только, пожалуйста, ведите себя осторожно, — заботился Эйно.

— Конечно, — пообещал Ленин.

В вагоне со скамьями во всю длину сидели, кроме кондукторши, всего два пассажира: дремавшая белогубая старуха с плетеной кошелкой и пустым открытым бидоном из-под молока и заметно выпивший чиновник в форме акцизного ведомства. Он сидел спиной к входу, и увидеть, чем он занят сейчас, — а он занят был явно чем-то необычным для трамвайного пассажира — удалось не сразу.

— В карты дует, — сообщил о нем Эйно, возвратившись к своему месту с приобретенными у кондукторши билетами.

— С кем же?

— Сам с собою.

— Оригинал!

Ленин встал и подошел к кондукторше.

— Куда едем, товарищ?

— В парк.

— А почему в парк?

— Потому!

— Это не ответ, товарищ.

— А ты, папаша, кто такой, чтоб тебе давать отчет?

— Мы, девушка, рабочие — вот кто! — подоспел на выручку, как самому казалось, Эйно.

— Рабочие? — Она недоверчиво посмотрела на Ленина.

— Да, рабочие, — ответил он.

— Если рабочие, то и спрашивать ни к чему! — Глаза худенькой кондукторши сердито блеснули. — Рабочий... А калоши-то у тебя, видишь, новые, — обратила она внимание на это. — Неужели не видите: едем, едем, а никто не садится. А почему?

— Действительно, почему, по-вашему? — спросил Ленин.

— Понимать надо.

— Стараюсь.

— Плохо, значит, стараешься.

— Возможно, — согласился Ленин, смешливо вздохнув.

— Сознательности у тебя нету. Или не знаешь, что в городе происходит? — все так же сурово смотрела на него кондукторша. — А еще говоришь — рабочий!.. Нам, трамвайщикам, торопиться надо в Смольный, на помощь Ленину.

На углу Боткинской и Нижегородской, вблизи Финляндского вокзала, трамвай сворачивал в парк. Пришлось выйти и продолжать путь пешком.

Впереди — освещенный Литейный мост. Чей он: наш или Временного правительства? У ближайшего фонаря стояли люди с винтовками.

— Я пойду вперед, — решил Эйно. — Как мне называть вас, если надо будет?

— Как называть меня? Да так лучше всего, на всякий случай, как значится в поддельном комендантском пропуске на мое имя: Константин Петрович.

Эйно быстро зашагал вперед. Ленин приближался к мосту своим шагом. Минуты через три он услышал веселый голос спутника:

— Эй! Поторопитесь, Константин Петрович! Я жду. Сюда, Константин Петрович!

На мосту распоряжался отряд Военно-революционного комитета.

Но когда, пройдя мост, свернули налево и зашагали по слабо освещенной Шпалерной, натолкнулись за домом предварительного заключения на двух конников-юнкеров. Те проехали мимо, но через минуту, повернув обратно, догнали человека с «зубной повязкой» и его длинноногого спутника.

— Стоп! Остановитесь, покажите пропуск, документы!

— Идите вперед, не останавливайтесь! — прошептал Ленину Эйно.

А сам обернулся и схватил за уздцы обеих коней.

— Пропуск! — потребовали у него.

— Какой пропуск? — вялым, тяжелым голосом пьяного спросил Эйно. — Куда пропуск? Зачем пропуск? — старался он затянуть время, чтобы Ленин успел отойти подальше и, может быть, скрыться в каких-либо воротах.

— Какой пропуск? — переспросил звонкий молодой голос. — На тот или на этот свет! Понятно? Отпусти коня!

— Он пьян, как ишак, — сказал второй юнкер с кавказским акцентом. — Он держится за уздцы, чтобы не упасть... Документы, кацо! Ты кто такой?

— На тот или на этот свет... на тот... на этот... — бормотал Эйно, ра-

дуясь, что так удачно задержал сейчас преследователей Ленина.—Какой может быть пропуск на тот... на этот свет? Документы, господа военные? Пож-жалуйста!.. Слезайте, возьмите в кармане у меня...

Он икал и пошатывался так натурально, что юнкер с кавказским акцентом, выругавшись, сказал второму:

— Как свинья, пьяный. А ну, полосни-ка его на прощание нагайкой, Сева.

Чтобы избежать удара по лицу, Эйно отпрянул.

Юнкера, ругаясь, повернули коней.

## 19

О, не так-то просто было попасть сегодня в Смольный!

С площади и до самого здания бывшего института благородных девиц Анна Артемьева и Мартын Волжский пробивались, теряя силы, сквозь густую, спрессованную толпу народа, выросшую непроходимым лесом среди тесных каменных зданий.

Этот живой, темный в ночи, шумящий тысячами голосов лес, раскачиваясь, нагибаясь во все стороны, бросал и вдавливал Анну в себя — в страшную, свирепую по своей густоте людскую стихию, из которой выбраться можно было, казалось, только чудом.

Несколько раз Анна теряла в тяжелой и зыбкой толпе своего кругленького, низкорослого Мартына, и так же неожиданно, как он исчезал, репортер появлялся вновь поблизости от нее, и Анна слышала тогда его певучий, с заметным пришепетыванием голос:

— Посторонитесь!.. Товарищи, будьте любезны... не задерживайте... Мы по вызову Исполнительного комитета, по срочному революционному делу... Представители прессы... Будьте любезны!

Иногда он успевал даже схватить Анну за руку и протащить за собой вперед на несколько саженей.

Был случай, когда они оба вскочили на узкую подножку какого-то большого автомобиля, пробивавшегося к подъезду Смольного. Но через минуту раскачивающаяся толпа сбила, низвергла их, и они упали на чьи-то плечи, в чьи-то невольные объятия.

Попытаться счастья на автомобильной ступеньке решили и другие, но их постигла та же участь.

— Чтобы я больше когда-нибудь участвовал в таких революциях?! А вы, Анна Ивановна?

И Мартын не понимал, почему она смеется в ответ.

Прошло больше двух часов, пока добрались они с конца Суворовского проспекта до решетчатой ограды Смольного, и еще немало времени, пока увидели широкие ступени института.

В толпе они узнали, что сейчас заседает Петроградский Совет и сегодня же должен открыться II съезд Советов. И открывать его будут нынешние руководители ЦИКа — меньшевики и эсеры Дан, Скобелев, Гоц и Чернов. Они-то и распорядились впускать на съезд только по новым, сегодня днем выданным малиновым пропускам и поставили своих многочисленных контролеров у всех дверей Смольного.

Ну, а как же с прежними пропусками сюда? С теми, что выданы были Петроградским Советом и Военно-революционным комитетом?

— Эта возмутительная неразбериха и создала такой затор. Да и вообще, почему Дан и Чернов еще распоряжаются? Ведь это все равно, что покойник командовал бы на своих похоронах!

Тот, кто так точно и метко охарактеризовал создавшееся здесь положение, привлек внимание Анны. Косой отблеск высокого факела позволил



ей увидеть по соседству с собой человека в простой кепке, набок сдвинутой на седенькой голове, сидящей на крепкой, широкой шее, с плохо выбритым лицом крестьянина, повязанным по случаю зубной боли светлым платком, но человека с говором чисто городским и больше того — грассирующим.

— Безобразие! — возмущался Аннин сосед. — Бюрократические штучки! Те пропуска... не те пропуска... чепуха какая-то!

— А наши... тоже хороши! Нелепость — признать сегодня какие-то дурацкие формальные права социал-корниловцев! Ну и умники!

«Большевики», — поняла Анна.

— Нажимай! Где наша не брала! — кричали в толпе. Эйно не щадил своих сил, протаранивая проход для Владимира Ильича.

Благодаря такому тарану и вследствие полной растерянности циковских контролеров, стоявших в дверях, Анна и Мартын также прорвались в вестибюль Смольного.

— Спасибо вам! — пожала Анна на ходу руку «седенькому».

— За что? — искренне удивился Ленин.

— О, благодаря вам я попала сюда.

— Куда нам? — спросил Ленин у Эйно.

— На второй этаж, Константин Петрович, — оставался тот верен своей осторожности.

Никем еще не узанный, Ленин поднялся на второй этаж, следуя за своим провожатым. Очень хорошо, что Эйно был прислан, теперь ясно, что никакая Маргарита Васильевна ни в жизнь не могла бы сегодня проникнуть сюда!

Каждый бегущий по лестнице, хлопающий сотнями дверей во всех этажах предельно яркого от электричества Смольного, с винтовкой в руке или с какими-то наспех написанными, напечатанными бумажками — приказами, ордерами, мандатами, пропусками, каждый, покидающий в эту минуту здание или проникающий с адским трудом сюда, — все эти люди в большом и малом были воинами восстания.

Но, может быть, это все еще энергия митинга? Того необозримого, многомесячного всероссийского митинга, который никак не мог иссякнуть после Февральской революции?

Нет, это другая, совсем новая энергия народных чувств и поступков.

Стоя в толпе перед Смольным, Владимир Ильич отметил для себя, что люди, скопившиеся в таком огромном количестве, и не только для того, чтобы непременно попасть в Смольный, а для того, чтобы одним лишь присутствием своим продемонстрировать волю к восстанию, — ни разу не сделали попытки митинговать, накалять себя и других антиправительственными речами или пылкими лозунгами. Все для них и так было ясно, они ждали, видел Ленин, революционного дела, и это было тем важнее.

И появился теперь на крыльце Смольного кто-либо из большевистских руководителей восстания и объяви он, что необходимы дополнительно две, три тысячи человек для выполнения двух, трех тысяч срочных поручений, — эти тысячи людей из толпы тотчас же откликнулись бы своим громким «я».

Те, которых видел сейчас Владимир Ильич в коридорах Смольного, были первым и лишь воинами революции. И если вначале все здесь показалось ему хаотичным, то спустя две минуты он уже отказался от своего первоначального впечатления.

Однако историю с пропусками товарищам своим простить не мог...

Вместе с Эйно он прошел в конец левой части коридора, где заседал в актовом зале Петроградский Совет

— Подождите здесь, Владимир Ильич, — тихо сказал Эйно и открыл перед ним дверь одной из комнат вблизи зала. — Я сообщу товарищам.

В комнате висели часы, они показывали сорок восемь минут новых суток.

Несколько столов. За самым дальним, что у окна, — трое мужчин слушали монотонный, глухой голос женщины, читавшей, как понял Владимир Ильич, нечто вроде не то заготавливаемой, не то уже принятой где-то кем-то длинной резолюции. Все четверо были так поглощены своим делом, что никто из них не заметил нового человека.

Ленин уселся на единственный свободный стул — напрутив стены, на которой приколоты были плакаты с изображением Маркса и Плеханова.

Ох, поскорее бы пришли свои...

Признаться, когда оставался один сегодня (надолго или на минуты), он волновался. Все — и в себе самом, и вокруг, и собственная одежда — казалось неудобным, беспокойным, несобраным.

Ну, конечно же, все, что предстоит испытать в жизни, на гребне начатой революции, так бесконечно волнует. Неужели кто-нибудь мог бы подумать, что это не так? Тот лжец, фальшивый человек! Люди не истуканы, и сердце у них, кто бы они ни были, — человеческое: само понятливое и другим понятное.

...Волнуясь, Владимир Ильич снял «зубную» повязку и машинально сунул ее в карман пальто. Странно: отсутствие фальшивой повязки действовало успокаивающе. Он только посмотрел вбок: не увидел ли кто-либо за столиком у окна этого преобразования? Нет, заняты были своим делом.

Дверь вдруг открылась, и вошли три человека. Ленин едва не вскочил, но, сразу же узнав их, остался на месте.

Вошедшие остановились у ближайшего стола — посоветоваться, очевидно.

Это были эсер Гоц и меньшевики Дан и Скобелев. Первые двое были давно не бриты, с уставшими серыми лицами. Скобелев же глядел бодро, спокойно: выхоленная белокурая бородка, желтые волнистые волосы, аккуратно подстриженные, черный, хорошо сидящий сюртук на плотном корпусе.

— Матвей Иванович, Абрам Рафаилович! — обратился к Скобелеву и Гоцу резкоголосый Дан. — Прошу угощаться. У меня есть французская булка, колбаса, сыр. — Он выложил из кармана на стол сверток в вощеной бумаге и развернул его. — Прошу, товарищи... Что с вами, Абрам Рафаилович?

И вслед за побелевшим, растерянным Гоцем Дан перевел взгляд на одиноко сидевшего на стуле незнакомца в пальто и старенькой кепке.

Всмотрелся, встретился с прищуренными колкими глазами: полно, да незнакомец ли?!

— Он! — поперхнувшись, прохрипел Гоц.

— Он...

Недруги узнали Ленина и, оглядываясь на него, гуськом, так торопливо выскочили из комнаты, что даже сверток остался на столе.

На мгновение снова появилась в дверях белокурая борода Скобелева: словно он желал проверить, так ли это — Ленин?!

Владимир Ильич весело расхохотался.

Сидевшие за столиком у окна ничего этого не видели и не слышали: они были унылыми пленниками чьей-то длинной-предлинной резолюции.

В комнату не вошел, а влетел первым стремительный, с горячим блеском серых глаз, с тонкими ноздрями Феликс Дзержинский. Догоняя его, спешили сюда Свердлов, Сталин, Подвойский в зеленой полувоенной одежде и другие товарищи.

После взаимных приветствий Владимир Ильич сказал:

— Прошу ввести меня в курс дел. И потом: что это за нелепая история с малиновыми пропусками?

Он снял парик (сразу помолодел!) и, подойдя к стоявшему позади всех Эйно, отдал ему:

— Надеюсь, больше не понадобится.

## 20

Анна увидела брата в одной из комнат первого этажа. Отгороженный двумя столами от набившихся в комнату рабочих делегаций, Николаша выдавал им револьверы и патроны. Они лежали в сваленных на полу огромных мешках.

Николаю энергично помогала крепенькая светлоглазая девушка с широкими проворными движениями, в солдатской гимнастерке с расстегнутым воротом.

— Мандат! — отрывисто требовала она у делегаций и передавала его на просмотр Николаю.

Тот отсчитывал «бульдоги» и «наганы» и складывал их грудой на столе.

— Берите. Следующий!

«Увидела бы это мама...» — улыбнулась Анна.

Понаблюдав, она с конца комнаты окликнула брата:

— Никола-аша!

— Анка! Ты что здесь делаешь?

— Пришла от газеты.

— А-а... Милости просим.

— С тобой можно поговорить?

— Я, видишь, ведь вполне доступен для народа, — сострил он под смехок присутствующих. — Подожди, я освобожусь. Присаживайся, если есть на чем.

Увы, не было на чем, и Анне пришлось ждать стоя.

— Ты непременно подожди меня, а то потом можем не встретиться, — через несколько минут предупредил ее брат.

В комнате появился один из тех двоих пареньков, которых Анна однажды видела дома, на Садовой.

— Вася! — кликнул его Николай. — Иди сюда. Заменя-ка меня на пять минут. Вместе с Катей.

Вася Чернокутов занял его место, и в следующую же минуту брат и сестра очутились в коридоре.

— Ну, — сказал он, жадно закуривая. — Привет, сестрица! Как ты попала сюда? Ты хоть понимаешь, что происходит? Никита сказал, что ждут сюда Ленина. Ты хоть понимаешь? — переспрашивал он, как будто не доверяя, что сестра может уразуметь все правильно.

— А Никита здесь? — поинтересовалась она.

— Я ей про Ленина, а она... про Никиту! — вспыхнул он. — Ну что, в самом деле! Нужны вы все Никите... Видела ты рядом со мною девушку? Вот это Катя и есть...

— Вот оно что? Я обязательно еще раз на нее посмотрю... Ты телефонируешь домой? Наши будут очень беспокоиться. Звонил ты или нет?

— Откуда же? — усмехнулся Николай. — Будут беспокоиться... Тут телефоны все выключили. Есть о чем беспокоиться!

— Да что ты! Кто выключил?

— Правитель из Зимнего. Какой-нибудь Викентий наш, конечно.

— Скандал!

— ...в благородном семействе. Да. А ты, Анка, дала знать о себе домой?

В самом деле, она тоже не удосужилась за весь день это сделать!

— Николаша, миленький! Ну, как это сделать хоть теперь, а? Знаешь ведь маму? Да и вообще. Не может быть, чтобы всюду молчали телефоны. Ты здешний... — польстила она брату. — Уж ты, если захочешь позвонить, найдешь способ.

— Пойдешь домой... ну и передашь, что видела меня, — сказал он.

— Но ведь я домой не собираюсь! — возразила Анна.

— Не собираешься? — недоуменно воззрился на нее брат.

Он давно уже выкурил первую папиросу и принялся за новую. Но задержал затяжку сейчас, удивленный заявлением сестры.

— Нет, в самом деле, Анка?

— Не собираюсь! — подтвердила она твердо, решительно. — Такие ночи, как сегодняшняя, бывают один раз в жизни. И то не в каждой жизни, ясно?.. Часто, Николай, люди не знают, не понимают они: в будни живут или в знаменательное время? А сегодня, сам понимаешь, не тот случай! Ребенок и тот поймет, что сейчас история. Ткни пальцем куда угодно, в кого угодно — и история! Что, нет?.. Миленький, давай все-таки позвоним папе и маме! — умоляюще смотрела она на брата. — Не может быть, чтобы неоткуда было.

— Надо будет попросить Катю, — соображал вслух Николай Артемьев. — Она умудрилась сегодня днем позвонить Никите в типографию.

— Узнай у нее.

— Ладно. Сделаем... Вот все вы накидываетесь на меня дома: я, мол, редко ванну принимаю, не люблю купаться, да? — непонятно о чем заговорил он вдруг. — А я вот два часа сегодня в бане был! — действительно огоршил он сестру.

— Ты? — вытаращила она глаза. — Ты мылся в бане?

— Да, мылся в бане.

— Не иначе как в силу вашей партийной дисциплины, — пошутила Анна.

— Почти так, — заулыбался он. — Ты даже не догадываешься, какую правду сказала, Анка.

И он коротко, не без гордости рассказал сестре о сегодняшнем своем ораторском выступлении в банях на Сергиевской, и она, смеясь, вновь подумала: «Боже мой, что бы сказали мама и папа!»

...Катя и впрямь знала о существовании на территории Смольного одного из двух телефонных аппаратов, ошибочно не выключенных на станции. Телефон этот находился позади столовой, у дверей буфетной кладовой, и Катя повела туда Артемьевых.

Столовая открыта была теперь круглые сутки, кормиться в ней можно было всем попавшим в Смольный, и Николаю стоило больших усилий проложить путь себе и обеим девушкам сквозь битком набитое буфетное помещение.

По дороге к узкому коридорчику, где помещалась кладовая, рядом с дверью которой висел телефон, Катя натянула на свой рукав красную повязку с буквами «ПС», что свидетельствовало о причастности ее к Петроградскому Совету, и эта повязка оказала магическое действие на караульного в коридорчике — татарина солдата с радушной улыбкой на изъеденном оспой лице.

— Со мной, — объяснила ему Катя, указывая на Артемьевых.

Телефон оказался занятым тонколицым длинноволосым человеком лет тридцати пяти, носившим, очевидно, пенсне, — оно лежало сейчас на кругленьком столике, за которым с блокнотом в руке сидел его обладатель, держа в другой слуховую трубку с длинным телефонным шнуром.

Это был, как узнала впоследствии Анна, один из членов Военно-революционного комитета Антонов-Овсенко. Бывший офицер, затем ссыльный большевик, талантливый математик и незаурядный шахматист, он был теперь одним из самых оперативных соратников Подвойского.

Вот уж никак в тот момент не могла предположить Анна, что ровно через двадцать четыре часа, тоже ночью, ей доведется вновь увидеть этого человека... Да и при каких обстоятельствах!

Разговаривая по телефону, он на секунду поднял длинноволосую голову и посмотрел на юношу и его спутниц.

— Вы за мной? Пришел Ленин?

— Нет... Не знаем, — ответила Катя. — Нам по телефону...

Он продолжал разговор в трубку:

— Ну, говорите, Слушаю.

Это он выслушивал сводки с мест, отчеты о том, как выполнялись и выполняются в Питере приказы ВРК. Уж он-то, этот человек с неостывающим блеском замученных бессонницей глаз, мог бы продиктовать Анне немало интересных сведений для газеты.

...На фабрике «Скорород», в каменной пристройке у весов, против столовой, раздавали патроны рабочим. Полный порядок, товарищ Антонов!

Люди выходили оттуда с винтовками, опоясанные пулеметными лентами, и выстраивались во дворе для короткой переклички. Из фабричных ворот быстрым шагом отправлялся в ночную темноту отряд за отрядом. То же самое происходило на заводах Речкина и Сименс-Шуккерта.

У Путиловского завода больше уже не митинговали. Здесь, товарищ Антонов, молчаливо строились красногвардейские сотни. Сейчас, как вы приказали, они в походе для захвата указанных вами учреждений и вокзалов. Не беспокойтесь, в районном Совете на Новосивковской улице — круглосуточное дежурство, окна ярко освещены.

Такая же картина у Обуховского комитета партии.

Металлический завод час назад отправил к вам, в Смольный, один отряд, вышлет, если понадобится, и второй — по первому же вашему звонку.

Отряд выборжцев занял только что телеграф Финляндского вокзала, другой отряд захватил в Лесном почту. Ура! Комиссар телеграфа, рабочий-финн, задерживал с авторитетным видом... ха-ха-ха-ха!.. телеграммы на датском, шведском и иных языках. Такое знание иностранных языков покорило телеграфисток. Они приносят ему сейчас на просмотр все без исключения депеши.

Юнкера и казаки вышиблены час назад из Таврического дворца.

Балтийцы и отряд Кексгольмского полка начали захват Центрального почтамта.

Колпино отправило в распоряжение Смольного семнадцать броневиков с пулеметами.

...Вот что могла бы узнать для себя и для газеты Анна у Антонова-Овсенко.

— Неудобно... — шептал сестре Николай. — Ну, как ты попросишь у него телефон? Слышишь ведь, с кем он разговаривает. Нет, я уйду, Анка.

Она и сама заколебалась. Но, как только товарищ из ВРК повесил на секунду трубку, чтобы вновь, вероятно, соединиться со станцией: «дайте группу «Б» или «дайте группу «А», — Анна сказала ему:

— Можно на две минуты получить телефон?

Надев пенсне, он взглянул на нее.

— Вам по делу?

— Не знаю, как вы сочтете...

— Куда? Кто вы?

— Мы — домой, родителям.

«Разозлится, высмеет!» — заныло сердце Анны.

— Чтобы они не беспокоились. Так? — догадался он.

— Да, да, чтобы не беспокоились их родители, — присоединила и свой голос Катя.

— Моя сестра, знаете ли, сама волнуется... Женщины! — наигранно презрительно вымолвил Николаша.

И неожиданно для себя услышал в ответ:

— Вы, молодой человек, сами-то не стесняйтесь любить своих папу и маму. Хорошо, что они у вас есть. Если можно сделать так, чтобы родители не волновались, обязательно надо это сделать. Звоните! — обратился Антонов-Овсеенко к Анне, уступая ей свой стул.

— Давай я! — вырвал у нее трубку Николай.

Подошел к телефону Иван Сергеевич.

— Здравствуйте, друзья! — называя себя, сказал сын.

— Это кто же «друзья»? — усмехнулся член ВРК. — Папа или мама?

— Ну, что за старорежимная, мелкобуржуазная привычка у мамы — волноваться! Конечно, здоров. Все в полном порядке... Уверю тебя, здоров как бык. И Анна тоже как бык... То есть я не то хотел... — смутился он от смеха стоявших с ним рядом. — Нас не ждите сегодня, ложитесь спать... Хорошо. Здравствуй, мать. Что?.. Мама, ты говори покороче, нам разрешена одна минута по правительственному телефону. Да не «по какому», а по смольнинскому. Ну, а по-моему, это самый настоящий правительственный... Ладно, ладно. Скажи Луше, что Никита тоже вполне здоров. (Катя благодарно взглянула на студента.) Обнимаем вас. Ложитесь спать. Что?.. Ну, как это, чтобы Анна следила за мной! Не срамись, мама... Хорошо. Привет Люде. Все! — Он повесил трубку. — Спасибо вам, товарищ. Пойдемте, девицы...

— Простите нас. Спасибо, товарищ... Ну, теперь хоть на душе легче, — подумала Анна вслух, покидая коридорчик, и спросила Катю: — Где бы я могла расположиться минут на двадцать — тридцать? Мне нужно сделать записи в блокноте. Для газеты.

— Что-нибудь придумаем. — Катя взяла ее под руку.

Когда они снова очутились у дверей «оружейной», как назвала про себя Анна комнату, в которой нашла брата, Катя сказала:

— Зайдем сюда.

И она открыла ключом запертую дверь. Уж на что был прокурен коридор, запах из комнаты был еще гуще!

Но они не успели войти в комнату, как увидели группу людей, человек пятнадцать, спустившуюся по лестнице и направлявшуюся мимо них в соседнюю комнату номер четырнадцать.

— Дзержинский! — выпалил уже знакомую ему фамилию Николай. — Смотри, Анка...

— Наш Михаил Иванович... — сказала Катя и закивала ему. — И Яков Михайлович, — называла она известных ей людей в этой группе. — Вот тот — видите? — грузный такой дядя с трубкой... это Еремеев. Который в «Правде»... Чего это они все вместе? А? Ну, а этот для чего с ними? — досадливо поморщилась Катя.

«Этот» был признанный ею человек, которого видела ночью шестнадцатого октября на заседании в Лесновской думе, — Зиновьев.

Сейчас он хватал за фалды (в буквальном смысле слова!) шагавшего, склонив в его сторону голову, широкоплечего человека в сдвинутой набок простенькой кепке. И тот — слышно было и Кате и Анне — отвечал ему и насмешливо и грустно вместе с тем:

— Не только провинность, батенька, но и прямо антипартийное преступление! Подлейшее!

Боже, да ведь Анна уже слышала сегодня этот голос! Совсем недавно, в толпе. Таким точно голосом говорил тот самый... седенький, с повязкой. Но на лице у э т о г о... нет повязки, голова не седенькая.

А Катя узнала его и вспомнила точно — тоже по голосу.

— Ленин... Честное слово — товарищ Ленин! — шепнула она обоим Артемьевым.

Студент словно врос в землю, встав на караул. Сестра же его уронила, задыхаясь, обычные бабьи слова:

— Ой, какая же я дура...

— Нет, так нельзя, это жестоко со стороны Цека. Я буду ждать вас наверху, Владимир Ильич, — закончил свою просьбу фальцетом отвергнутый сейчас Лениным человек, перед которым, пропустив всех вперед, Дзержинский захлопнул дверь.

— Значит, я беседовала с Лениным. Вот оно что!

И Анна стала рассказывать о сегодняшней встрече с Владимиром Ильичем. «Надо записать все, до мелочей».

У комнаты номер четырнадцать вырос в минуту вооруженный караул из двоих рабочих и двоих матросов.

Только сейчас пробившийся с улицы Захар Матвеевич, увидя караульных у этой двери, спросил Колю Артемьева:

— Тут что, сынок, денежный ящик поставили?

И когда Николаша совсем тихо сказал ему: «Ленин», солдат выпрямился во всю грудь и взял под козырек.

— Сегодня, Коля, кончился, видать, срок моему заруку. Пробьюсь я к Владимиру Ильичу Ленину. Вспомните, скажу, наш общий вагон в апреле месяце и общий разговор. Ну, скажу ему, разрешите вы сами, прошу вас, товарищам принять меня в большевики.

Анна и Николаша видели, как из конца коридора, расталкивая встречный поток людей, торопился сюда Антонов-Овсеенко, уже оповещенный, вероятно, о заседании с участием Ленина.

Часа в три ночи в сопровождении все той же Кати, с которой быстро подружилась, Анна Артемьева пробралась снова к уже знакомому телефонному аппарату и связалась с выпускающим «Новой жизни».

— Товарищ, это говорит с вами Анна Артемьева. Не знаете такой?.. Меня знает Максим Горький. Да, сотрудница. Я говорю из Смольного... Ах, вы ждете сообщения от другого вашего сотрудника? Он тоже здесь?.. От него звонка не дождетесь. Да, выключены. Ну, записывайте, как говорите, «на всякий случай»... Вспомнили? Да, моя статья о поэзии. А теперь о другой совсем поэзии... Записывайте, товарищ машинистка. Свои заметки называю «Два лагеря». Подзаголовок первый. Двоеточие. «Покройник не может распоряжаться на своих похоронах. Так сказал Ленин».

...Заснула рядом с Катей, составив два стола вместе.

На полу улеглись Николай, Вася Чернокутов, солдат Захар Матвеевич и еще каких-то восемь человек. В ногах у каждого из них лежала винтовка.

Эту ночь Викентий Константинович Серебров также провел вне дома. Пришлось перемогаться почти без сна в Зимнем, в непосредственном заседании с опочивальней министра-председателя, охраняемой теперь двойным составом юнкерского караула, усиленного к тому же эсеровскими офицерами.

О последнем распорядился единомышленник премьера—Петр Рутенберг. Он уже сменил свой туристский наряд на защитного цвета куртку и брюки-галифе с желтыми новенькими крагами. Это была точная, верно-подданническая копия с костюма Керенского.

На одиннадцать часов утра премьер назначил заседание Временного правительства. Викентию Константиновичу, исполнявшему теперь обязанности управделами правительства, задержанного еще с вечера большевистским патрулем на Марсовом поле, приходилось всю ночь готовить материалы, документы, военные сводки, агентурные донесения, какие могли и должны были понадобиться утром Временному правительству.

В половине третьего ночи он и генерал для поручений при министре-председателе Левицкий передали в Ставку, Духонину, приказ Керенского: все полки 5-й Кавказской казачьей дивизии со всей артиллерией, а также 23-й казачий полк, находящийся в Финляндии, направить по железной дороге в столицу и выгрузить на Николаевском вокзале.

От себя лично генерал Левицкий добавил по прямому проводу:

— Фактически в данную минуту гарнизон Петрограда, за исключением небольшого числа частей, на стороне большевиков или нейтрален. Зимний дворец, по-видимому, окружен, дело принимает серьезный оборот. Вероятно, скоро уже не смогу говорить.

На рассвете генерал Духонин вызвал к прямому проводу министра-председателя.

Лишь полчаса назад Керенский вернулся из штаба округа, где вместе с Коноваловым, Кишкиным и обоими Петрами совещался с группой военных — окружением генерала Багратуни.

— Полковникова надо арестовать! — сделал вывод министр-председатель. — Он предатель. Его пассивность — это была военная хитрость, господа. Он, вы сами видите теперь, в контакте с Союзом казачьих офицеров, с родзянковцами и другими реакционерами. Руками большевиков они хотят свергнуть правительство. А потом только они бросят все свои силы для изгнания Ленина и его компании из Санкт-Петербурга.

Он так и говорил всюду и всегда: «Санкт-Петербург», хотя державное, императорское «санкт» давно уже никто не произносил.

Духонин перечислил Керенскому части, которым приказано прибыть в столицу для защиты Временного правительства. В частности, полкам 1-й Донской казачьей дивизии под командованием генерала Краснова, которые направлялись в 1-ю армию для подавления «бунта» пехоты, приказано теперь изменить направление и немедленно двинуться походным маршем через Лугу — Гатчину в Петроград.

— Александр Федорович! — заявлял Духонин. — Я требую обязательно одного: выслать навстречу войскам и дивизии Краснова особо доверенных лиц. Офицерам и казакам надо открыто сказать, что именно они, Александр Федорович, являются спасителями Петрограда и родины. И не стеснять их... в действиях! Это ведь дело какое? Не воду бочками возить! Не стеснять их действий, Александр Федорович!.. Перехожу на прием.

Духонин ждал ответа — Керенский дал его:

— Благодарю вас, генерал. Сообщаю вам мое личное впечатление об обстановке. Как будто правительство находится в столице враждебного государства, закончившего мобилизацию, но не начавшего активных действий. Что касается того, чтобы «не стеснять», заверяю вас честным словом своим: стеснять не будем!

...В опочивальне Керенского пахло сильными духами. Коновалов поморщился, а Викентий Константинович не посмел как-либо выразить, войдя сюда, свое отношение к такому не мужскому пристрастию верховного главнокомандующего русской армии.

Он не запротестовал и тогда, когда тот, открыв французский флакон и налив из него духи на свою ладонь — бледную, почти совсем лишенную



четких линий, — неожиданно провел ею по вискам Викентия Константиновича.

— Это единственное, уверяю вас, средство перешибить наш русский солдатский запах. Вот уж полгода, как он висит буквально в воздухе. Всюду! — Керенский изобразил свои брезгливые чувства гримасой усталости.

И, не прикасаясь к лицу своему, мелко, судорожно пошевелил перед ним белыми длинными пальцами, словно чего-то ища на нем или снимая с лица не видимую никем, мешающую ему паутинку. Серебров уже не раз замечал в последнее время этот нервный жест Керенского.

Шел девятый час утра.

— Александр Иванович! — обратился Керенский к заместителю своему в правительстве — Коновалову. — Сегодня вы, прошу вас, будете руководить заседанием. И вообще отдаю вам все свои права и обязанности, Александр Иванович. Я решил, господа, сам встретить правительственные войска, идущие к Гатчине. Духонин рекомендует выслать им навстречу доверенных лиц. Прежде всего этим лицом буду я, верховный их главнокомандующий. Духонин требует почета для этих войск. Отлично! Какой еще может быть почет, чем тот, который окажет им верховная власть России, послав навстречу главковерха и премьер-министра?.. Я должен выехать отсюда через час. По вполне понятным вам соображениям мой отъезд из дворца, из Санкт-Петербурга, не следует здесь афишировать. Эти прекрасные юноши, которые, не стану преувеличивать, меня так обожают... — Он указал на дверь, за которой стоял юнкерский караул, и снял мизинцем с ресницы набежавшую от избытка чувств слезу. — Они не должны думать, что меня нет с ними. Они должны быть уверены, что я во дворце, в Санкт-Петербурге. Это даст им стойкость и силу... Викентий Константинович! — Он положил ему руку на плечо. — Прошу вас немедленно связаться с английским или американским посольством. С любым из этих двух! Я не могу, увы, предпринимать поездку в своем прекрасном автомобиле, хорошо известном всей столице. Объясните им поумнее и позамаскированнее, Викентий Константинович, чрезвычайную политическую важность моей поездки в иностранной машине... Петр Моисеевич! — Теперь надушенная ладонь опустила на плечо Рутенберга. — Я не могу взять с собой всех своих обычных адъютантов. Вызовите сюда немедленно помощника командующего округом Казьмина. Но главное, Петр Моисеевич, отрядите в мое распоряжение кого-либо из надежных, очень надежных офицеров нашей партийной группы. Понятно?

Через час просторный автомобиль, присланный секретарем американского посольства мистером Уэйтгаузом (звонок Сереброва Эркварту в гостиницу: «Простите, что в такой ранний час, но, друг мой...»), подкатил к Салтыковскому подъезду Зимнего дворца. Здесь не пришлось ждать ни одной минуты.

В сопровождении поручика Лаврушина и еще троих офицеров министр-председатель уселся в машину, забившись сразу же в правый угол глубокого заднего сиденья.

Флажок американского посольства служил машине наилучшим пропуском.

— Уехали... Помните, как у Чехова в пьесе? — сказал вдруг с лирическим вздохом хмурый Петр Рутенберг. — Не грешно сейчас, Викентий Константинович, утешиться «маргелем». А?

«Коньяк быстро нашелся, а вот продовольствие для двух тысяч защитников Зимнего уже на исходе», — с тревогой подумал начальник обороны дворца.

Правительство постановило: заседать непрерывно, дожидаясь вестей от своего исчезнувшего премьер-министра.

Днем заявился к Сереброву за «последними новостями» особо почитаемый теперь Эркварт. Он пришел одновременно с двумя солдатами, несшими белый флаг. Они оказались первыми большевистскими парламентарями, посланными Петропавловской крепостью.

Эти двое солдат нагнали журналиста у начала Миллионной улицы, где их и задержала застава ударников Пятигорского полка.

Застава — молодые задорные мальчишки, все в металлических шлемах, что придавало им несколько курьезный в обстановке современного Петрограда вид средневековых копейщиков. Тонкими, пронзительными голосами окликали они редких прохожих, пытавшихся пересечь площадь.

«Копейщики» заспорили с обоими солдатами, требуя, чтобы те отдали им пакет, адресованный Пальчинскому.

— Парламентареры. Нельзя задерживать, — вмешался Эркварт, обладатель магической книжечки английского корреспондента. — Пойдемте со мной. Я вам покажу куда.

По дороге он спросил:

— В чем дело у вас?

Побойчее и поразговорчивее солдат — со спокойными серыми глазами, с опрятными усами, человек уже не первой молодости, бывалый — ответил:

— В чем? Это дело вполне поспело.

Солдат указал на своего товарища:

— Он из крепости, а я из Смольного. Да. Такая наша делегация с белым флагом.

— Сдаетесь, значит? — пошутил Эркварт.

Петропавловец сдержанно засмеялся.

— Не для того орудия у нас накатаны на вал.

— Ой, не сдаемся, — деловито возразил первый, бывалый солдат. — Совсем не та бумага у нас. Ультиматум! — многозначительно произнес он и даже остановился при этом слове.

— А вы знаете, что значит — ультиматум? — заинтересовался этим солдатом Эркварт.

— Как не знать? Того к стене, кто перечит мне. Бумага такая, а в ней приказание: сдавайтесь, господа буржуазное правительство, через тридцать минут, а не то с крепости станут палить из пушек. Такой у нас имеется ультиматум. Да-а.

— Что же вы думаете, — возразил Эркварт, намереваясь произвести некоторый психологический эксперимент и тем самым испытать стойкость большевистских посланцев, — разве во дворце нет пушек? Да там и минный пулемет есть, и бомбомет, и разные машины. Такие, которые у вас, русских, еще не были в деле, — пугал он. — А начнут большевики штурмовать дворец, так их сотрут в порошок. Не всякий сидящий в обороне слабее своего нападающего противника. Ну, что?

Молчание. Глубокий вздох. И наконец голос степенного солдата:

— Оно, конечно, бывает в ином деле ошибка, это верно.

— О, вы сами видите! — обрадовался англичанин.

— Но я, господин, так думаю: натерела уже наша, крестьянская, овца — она и лучше боярской козы отбрыкается.

И спокойные, бесстрашные глаза эрквартовского собеседника засверкали лукавым смешком.

— Вот как? Я запомню ваше выражение для своей статьи... Как ваша фамилия? — спросил журналист.

— Моя?

Собеседник переглянулся со своим товарищем. Тот помыслил вслух:

— Наши фамилии в удостоверении пропечатаны на машинке. Чтоб знал Пальчинский, с кем разговаривать будет.

— Верно! — укрепился в своем решении первый парламентар. И назвал себя и товарища: — Мы есть Зыбин — я, значит, Захар Матвеевич — и Фролов, конечно.

Парламентарам завязали по всем правилам глаза платками, покуда вели по дворцу в кабинет Пальчинского. В соседней с кабинетом голубой комнате Захара Матвеевича и его товарища легонько обыскали (нет ли бомбы?), пакет отобрали, а самих парламентаров, но уже с открытыми глазами, усадили в кресла: дожидайтесь.

Офицер, распорядившийся всей этой церемонией, показался знакомым Захару Матвеевичу. Настолько знакомым, что Зыбин несколько раз порывался заговорить с ним: товарищ поручик, а ведь мы с вами встречались. Ей-ей.

Однако каждый раз сдерживал себя, памятуя наказ Подвойского и Еремеева: ни в какие лишние разговоры не вступать, слушать и наблюдать, держаться с достоинством. И еще: знать заранее, что ультиматум, конечно, будет отклонен, но... надо же посмотреть, как они примут наш первый «письменный выстрел», как сказал об ультиматуме товарищ Еремеев.

«Офицер как офицер, чего там?» — хотел уже Захар Матвеевич прекратить мысленные поиски того часа и места, в какой и где мог видеться раньше с молодым поручиком, но тот, словно видел эти поиски, ухмыльнулся вдруг.

— А я вас запомнил, господин агитатор. Но я проверял себя: тот самый или похожий только? Одно дело — голый человек, другое — в одежде. Ну что же, солдат-большевик, вот и опять встретилсь? — с открытой злобинкой в голосе сказал поручик Капля. — Так ведь?

— Ошиблись вы, я думаю, — решил из осторожности не признаваться Захар Матвеевич, вспомнив, с какой резкостью отозвался вчера этот офицер о Ленине. — Как говорится: солдат, солдат, а ну, где твой брат? Мой брат — это и есть я сам, солдат. Нас таких — миллионы, господин поручик, — вполне дипломатично ответил он поручику. (Прибаутку о солдатах он тут же счастливо выдумал.)

Офицер больше не обращался к нему ни с какими вопросами.

В кабинете Пальчинского происходило обсуждение полученного ультиматума. Сопровождение затянулось.

Когда Серебров и Эркварт вошли в приемную, они увидели поручика Каплю; нервно вышагивавшего по ней.

— Господа! — обратился он к ним. — Ну, что за долгие разговоры там? — Он указал на дверь. — Неужели они решили сдаваться?

Эркварт поковырял зубочисткой во рту.

— Похоже на то. Что вы скажете, мистер Серебров?

Викентий Константинович пожал плечами.

— Но ведь это скандал! — воскликнул Капля. — До утра можно все-таки продержаться. А к утру, кто знает, и подмога подойдет, пожалуй.

Эркварт стал поддразнивать:

— А вы, поручик, скажите все это Кишкину и Пальчинскому. Скажите: по-моему, господа, еще можно сопротивляться. Скажите!

— И то! Скажу! — вспыхнул Капля.

Он решительно нажал на опускающуюся металлическую ручку двери и вошел без доклада в кабинет Пальчинского.

Здесь, у большого круглого стола, под висячей хрустальной лампой, сидели и стояли Кишкин, оба Петра и генерал Багратуни. Генерал чему-то улыбался, а «диктатор» взволнованно пощипывал свои сивые усики на вдавленной губе.

Странно: никто как будто не удивился приходу офицера и тому, что он сам заговорил первым, без разрешения.

— Я, дежурный офицер при генерал-губернаторе, поручик Капля, осмелюсь спросить: не будет ли сейчас приказаний для меня и собранных мною ударников в количестве семидесяти двух человек? И вообще, можно ли рассчитывать на какие-либо приказания сегодня? Позвольте узнать защитникам Зимнего дворца: что же в конце концов решило правительство? Принять бой или сдаться?

— Слышите, генерал? — спросил Кишкин и повернул к Багратуни свою сильно лысеющую голову с плоскими висками. Не получив ответа, он вновь обратил ее к Капле. — О сдаче, господин поручик, не может быть и речи. Правительство единогласно постановило еще утром — сопротивляться, сопротивляться. Если мы теперь сдадимся, то выдадим на растерзание юнкеров, которые пришли защищать нас.

Капля понял, что этот довод приводился и до его самовольного прихода, но кто-то — очевидно, Багратуни — не внимал ему.

— Прошу прощения, ваше превосходительство, — осмелел поручик, — но тогда объявите об этом юнкерам и ударникам, а то они не знают, что думать. Скажите им, что будем драться, что надо драться.

Кишкин поднялся с кресла.

— Да! Генерал, я приказываю вам начать действительное сопротивление мятежникам. Действительное!

Багратуни продолжал улыбаться — невеселой, растерянной улыбкой.

— Как военный человек, я привык оценивать реальную обстановку, — бархатным голосом певца сказал он. — И, по-моему, реальная обстановка не представляет, к сожалению, данных для сопротивления.

— Как военный человек, вы обязаны умирать, если вам прикажут! — взревел лысеющий человек с сивыми усиками.

— Да, конечно. Но все-таки, господин министр, нет никакой реальной обстановки... для моей преждевременной смерти. Она нецелесообразна, моя смерть! — полностью согнав улыбку со своего выхоленного, мгновенно побелевшего лица, ответил генерал.

И, обратившись к Капле, он приказал:

— Господин дежурный офицер! Распорядитесь вывести большевистских парламентариев из дворца. Ответ передайте устно: ни в какие переговоры с мятежниками правительство и командующий не вступают.

— Слушаюсь, господин генерал.

Капля круто повернулся на каблуках и хотел выйти, но суетливый Пальчинский подскочил к нему и полюбопытствовал:

— Вы, говорят, тот самый офицер, который сказал, что у нас все время революция, революция, а пора уже и революции стать матушкой Россией? Да? Великолепно!

Когда в кабинете остались только оба Петра, «диктатор» заявил:

— Багратуни не годится, надо искать другого генерала. Вчера, господа, мы сделали с вами крупную ошибку: надо было принять услуги политического упряма Алексева. Принять, что бы там ни говорил Александр Федорович! Нельзя ли, господа, исправить ошибку?

— Нельзя, — мрачно отозвался Петр Рутенберг.

— Вы думаете?

— Я думаю. Нельзя потому, что все уже поздно. Будем говорить здесь правду: паралич!

К тому же заключению пришел за последние сутки и Викентий Константинович: да, паралич. В таком случае что же делать ему лично, Сереброву? Эта мысль неотступно преследовала его.

Решил: при первой же возможности, когда случится перерыв в заседании правительства, протелефонирует домой, Людмиле.

Заседания, в строгом смысле слова, не было: министры разговаривали. Иные и «философствовали». За общим столом или отойдя в сторонку.

— Шел я по улицам и видел кучки пронесившихся мимо меня людей,— говорил товарищ министра продовольствия, короткоухий, высокий старик кооператор. — Лица их, уверяю вас, вдохновенны и радостны. Ведь они уверены, что делают снова революцию. И спасают страну. Еще бы! Без малого сто лет твердили народу... с декабристов начиная... твердили о борьбе и разрушении существующего строя. Так разве можно остановиться за восемь месяцев?! Разрушен царский строй, разрушена армия, разрушены железные дороги, промышленность, торговля. Теперь большевики манят солдат миром, всеобщим поравнением земель и богатства. Скажете, что не соблазнительно? А потому да здравствует дальнейшее разрушение — вот ведь как, господа, обстоит дело.

Подхватив эту несложную мысль, другой участник «диалогов» в Малахитовом зале декламировал и декламировал:

— А помните, как поэт написал... как будто о том же?

А седок... он мне — тьфу!  
 Коли скажет: «Легче!»  
 Нет, мол, сел — так сиди,  
 Да сиди покрепче!

Эту ямщицкую удасть вижу я на лицах вооруженных матросов и большевистских солдат, наносящих России, своей же родине, один из последних смертоносных ударов... Мятеж этот — болезнь общерусская, затяжная. Дай бог, чтобы я ошибся.

Министр внутренних дел, меньшевик Никитин, который во время заседания-разговоров рисовал женские головки с сережками в ушах, искал объяснения всех бед в другом:

— Большевики есть прямое наследие войны, ее гниения, перешедшего внутрь государственного организма. Это и есть наилучшее обличение войны, обличение, господа, всей ее преступности, — не будем бояться суровых слов! Мечтали о цареградской эпохе... с Босфорским проливом, ну его к монахам, а получили вот что!.. — Он показал фигу. — От разбоя внешнего перешли к разбою внутреннему. Вы знаете, что я вам скажу? Ведь мы в своей среде... Есть, господа, жестокая жизненная правда в том, что все мы — герои тыла — из прекрасного далека аплодировали войне, а вот теперь должны ее испытать на своей собственной шкуре. Мы должны платить чистоганом, господа, за свои почетные кресла зрителей на спектакле мировой истории.

Последней женской головкой он остался недоволен. Несколькими резкими прочерками карандаша окарикатурив ее, он придал ей черты лица министра иностранных дел Терещенко. И, показав новый рисунок соседу, продолжал:

— Русская душа не вынесла ига милитаризма, и слава богу! В конце концов Ленин и большевики провалятся. Ну три, ну шесть месяцев. Но и нам уже нельзя будет потом играть в этикие военные «дурочки». Наш народ не любит войны. Это факт.

— «Народ»?

При этом слове желчной кровью наливался человек с крысиным, мертво-бледным лицом, в изящном сюртуке, с женственной рукой, униженной кольцами и перстнем: пригретый министром Терещенко крупный царский дипломат.

— Это, — шипел он на ухо своему шефу, — разбойничья орда убийц и грабителей. Сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве... Я всегда был, вам известно, либералом. Но теперь!.. Наша вера умерла и поругана. Нет более русского народа. Видела ли история такое оподление целого народа?.. Ненавижу я их всех всеми силами души и плюю им в наглуго, мерзкую...

Заняв телефонную станцию на Морской, большевики включили в сеть все телефоны Смольного и выключили связь с Зимним дворцом. Им думалось, что всю. Однако это было не так.

Во дворце, между тем, находился ряд не занесенных в реестр телефонных аппаратов, находились также аппараты секретные — прямой связи со штабом Ставки.

Телефонистки утаили это от рабочих и солдат, овладевших станцией, и Серебров беспрепятственно соединился с квартирой на Садовой.

— Люда, это я, дорогая моя, — обрадовался он, услышав голос жены. — Ну, как? Вообще-то не так уж хорошо, сама понимаешь, но волноваться за меня не надо. Я тоже. Очень, очень соскучился по тебе, дорогая. И по дому. Да, да, по дому... И Анна не ночевала? Это почему же?.. Ну, конечно, призвание, призвание, — усмехнулся он. — Сейчас дома, так. Что ты? Неугомонная, право, у тебя сестра. Для чего она рвется сюда? Хорошо, передай ей трубку. Анна? Здравствуйте, Анна. Слушаю... Прямо-таки Нестор-летописец. Ох, смотрите... Но я не предполагал, что мое знакомство с Эрквартом может вас интересовать. Пожалуйста, пожалуйста, милая. С каких пор «милая»? Не язвите... Хорошо. Если действительно намерены, то поторопитесь. Ну, конечно. Вы ведь посланник шестой великой державы... Что? Ах, Ленина самого видели... Да, не моего романа... Передайте трубку Люде. Не беспокойтесь, скажете офицерам, что ко мне... Люда? Я очень, очень устал, родная моя. Да, ты права. Да, да, надо думать о нас самих. Согласен: и о нашем третьем... Пойми меня верно. Слышишь? Говорю тебе по секрету: его здесь нет с утра. Да, если он не сможет вернуться, как хотел, и все будет так же глупо, то я постараюсь к ночи быть дома... Что? Анна уже убежала сюда? Как старики? Пожалуйста, обними их за меня. Целую.

Вызвав Эркварта из комнаты журналистов, Викентий Константинович сказал англичанину:

— Мисс Анна скоро будет здесь. Она просила вам передать, что хочет выполнить свое журналистское обещание. Она обещает рассказать вам о Ленине то, что, по ее словам, не может в настоящую минуту рассказать никто другой. Она только полчаса назад прибежала из Смольного.

— Наверное, сэр, это будет для нас с вами не очень приятно, но все же интересно для моей газеты.

Эркварт посмотрел на часы. Они показывали двадцать шесть минут седьмого.

Из Петропавловской крепости бухнул первый из обещанных выстрелов. Правда, холостой.

— Н-да-а... — состроил гримасу Серебров.

## 22

В южном крыле второго этажа Смольного находился большой зал пленарных заседаний Петроградского Совета — высокий, с двумя рядами массивных колонн белый зал, освещенный сегодня, несмотря на дневной час, глазированными светлыми канделябрами. В каждом из них помещались сотни электрических лампочек.

В конце зала — широкое, просторное возвышение. Оно, как и весь зал сейчас, битком набито людьми: зеленые и темные куртки, матросские бушлаты, солдатские шинели.

У самого переднего края на этом возвышении — Ленин.

Он хочет начать речь, но зал еще не исчерпал своих прорвавшихся уже наружу чувств — приветственные крики и рукоплескания взрывали зал. Разве можно остановить грохочущую огневую грозу, пока она не обрушится вся?

Так продолжалось несколько минут — гроза вот-вот, казалось, утихнет; но нет: она взвивалась и снова грохотала.

Сначала Владимир Ильич улыбался залу, а потом и отдельным друзьям и знакомым, замеченным им в рядах. Тут и сестры — Анна и Мария, которых столько времени не видел, рядом с ними — жена, Надежда Константиновна, вооружившаяся очками. Подальше — Бонч-Бруевич, Семашко...

Затем перестал улыбаться и стал недоуменно поглядывать в зал и на президиум Совета, пожимать плечами и неодобрительно махать руками — явный жест раздражения и даже гнева.

Он попытался пересилить чувства зала.

— Товарищи! — выкрикнул Ленин. — Да перестаньте!

Ничто не помогло!

Тогда Ленин обернулся к президиуму и потребовал, чтобы там хоть прекратили аплодисменты. Президиум подчинился, но зал все равно не утихал.

Ленин зажал руками уши, опустил голову — и зал смирился.

Анна Артемьева взглянула на часы: два часа тридцать пять минут, запомнила она.

— Товарищи! — раздался голос Ленина. — Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция?

И тут же, сделав два шага на помосте, ответил на свой собственный вопрос:

— Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций.

Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.

Одной из очередных задач наших является необходимость немедленно закончить войну. Но для того, чтобы кончить эту войну, тесно связанную с нынешним капиталистическим строем, — ясно всем, что для этого необходимо побороть самый капитал.

...Справедливый, немедленный мир, предложенный нами международной демократии, повсюду найдет горячий отклик в международных пролетарских массах.

— Внутри России, — говорил Ленин, — громадная часть крестьянства сказала: довольно игры с капиталистами, — мы пойдем с рабочими. Мы приобретем доверие со стороны крестьян одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьянства... В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства.

Да здравствует всемирная социалистическая революция!

...Теперь, когда он закончил свое слово, слово Центрального Комитета большевистской партии, о, теперь пусть рукоплещут, сколько хотят! Пожалуйста, теперь — другое дело, раз они чувствуют свою правду в его словах...

И он, Владимир Ильич, сам захолопал крепкими, широкими своими ладонями, когда услышал чей-то сильный, раскатистый голос из центра зала:

... Да здравствует власть Советов! Да здравствует смелая партия большевиков!

Вечером открывался съезд Советов, к этому времени правительство Керенского должно было пасть, быть низвергнуто, а вот Зимний дворец все еще не взят...

— Факт это или не факт?

Владимир Ильич обводил взглядом собравшихся в комнате номер четырнадцать Подвойского, Сталина, Дзержинского, Свердлова.

— Отвечайте мне, товарищи: может быть, Зимний уже покорен? — Его глаза метали иронические стрелы в членов ВРК Еремеева, Рошалья, Чудновского.

— Вы же боевой главарь кронштадтских матросов, — обратился Ленин к Рошально. — О вас бог знает что писала всегда буржуазная пресса: Марат плюс сам Робеспьер, не иначе, батенька.

Нельзя было представить ничего более миролюбивого и смешного, чем фигура Рошалья. Толстый, нескладный, в торчащей во все стороны широкой солдатской рубаше явно с чужого плеча, с револьвером, неуклюже висящим на животе, — ни дать ни взять добродушнейший из смиреннейших обывателей, впервые взявшийся со страхом за оружие и не знавший, куда его деть...

— Пусть мне прикажут, и я сам поведу матросов на штурм, — сказал Рошаль спокойно и так просто, что никто не смог бы сомневаться в воинском подвиге этого отчаянного по натуре человека. — Впрочем, некоторые из наших матросов уже там, во дворце. — Он переглянулся с таким же толстым, как и он сам, Еремеевым. — Костя в курсе. И Николай Ильич — тоже. В Зимнем дворце, в первом этаже со стороны Александровского сада, находится лазарет, — объяснил Рошаль. — Переодетые матросы уже попали туда. То под видом «родственников» — посетителей, то в госпитальных халатах — как выходившие на улицу и возвращающиеся в палаты «больные».

— По имеющимся сведениям, раненые прячут их, оказывают помощь нашим агитаторам, — подтвердил Подвойский. — Зимний постепенно превращается из военного стана в арену политической, классовой борьбы, товарищи! Пятнадцать минут назад мне сообщили: казаки помитинговали, помитинговали — и сказали Пальчинскому: уходим, мы нейтралитет. Батарея Константиновского военного училища вышла из повиновения, снялась с позиций и тоже ушла. Победа уже обеспечена, Владимир Ильич, — говорил Подвойский, и лицо его светилось мягко и радостно. — Может быть, мы избежим и вовсе крови. Надо ждать с часу на час унижительного конца Временного правительства. Оно сложит оружие! Мы не открываем орудийного огня, мы верим в наше классовое оружие, оно умерщвляет в самом Зимнем власть Керенского. Соглашательский режим обращается в историческую пыль.

— Гм... гм... историческую пыль... — покосился в его сторону Владимир Ильич. — Когда-нибудь, вероятно, будут изучать историю наших дней, согласен, Николай Ильич. Но сегодня — лишь двадцать пятое октября тысяча девятьсот семнадцатого года, и надо еще делать эту историю, делать революцию, не замедляя ее, товарищи, ни на одну минуту! — бил в одну цель Ленин. — Зимний дворец должен быть наш! Сегодня же наш! Предлагаю послать немедленно второй ультиматум. Надеюсь, никто не возражает? Будем думать... Пушки крейсера «Аврора» и Петропавловской крепости навести на Зимний. Первые выстрелы — холостые! — распоряжался Ленин. — Я убежден, что это подскажет всем Кишкиным разумный ответ на ультиматум. Следует, чтобы передал наш ультиматум...

— Я! — не дал ему закончить фразу солдат Чудновский.

— Вы хотите? — спросил Дзержинский.

— Да, Феликс Эдмундович. Уполномочьте меня, товарищи, — попросил Чудновский.



Его худощавое, матовое, черноглазое лицо покрылось от волнения потом и румянцем.

Он давно уже хотел курить (в присутствии Ленина, не терпевшего табака, никто не дымил), машинально уже выложил давно на колени, одну вслед за другой, две вождельные папиросы, а теперь и третью, вынул спичку из коробки, зажег ее, но тут же погасил и бросил.

— Хорошо. Я лично согласен,— подошел к нему Ленин и пожал руку.

— Нельзя одному идти,— деловито сказал Свердлов.— Нужен помощник. На всякий случай.

— Даже два,— поддержал его Феликс Эдмундович.

— Технические помощники?

— Да, товарищ Еремеев. Это может быть молодежь. Даже совсем молодежь.

— Толковая, однако?

— Конечно, Владимир Ильич. Говорю потому так,— объяснил Дзержинский,— что пришла в голову одна мысль.

— Ну те-с?

— Могу рекомендовать в помощники товарищу Чудновскому Денисова. Мы с вами, Яков Михайлович, хорошо его знаем.

— Да,— кивнул Свердлов.— Подходяще. Второго Чудновский сам подберет.

Дверь открылась, и вошел Калинин. Он приблизился к Ленину и вполголоса сказал:

— Ну, прямо-таки истерику закатывает. Мне, мол, еще вчера был обещан разговор. А теперь вдвоем они тут, за дверью. Он и Каменев. Тот, знаете ли, совсем «юморист». Это что? — говорит. В такой исторический момент и... сепаратные, мол, какие-то заседания.

Владимир Ильич сильно поморщился.

— Михаил Иваныч, не в службу, а в дружбу: откивайте их! Откивайте, пожалуйста.

«Откивайте»... Это было его собственное, ленинское словечко — когда не хотел кого-либо видеть или принять.

Цепи осаждающих с каждым часом все ближе и ближе подступали к площади Зимнего дворца. Они становились все гуще и гуще.

К семи часам вечера последняя резиденция Временного правительства была окружена со всех сторон.

Красногвардейцы, матросы, солдаты смыкались теснее и теснее вокруг дворца. Перебежкой они последовательно занимали все исходные для штурма Зимнего углы улиц и прикрытия: по Адмиралтейской и Дворцовой набережной, по Морской, Невскому проспекту, Конногвардейскому бульвару.

Отряды юнкеров, подогретые наконец речами Пальчинского и Рутенберга, забаррикадировались у ворот дворца, у многочисленных его подъездов. Они зорко следили за движением головных большевистских цепей и всякое продвижение их встречали ружейным и пулеметным огнем.

Площадь оставалась пустынной, никаких укрытий для себя осаждающие здесь не могли найти. Площадь находилась под прицелом пулеметных и мелкокалиберных артиллерийских гнезд. Тут не так-то просто начинать бой, рассудили в ВРК...

На Миллионной, на открытых огню набережных восставшие осторожно занимали каждую впадину и, заняв ее, казались слитыми с гранитными стенами.

Солдаты Павловского полка, овладевшие Невским, вместе с кексгольмцами заняли штаб Петроградского округа и арестовали там генерала Багратуни.

Генерал пошевелил черными червяками-бровями и простодушно сказал:

— Вы могли это сделать еще вчера.

Его место в кабинете командующего занял смольнинский комиссар— Антонов-Овсеенко.

Принесли на руках и поставили под аркой Главного штаба, увенчанной бессмертной колесницей Победы, полевое орудие, нацелив его на ворота дворца. Рядом с орудием походная кухня кормила красногвардейцев.

К восьми часам вечера, когда Чудновский в сопровождении Никиты Денисова и вызвавшегося следовать вместе с ними Николая Артемьева вошел с белым флагом в Зимний, а сестра студента, Анна, сидела там же с журналистским блокнотом в руках, положение у стен дворца было таково, что стоило только приказать «На штурм!» — и кровью нескольких сотен героических воинов восстания революция быстро овладела бы последним убежищем уже свергнутого ею правительства.

Но крови этой никто не хотел в Смольном: ни крови людской массы, народа, ставшего под ружье, ни крови любого отдельного рабочего, матроса, солдата — сроднившихся между собой в жизни товарищей.

## 23

Весть о том, что прибыл «представитель Ленина», быстро разнеслась по Зимнему дворцу.

Из этажа в этаж, из коридора в коридор, из одного зала в другой передавали, что «посольство» Смольного состоит из члена Военно-революционного комитета — солдата Чудновского, какого-то рабочего в кожаной куртке и широкогрудого, вымахавшего ростом чуть ли не в сажень молодого студента.

«Посольство» не могло пожаловаться на отсутствие внимания к себе: на них сбежались посмотреть растерянные ударницы из батальона Бочкаревой; их останавливали и зазывали к себе для «вопросов и ответов» озабоченные уже не судьбой правительства, а своей собственной юнкера (особенно настойчивы были юнкера 2-й Ораниенбаумской школы); их с любопытством разглядывали застрявшие во дворце чиновники, и даже некоторые министры поторопились к кабинету Пальчинского, куда ввели смольнинскую делегацию.

Создавалось такое впечатление, что приход этих совершенно чужих и, конечно же, враждебных людей вызвал здесь, во дворце, не только интерес и любопытство, но и затаенную, стыдливую радость.

Может быть, они-то и есть спасители, они-то и принесли освобождение от уныния и печали, заполнивших блуждающие в неизвестности наши сердца?

Подумав об этом, Викентий Константинович поймал себя на мысли: «Значит, сдаюсь? Поражение, значит, бессилие?»

И ответил себе:

«Сейчас, сегодня, нет другого выхода. Ну, а что будет завтра, что принесет будущее — об этом подумаем на свободе. Лишь бы только добиться этой свободы!»

Оставив Анну, Эркарта и еще двоих газетчиков в комнате Управления делами, Викентий Константинович, сопровождая Коновалова, вошел в кабинет Пальчинского спустя минуты три после прихода туда смольнинского «посольства».

Он не успел еще увидеть Чудновского, как в глаза ему бросились достаточно знакомые фигуры Никиты Денисова и Николая. «Николашка?! Это уж фантазмагория... Он-то здесь каким образом?»

При появлении заместителя министра-председателя Пальчинский захотел уступить ему свое центральное место за столом, но Коновалов жестом предупредил его — «пожалуйста, пожалуйста» — и сел сбоку в кресло. Викентий Константинович остался у дверей.

— Что вам еще угодно знать? — спрашивал между тем Чудновский, сидевший в кожаном кресле перед столом.

Сзади этого кресла стояли Никита и Николай.

Пальчинский повторил — очевидно, для опоздавшего Коновалова:

— Вы — Чудновский, и ваши полномочия удостоверены подписями Дзержинского, Подвойского и Еремеева. — Он протянул удостоверение «смольнинца» Коновалову. — Почему же нет подписи Ленина? Разве он не в Смольном? Или не он у власти у вас?

Пальчинский чуть поиграл своими оперными, «мефистофельскими» бровями.

— Сейчас власть в городе принадлежит Петроградскому Совету и его Военно-революционному комитету, — спокойно ответил Чудновский, отбирая в уме наиболее точные слова. — Сегодня вечером эта власть, но уже над всей Россией, будет передана съезду Советов, который и назначит новое, советское правительство. Мы все убеждены, что во главе его станет товарищ Ленин.

— Так...

— Так, — отозвался, как эхо, на реплику Коновалова Чудновский.

Временный премьер-министр сказал что-то по-французски Пальчинскому. Тот ответил быстрой, но не короткой фразой и как будто оборвал ее, заметив сдержанно ухмылявшееся в тот момент лицо молодого студента.

— Осторожно! На всякий случай... — бросил уже по-английски Пальчинский, намекая, что этот студент вполне интеллигентного вида понимает, возможно, французскую речь.

Если бы так! Николаша уразумел из сказанного всего лишь одно-два слова... И ухмылялся он потому, что вспомнил сейчас всегдашние мамины упреки в том, что, не в пример Людмиле и Анне, он не пожелал обучиться по-настоящему хоть какому-нибудь иностранному языку, предпочтительно, по мнению Серафимы Капитоновны, французскому.

И потому, вероятно, что невинная ухмылка его показалась подозрительной, Пальчинский обратился к нему:

— Ваша фамилия, господин студент? Вы в каком качестве?

— В хорошем.

Все засмеялись. А ведь он, Николаша, просто не понял смысла заданного ему вопроса и — глупо это, конечно, — подумал, что спрашивают... о его состоянии. А чувствовал он себя действительно хорошо.

— Эти товарищи — мои порученцы... в моем распоряжении, — ответил Чудновский. — Их удостоверения также лежат у вас на столе, гражданин Пальчинский. Фамилии: Денисов и Артемьев.

— До сих пор я знал неизвестного акционера и банкира Денисова, — попытался шутить Пальчинский, снова поиграв сломанными бровями.

— Не беру себе в родственники, — буркнул Никита.

— Взаимно, надо думать... А из Артемьевых... кому же не известен в Петербурге профессор, врач Артемьев? Ваш однофамилец, господин студент, уважаемая, благородная личность, — насмешливо сказал Пальчинский.

Никита Денисов готов был тут же ошарашить язвительного «генерал-губернатора» — отрекомендовать ему сына Ивана Сергеевича, но увидел в дверях Серебров — и смолчал.

Видел его и Николаша, скосив глаз.

Двух суток еще не прошло, как они расстались, как ушли из общего дома в разные стороны. а казалось теперь юноше, что последний раз виделись они давно, что должны смотреть и действительно смотрят украдкой друг на друга, с любопытством.

Они не знали, что точно произошло с каждым из них за это короткое, но и просторное время жизни, однако правильно, по сути, догадывались они об этой жизни.

Серебров думал: «А ведь мальчишка в конце концов пропадет ни за грош. Воображаю горе Людмилы».

Или, напротив, совсем по-иному: «Неужели я проморгал в нем что-то очень важное, даже значительное? А вот тот это важное унюхал и подобрал для себя, да?»

«Вот тот» — Никита Денисов, примириться с любовью к которому в семье Артемьевых Викентий Константинович не мог.

А Николай, видя Сереброва, помнил, как тот два дня назад поучал его: «Не суй пальцы в прихлопывающуюся дверь. Понятно?»

Еще бы! Это они, здешние, — Коля Артемьев глядел на них: на Коновалова, Пальчинского и других, — думали прихлопнуть революцию. Вот здорово, как все решительно изменилось за сорок восемь часов!

— Прекратите ненужное, безнадежное сопротивление, — говорил все так же спокойно, почти не двигаясь в кресле, Чудновский. — Мы не хотим кровопролития. И для чего его хотеть рабочим и крестьянам? Наша сила ни у кого не должна вызывать сомнений. В Питере за нас весь гарнизон, за редким исключением, и флот. Посмотрите в окно. Темно, и вы не видите орудий Петропавловской крепости, но вы знаете, что они в руках революционных солдат. А крейсер «Аврора» освещен, вы видите. Нетрудно догадаться, что если...

Чудновский умолк. Наступившая пауза договорила, однако, то, что мог он сказать. «Аврора» стояла совсем близко: у Николаевского моста.

— Зимний дворец — это, помимо всего, еще ценнейшее произведение искусства, — снова заговорил посол Смольного. — Вы и это учтите.

— Не учите! Сами ученые! — выкрикнул инженер Пальчинский. — Что еще прикажете учесть, господин солдат?

— Еще?..

Стоя позади Чудновского, Никита увидел, как мгновенно побурела его шея.

— Еще следует учесть, гражданин представитель Временного правительства, что по всем правилам переговоров я считаю вас равным себе. Я, как вы заметили, не повышал голоса и вас прошу этого не позволять себе.

«Вот это умыл!» — восхитился Николаша.

— Итак, — продолжал Чудновский, вставая, — вам известны наши требования. Ваш ответ прошу сообщить Военно-революционному комитету через меня в течение тридцати—сорока минут. Зимний соединен связью со штабом округа. Штаб занят нами. По телефону отсюда я доведу до сведения своих товарищей ваш ответ.

И после этих точных, отобранных, строгих слов прозвучали совсем иные:

— Я прошу вас... заклинаю... не идите наперекор народу!

Схватив за руки Никиту и студента, Чудновский почти выбежал из кабинета.

В дверях Викентий Константинович успел сказать тихо Николаше и Денисову:

— Что делать с Анной? Она здесь.

«Анна?»

Никита пробормотал:

— Приведите ее лучше к нам...

В кабинете Пальчинского началось совещание министров. Минут через двадцать оно было прервано: Ставка вызывала к прямому проводу. В аппаратную бегом направились Коновалов и Пальчинский.

Генерал Духонин сообщал: в Ставке шло спешное собрание сил в помощь Временному правительству. Телеграмму Петроградского военно-революционного комитета, извещавшую о восстании, от армии скрыли. Сообщили об этом только командующим фронтами. Самокатные батальоны должны прибыть сегодня вечером в Петроград.

— Довольны ли вы артиллерией, прибывшей к вам сегодня днем из Павловска?

Пальчинский уцепился за плечо Коновалова. Артиллерия?! Из Павловска?

Она действительно приказом Духонина была направлена в Петроград, но не дошла до Зимнего — министры этого не знали, но в Смольном были в курсе дел.

Артиллеристы двигались без охранения, отнюдь не предполагая, что на них могут напасть. На Морской улице их ждала засада в подворотнях домов. Атака красногвардейцев Путиловского завода была стремительна и внезапна. Артиллеристов обезоружили, пушки были отобраны и обращены против Зимнего дворца.

— Что же у вас есть? — спрашивала Ставка.

Пальчинский ответил:

— Во дворце осталось триста десять человек 2-й Петергофской школы прапорщиков, триста пятьдесят два — 2-й Ораниенбаумской при девяти пулеметах, сто тридцать ударниц Бочкаревой, рота юнкеров Инженерной школы, юнкера школы прапорщиков Северного фронта, один броневик «Ахтырец» при двух пулеметах и еще два орудия. Кроме того, во дворе Зимнего находятся пятьдесят — шестьдесят случайных военных.

— Ко всему этому добавьте, — сообщал Духонин, — 9-й и 10-й Донские полки с артиллерией и два полка 5-й Кавказской дивизии, которые придут в Петроград завтра.

— Дай-то бог! Знаете ли вы, где Керенский? — поинтересовался его заместитель.

— Знаю. Сейчас он между Гатчиной и Псковом, — ответил Духонин. — Ждите его с частями генерала Краснова.

— Благодарим вас, генерал. Вы вернули нам веру и силы. Теперь мы будем держаться.

Из аппаратной Пальчинский и Коновалов возвращались по Фельдмаршальскому коридору. Здесь группа юнкеров окружила Чудновского; он о чем-то страстно толковал с ними. Тут же стояли смольнинские спутники его. Чуть поодаль — примелькавшиеся за эти дни газетчики и среди них девушка с мохнатыми ресницами, в демисезонном коричневом пальто. Вблизи этих людей — несколько офицеров, и среди них переговаривающийся с девушкой поручик Капля.

Этим-то офицерам, остановившись и пропустив вперед Коновалова, приказал Пальчинский:

— Взять под арест! — и указал на Чудновского, беседовавшего с юнкерами.

— Ну-ну, полегче! — выступил вперед Никита Денисов. — Так не полагается, господин хороший.

— Ведь это же парламентар! — запротестовал при общем одобрении какой-то из юнкеров. — Элементарная военная честь... недостойно это...

— Честь наша не позволяет так поступить с парламентарями! — подхватил другой голос, грубый, зычный, принадлежащий худенькому, малорослому армейскому штабс-капитану с солдатским Георгием на груди.

— Поручик Капля! — позвал Пальчинский. — Приказываю вам немедленно взять под стражу этого мятежного солдата... этого большевика из Смольного. Обеспечить надежный караул!

Анна издала пристально, с тревогой и любопытством всматривалась в Каплю.

— Господин министр! — вытянулся перед ним Афанасий Капля. — Считаю обязанностью доложить, что я целиком согласен со штабс-капитаном, георгиевским кавалером Подхомутниковым.

— Вы все с ума сошли, господа! С ума сошли от страха, — презрительно сказал Пальчинский. — Напрасно, господа! В Петербург вступают правительственные войска! — как можно торжественнее объявил он. — Через несколько часов от бунтовщиков останется одно лишь воспоминание. Военно-полевые суды быстро наведут порядок и законность.

В коридоре появились привлеченные шумом Петр Рутенберг, министр Никитин, Серебров и несколько других причастных к Временному правительству человек.

Пальчинский взбадривал и себя и своих друзей:

— Господа офицеры и юнкера! Правительственные войска ведет генерал, уже расправившийся с трусливой пехотой на фронте. Дай бог, чтобы ему не понадобилась здесь для вислицы Александровская колонна.

Это была злая и неумная шутка — Пальчинский понял, что именно так и расценивают все его слова, и он решил исправить свой промах:

— Но мало ли чего захочет генерал! Генералом распоряжается идущий вместе с войсками Александр Федорович Керенский!

Чудновский и Никита отыскивали глазами друг друга.

— Взять его под стражу! — снова закричал Пальчинский. — Или я сам его застрелю!

И он дрожащей рукой вытащил из кармана дамский браунинг.

Петр Рутенберг обхватил его сзади.

— Не смейте! Разве можно так? Истерия...

Он поднял его и, словно неодушевленный предмет — самовар или колонку с гипсовой скульптурой, переставил на другое место.

— Какой же ответ на ультиматум? Да или нет? — громко спросил Чудновский, взлохматив рукой свои черные вьющиеся волосы, которым, казалось, никогда не нужна была никакая шапка.

— Вы получите ответ через пять—десять минут! — заревел, вынув сигару, Петр Рутенберг. — Прошу подождать здесь.

Он подозвал Каплю и штабс-капитана Подхомуникова и что-то тихо им сказал. Офицеры кивнули — будет сделано.

И снова в Фельдмаршальском коридоре остались юнкера и офицеры, газетчики и Анна, Чудновский со своими спутниками.

Потребовалась минута глубокого молчания, чтобы каждый из них мог привести в порядок свои мысли.

Обусловленный ультиматумом срок прошел с двойным излишком, а ответа не было. Никаких сведений от Чудновского и о нем самом!

Из штаба округа Антонов-Овсеенко позвонил в Смольный, в ВРК:

— Что делать?

Ответил Ленин:

— Ждите еще пять минут. Но только пять. И тогда открывайте огонь. Сигнализируйте Петропавловской: пусть сначала холостыми. Помните, пожалуйста: холостыми! Но не один выстрел, как это было в первый раз, а — десятка полтора. Затем — передышка. Посмотрим, как откликнутся во дворце. Если вы что-либо не поняли, — спрашивайте.

— Я все, все понял, Владимир Ильич. Будет выполнено.

Прошли и эти пять минут выжидания. Ничто не изменилось.

И тогда из штаба округа по всем цепям осаждающих был дан приказ: открыть по защитникам Зимнего пулеметный и ружейный огонь, пойти на приступ. Петропавловке — поддержать наступающих орудийными холостыми выстрелами. Полевой артиллерии, стоящему под аркой Генерального штаба, — ударить снарядами по забаррикадировавшимся юнкерам у ворот дворца.

В зале заседаний Городской думы собрались гласные — «отцы города». Все, кроме большевистской фракции.

Выходившие на трибуну молитвенно простирали руки в сторону расположения Дворцовой площади и десятками проникновенных эсеров-кадетски-меньшевистских и прочих голосов зывали:

— Сейчас, когда умирают наши избранники, забудем все партийные счета и разногласия. Пойдем все в Зимний! Пойдем защитить Временное правительство или умереть вместе с ним!

Партийные фракции Думы стали обсуждать по комнатам: умирать ли вместе с правительством или повременить? Энесы, эсеры и меньшевики решили умирать. Кадеты дали согласие... на смерть членов этих партий и, со своей стороны, вынесли решение принять участие в демонстрации, предпринимаемой «социалистической демократией».

Предложение идти в Зимний дворец сейчас, ночью, было подвергнуто поименному голосованию всех членов Думы. Каждый «отец города» вставал с клятвой на устах:

— Да. Иду умирать вместе с Временным правительством.

Не обнаружили охоты умирать трое мартовцев — меньшевики-интернационалисты. В самоубийцы записалось шестьдесят два человека.

На углу Невского и Екатерининского канала, у дома Зингера, думское шествие наткнулось на пикет из моряков и солдат.

Сеял мелкий дождик. У многих думцев были в руках раскрытые зонты. Под ними жались друг к другу попарно ночные путешественники.

— Это что еще за компания? — полюбопытствовали пикетчики, заглядывая под зонтики.

— Посторонитесь, товарищи! Петроградская городская дума идет в Зимний дворец, чтобы разделить участь своего Временного правительства, — ответил кто-то драматическим ораторским голосом.

— Умирать не ходят с зонтиками, — сказал рассудительно солдат Захар Матвеевич Зыбин. — Значит, вранье у вас и вранье. Отправляйтесь-ка лучше по домам, грибы!

— Правильно! И оставьте нас в покое и не доводите до греха! — резко прибавил матрос с кольцом на боку.

И «зонтики» повернули обратно.

Прожекторы «Авроры», прорезая ночную тьму, освещали вишнево-красный дворец. Сначала из окон его падал на площадь и набережную яркий свет, но, как только начался шторм, он всюду погас.

Раздался выстрел «Авроры» — сигнал к штурму.

Заговорили винтовки, пулеметы.

Отряды осаждающих продвигались все ближе и ближе к Зимнему. Их с нетерпением ждали матросы, пробравшиеся сюда через лазарет. Они скрывались теперь по темным углам коридоров и залов, покинутых уже правительством, его служащими и внутренней охраной.

Красногвардейцы, солдаты, матросы под пулеметную перекрещивающуюся скороговорку штурмовали дворец.

Они выскакивали на баррикады, перелетали через них и прыгали на плечи юнкеров.

Вот... они уже смяли их и ворвались в ворота Зимнего.

Двор занят. Плачут ударницы Бочкаревой. Двое офицеров, приложив дула револьверов к вискам, стреляются.

Штурмующие летят на лестницы. На ступенях схватываются с новыми юнкерами. Опрокидывают их, мчатся на второй этаж, разметают защитников дворца.

Рассыпаются по коридорам, залам. Где же Керенский, так его так?

Выбивают прикладами высокую дверь какого-то зала.

Несутся на третий этаж.

И всех обгоняет Антонов-Овсенко — в кашне, закутано ангинозное горло, на голове широкополая черная шляпа, в одной руке кольт, в другой — бесценное в мирной жизни пенсне.

Юнкера бросают оружие, помогают взламывать двери запертых комнат.

У Арабского зала, куда час назад перебралось Временное правительство, стоят окаменевшие от ужаса, скованные долгом службы двое юнкеров. На них наставляют штыки, и Антонов-Овсенко, командуя:

— Долой! Сдать оружие!

В центре слабо освещенного зала — кучка людей. Некоторые, завидев свою судьбу с наганом в руке, крестятся. Другие, опустив головы, закрывают рукой глаза.

— Именем Военно-революционного комитета Петроградского Совета объявляю Временное правительство низвергнутым! — на весь зал звучит горячий, напряженный голос Антонова-Овсенко. — Вы все арестованы!.. Товарищ Денисов, приступите к регистрации бывших министров!

Революция хлынула в Зимний и поднялась в одну ночь по ста семнадцати его парадным мраморным лестницам, распахнула настежь перед восставшим народом все тысяча семьсот восемьдесят шесть дворцовых дверей.

Буйная, стремительная поступь революции прогремела под сводами всех тысячи пятидесяти залов и комнат Зимнего дворца.

— Вот и все... Надо поскорее уходить отсюда. Вам есть куда, поручик? — спросил в темноте Викентий Константинович.

— Нет, — тихо ответил Капля.

— В таком случае пойдете ко мне. Сорвите ваши погоны только, — распоряжался Серебров. — Идете, идете, поручик. Нельзя искушать судьбу.

Они спустились по одной из ста семнадцати лестниц.

По другой из ста семнадцати шли, держась за руки, брат и сестра Артемьевы.

Из неведомого далека им светила жизнь, лежащая впереди.

Москва. 1953—1954 гг.





---

---

ГЕОРГИИ ЛЕОНИДЗЕ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ИНЕЙ...

Я миндальный куст рукою трогал.  
Солнцем сердце мне поит весна.  
Не один я,  
Не один, ей-богу,—  
Вся природа нынче влюблена.

Белый снег течет водою синей,  
Но не тает, став еще белей,  
Только иней,  
Только зимний иней,  
Белый иней седины моей.

Без него жилось мне как-то лучше,  
Тихо он проник в мои луга,  
Как лазутчик,  
Старости лазутчик —  
Моего смертельного врага.

### ВЕСНА В КАХЕТИИ

Что там — весна ль необозримая  
И звезд мерцанье в вышине,  
Иль просто женщина любимая  
Пришла с фиалками ко мне?

Сечет ли дождь весенний, окая,  
Потоки ли текут, звеня,  
Иль молодость моя далекая  
Опять окликнула меня?

С Гомбор гляжу я на Кахетию,  
И счастье у меня в груди,  
Во мне любовь. Не одолеть ее,  
Не веришь ты, так погляди.

Мне кажется, весны цветение  
К тебе несу я, как свечу,  
И, чтоб сберечь ее горение,  
Ладонью заслонить хочу.

*Перевел с грузинского Н. Гребнев.*

---

---

---

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

★

## ЛИРИКА

### ВЕЧЕР НА ОКЕ

В очарованье русского пейзажа  
Есть подлинная радость, но она  
Открыта не для каждого и даже  
Не каждому художнику видна.  
С утра обремененная работой,  
Трудом лесов, заботами полей,  
Природа смотрит как бы с неохотой  
На нас, неочарованных людей.  
И лишь когда за темной чашей леса  
Вечерний луч таинственно блеснет,  
Обыденности плотная завеса  
С ее красот мгновенно упадет.  
Вздохнут леса, опущенные в воду,  
И, как бы сквозь прозрачное стекло,  
Вся грудь реки приникнет к небосводу  
И загорится влажно и светло.  
Из белых башен облачного мира  
Сойдет огонь, и в нежном том огне,  
Как будто под руками ювелира,  
Сквозные тени лягут в глубине.  
И чем ясней становятся детали  
Предметов, расположенных вокруг,  
Тем необъятней делаются дали  
Речных лугов, затонов и излук.  
Горит весь мир, прозрачен и духовен,  
Теперь-то он поистине хорош,  
И ты, ликуя, множество диковин  
В его живых чертах распознаешь.

### НАД МОРЕМ

Лишь запах чебреца, сухой и горьковатый,  
Повеял на меня — и этот сонный Крым,  
И этот кипарис, и этот дом, прижатый  
К поверхности горы, слились навеки с ним.

Здесь море — дирижер, а резонатор — дали.  
Концерт высоких волн здесь ясен наперед.  
Здесь звук, задев скалу, скользит по вертикали  
И эхо средь камней танцует и поет.

Акустика вверху настроила ловушек,  
 Приблизила к ушам далекий ропот струй.  
 И стал здесь грохот бурь подобен грому пушек,  
 И, как цветок, расцвел девичий поцелуй.

Скопление синиц здесь свищет на рассвете,  
 Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.  
 Здесь время не спешит. Здесь собирают дети  
 Чебрец, траву степей, у неподвижных скал.

### КАЗБЕК

С хевсурами после работы  
 Лежал я и слышал сквозь сон,  
 Как кто-то, шальной от дремоты,  
 Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала  
 Заря, и, закованный в снег,  
 Двуглавым обломком кристалла  
 В окне загорался Казбек.

Я вышел на воздух железный.  
 Вдали, у подножья высот,  
 Курились туманные бездны  
 Провалами каменных сот.

Из горных курильниц взлетая  
 И тая над миром камней,  
 Летела по воздуху стая  
 Мгновенных и легких теней.

Земля начинала молебн  
 Тому, кто блистал и царил.  
 Но был он мне чужд и враждебен  
 В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,  
 Скопление домов и закут,  
 Казалось мне в это мгновенье  
 Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека  
 Справляя людские дела,  
 Живая душа человека  
 Страдала, дышала, жила.

А он в отдаленье от пашен,  
 В надмирной своей вышине,  
 Был только бессмысленно страшен  
 И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,  
 Внизу, из села своего,  
 Лишь мельком смотрели хевсуры  
 На мертвые грани его.

## ГОМБОРСКИЙ ЛЕС

В Гомборском лесу на границе Кахети  
Раскинулась осень. Какой бутафор  
Устроил такие поминки по лете  
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,  
Был клен в озаренье и в зареве бук,  
И каждый из них оказался виновник  
Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы  
Топорщил кустарник. За чашей вдали  
Рядами стояли дубы-старожилы  
И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи  
Наляпать из охры, огня и белил,  
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,  
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,  
Я весь растворился в пыланье огня.  
Подобно бесчисленным арфам и трубам,  
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,  
Я стал размысленном каменных скал  
И опыт осенних моих наблюдений  
Отдать человечеству вновь пожелал.

С тех пор мне собратьями сделались горы,  
И нет мне покоя, когда на трубе  
Поют в сентябре золотые Гомборья,  
И гонят в просторы, и манят к себе.



---

---

С. ГАЛКИН

★

## ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### ПЕРВЫЙ СНЕГ

*Снег примять ногою жалко в этот день.  
Кажется, не смеет лечь на землю тень.*

Ты опять о том же? Ты опять про снег —  
Первый снег, который потревожить грех.

Долго ты пытался словом передать,  
Как чиста, безгрешна утренняя гладь.

Но, как прежде, счастья попытать готов —  
Выразить стихами белизну снегов.

Для начала только веточку сосны  
Нарисуй под тонким слоем белизны.

На развилках вишен снег лежит гнездом,  
На дрожащих прутьях держится с трудом.

Да на грустных гроздьях, на ветвях рябин  
Башенки построил кто-то в миг один.

Только поселилась в башенках зима,  
Тишина приходит, радостно нема.

Тишину без слова передать умей.  
Как она нисходит, разглашать не смей.

Разве только думай, что тебе опять  
Тишина дается, словно благодать.

Думай: «Слава жизни!» Помни, что дана  
Нам с тобой недаром эта тишина.

## СЛОВО СВЯТО

«Мы писать раздельно строчки будем,  
Чтоб они понятней были людям.

Буковки мы станем выводить  
Так, как жемчуг нижется на нить.

Пусть не тесно буквам будет в слове, —  
Будет слово каждое толковей.

Пусть как можно четче на бумагу  
Лягут мысли, служащие благу.

Тысячи сердец словами радуй.  
Это будет для тебя наградой!» —

Так отец учил тебя когда-то.  
Ты же стал писать замысловато.

Правду ты опутал суетой.  
Ясное окутал темнотой.

Не теряя ни одной минуты,  
То, что ты запутал, сам распутай!

Вот о чем твердит мне без конца  
Строгий голос моего отца.

Вновь отец глядит в мои тетрадки:  
Все ли буквы у меня в порядке?

Е дружбе ли живут мои слова  
Или врозь, как под грозой трава?

Тесно ли моим строкам и фразам?  
Не зашел ли в слове ум за разум?

Он твердит мне, как твердил когда-то:  
— Помни, сын, что слово наше свято.

И еще запомни, что недаром  
Наделен ты вдохновенным даром.

Этим даром нужно дорожить,  
Чтобы людям легче было жить.

Пусть же тем, кого забота давит,  
Трудности искусство не прибавит!

*Перевел с еврейского С. Маршак.*



**МНЕ ЗВЕЗДА ОТРАДНА ЭТА...**

Мне звезда отрадна эта:  
Чистотой и блеском света,  
Тем, что ни одно светило:  
Свет подобный не струилю,  
Тем, что блеск ее ночной  
В капле заключен одной.

Мне звезда отрадна эта  
Тем, что блещет до рассвета,  
Тем, что, блеск на воды сея,  
Не становится тусклее  
На своем пути большом  
С звездной выси в водоем.

Мне звезда отрадна эта  
Щедростью безмерной света,  
Тем, что, свет ее вбирая,  
Я безмерность постигаю,  
Тем, что сразу отдана  
Небу и земле она.

*Перевела с еврейского А. Ахматова.*





---

---

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ

★

## ИЗ ПРОШЛОГО

*«...Главнейший во всей политике факт есть империалистическое насилие в отношении к народам, которые не имели счастья попасть в число победителей, и эта мировая политика империализма вызывает сближение, союз и дружбу всех угнетенных народов».*

В. И. ЛЕНИН.

### Линия дружбы

**З**а окном метель. Исступленная, бешеная. Чуть видна китайгородская стена, до которой от окон «Метрополя» рукой подать. Тяжелые снега завалили Москву, холодную и голодную. Во дворах, на улицах — сугробы. Среди них, сбиваемые с ног ветром, сгибаясь в три погибели, с трудом пробираются узенькими тропками заиндевевшие люди. Шаг в сторону, чтобы разминуться, — и в снег по колено.

Без крайней нужды носу не высунул бы на улицу, тем более, что в «Метрополе» относительно тепло, а я до изнеможения устал к концу суточного дежурства. Но идти нужно. На имя Георгия Васильевича Чичерина, у которого я работаю одним из секретарей, принесли только что доставленный дипломатической почтой из Ангоры<sup>1</sup> пакет за пятью печатями, пятижды прошитый и с крупными надписями: «Совершенно секретно. Весьма срочно. Только лично». Последние слова подчеркнуты тремя жирными чертами. Одновременно только что принято по радио и лежит у меня на столе сообщение, что ангорское правительство назначило своего первого посла в Москву — генерала Али Фуад-пашу, до этого командовавшего Анатолийским западным фронтом; с ним придут два члена правительства — Юсуф Кемаль-бей и Риза Нур-бей; вместе с Али Фуадом они явятся делегацией, которой поручено вести с нами переговоры о заключении договора о дружбе и братстве.

А Чичерин сейчас в Большом театре, где начинает работу Восьмой съезд Советов РСФСР. С докладом о деятельности правительства выступит Ленин. Доклад вот-вот начнется, если уже не начался. Радиограмма, несомненно, важна для докладчика. Не менее важны могут быть сведения, тающиеся в секретном пакете. Конечно, можно все это послать с нарочным. Но как упустить возможность побывать на съезде самому? И я быстро одеваюсь. Оставляю моему сменщику, Мите Цюрупе, — он придет с минуты на минуту — записку, что приду через час, запираю наше секретарское бюро, отдаю ключ от него и записку стоящему в дверях секретариата постовому и мчусь с четвертого этажа вниз.

Ух, и ветрище! Колет лицо ледяными иглами, спит! Обогнув крыло громадного здания, выхожу на площадь и еле удерживаюсь на ногах —

---

<sup>1</sup> Так в то время называлась у нас Анкара.

так набрасывается из-за угла разбойник ветер. Сквозь крутящуюся снежную сумятицу Большой театр — расплывчатое серое пятно. Трамвайный павильон перед ним, посреди площади, — Эльбрус среди меньших сугробов. Площадь пуста. Только маячат сквозь пургу посты оцепления. Одинокий вагончик трамвая мчится мимо павильона напрямую, бесшумно — выюга относит звук колес, — ни дать ни взять Летучий Голландец, раскачивающийся и ныряющий в белой пене поземок. Остановка у Большого театра на время съезда отменена. Движение экипажей и машин без специальных пропусков запрещено вовсе.

Я нахожусь внутри зоны оцепления, и добраться до театра мне нетрудно. Но в театр с главного входа не пускают. Предлагают пройти в один из боковых подъездов. Нахожу его. И тут поражающий сюрприз: горит электричество! Днем! Невольно первый вопрос об этом. Суровый, с квадратными, железными скулами начальник караула, в широкой и короткой черной медвежьей куртке, такой же ушанке и оленьих торбаках, оценив мое радостное удивление, улыбается и сообщает, что съезд будет обсуждать план... электрификации страны! Делегатам покажут большую карту с сотнями электрических лампочек. По этому случаю (и вообще ради съезда) обеспечили освещение Большого театра. Согнав с лица улыбку, матрос (я вижу тельняшку под распахнутой сверху медвежьей шерстью) сверлит меня наметанным взглядом чекиста. Вид у меня отнюдь не дипломатический: я все еще хожу в нагольной красноармейской «новобранке» на тесемочках (вместо дефицитных пуговиц и крючков), остро разящей овчиной. Но кого сейчас удивит такой наряд? Начальник караула не хочет меня впустить не поэтому, а просто для порядка. Сказано: «Лица, не имеющие соответствующего пропуска для входа в здание Большого театра или в зал заседаний, не будут допускаться к зданию (даже «к зданию») театра» — и все тут. Мне предлагают доверить пакет караулу. Но я категорически отказываюсь. Я обязан его вручить, как на нем написано, только лично, и притом немедленно, самому Чичерину. Медвежья куртка видит меня насквозь. Ему понятны мои истинные намерения, и он мне сочувствует. Рот нарочито суров, а глаза смеются.

— Оружие есть?

— Нет.

Потом он обращается к немолодому усатому красноармейцу в выдавшей виды шинели и заношенной папахе из искусственного волокна:

— Проводишь к товарищу Чичерину и обратно сюда же веди — ни минуты лишней! Государственную тайну сопровождаешь. Понятно?

Усатый, придав своему простому, в крупных рябинах лицу государственно-суровое выражение, вскидывает на плечо ремень винтовки и подпихивает меня к белой внутренней двери. Мы идем с ним сложным, длинным путем, лестницами, коридорами, переходами, то вверх, то вниз, в глубь театра, справляясь у внутренних постовых, где Чичерин. Постовые тоже проверяют документы. Велят идти на сцену. Пока мы идем, не раз доносится все ближе и ближе гул бурных аплодисментов.

— Ильича честуют, — говорит солдат, и на его усталом рябом лице обыкновеннейшие серые глаза цветут необыкновенной радостью.

Вот мы на сцене, в задней ее части. Такую огромную сцену я вижу впервые. Задрав голову, рассматриваю еле видные на тридцатиметровой высоте, тонущие в полумгле колосники. Передняя часть сцены и зал закрыты от нас опущенным декоративным задником. Оттуда, уже совсем рядом, грандиозным обвалом рушится овация, гремит, неистовствует. Несутся возгласы: «Да здравствует вождь мирового пролетариата товарищ Ленин! Ленину ура!..» И глуховато, обращенный в зал и не усиленный — ибо не родились еще микрофоны, — звучит высокий, слегка картавящий голос, которого не забыть тому, кто слышал, как этот голос звучал в семнадцатом году с балкона дворца Кшесинской:

— Товарищи, мне предстоит сделать доклад о внешней и внутренней политике правительства...

А это — перед задником, закрывающим президиум, — что такое? Та самая карта электрификации, о которой говорил матрос! Несколько человек, кто стоя внизу, кто на стремянке, а один в люльке, подвешенной к колосникам, заканчивают или проверяют проводку. Метровые синие и красные круги, сплошные и пунктирные красные линии, сливающиеся воедино розовые зоны покрывают Европейскую Россию. В каждом круге гнезда лампочка. Я узнаю, что синие круги — это существующие электростанции, красные — проектируемые, сплошные линии — железные дороги, которые намечено электрифицировать в первую очередь, а пунктирные — вторая очередь. Розовый цвет — зона действия электростанций. В районе Москвы сгрудилось целых восемь синих кругов. Эти электростанции уже существуют, уже работают, как и три в Донбассе! Значит, не сказка, не пустая мечта эта карта. Ленин знает, что делает, что говорит. Пусть сегодня в газете объявлено, что по трудпайку серии «В» будут выдавать фунт хлеба на четыре дня. Пусть темно и холодно в домах. Пусть кругом враги. И все-таки наша возьмет!

— Идем! — трогает меня за локоть мой провожатый. — Нет его тут, в президиуме. — Он делает ударение на «у». — В ложе дирекции, сказывают, сидит, с иностранцами какими-то...

Мы делаем новый, довольно сложный переход и выходим в пустое фойе бенуара. Караульные прильнули к дверям лож, слушая Ленина. Все же они сурово останавливают нас и спрашивают, кто мы и куда идем. Особенно строгий расспрос у директорской ложи. Наконец меня пропускают туда. Я наклоняюсь к уху Чичерина, непривычно нарядного (на глаз секретаря, который привык его видеть в одной жилетке, с теплыми рыжим шарфом, несколько раз обмотанным вокруг шеи), и шепчу о депеше и пакете.

— Тсс, — останавливает он меня, нервно вскидывая руку с длинными тонкими пальцами незаурядного пианиста, каким на самом деле был. — Как раз Владимир Ильич об этом...

«Опоздал!» — думаю я с досадой.

А Ленин, действительно, как раз касается Турции, прокладывает линию дружбы с этой страной.

— Мы должны, — говорит он, — отметить также, что дружественные отношения у нас все более и более налаживаются и укрепляются с Афганистаном и еще более с Турцией. — Говоря это, он поворачивается к литерной ложе бельэтажа напротив нас. — По отношению к последней державе страны Антанты делали все с их стороны для того, чтобы сделать невозможными сколько-нибудь нормальные отношения между Турцией и западно-европейскими странами. Это обстоятельство, в связи с упрочением Советской власти, все более и более обеспечивает то, что, несмотря на все противодействие и все интриги буржуазии, — делаемое Лениным в этом слове ударение на «а» тогда не казалось непривычным, — несмотря на сохранение буржуазных стран вокруг России, — союз и дружественные отношения России с угнетенными восточными нациями укрепляются, ибо главнейший во всей политике факт есть империалистическое насилие в отношении к народам, которые не имели счастья попасть в число победителей, и эта мировая политика империализма вызывает сближение, союз и дружбу всех угнетенных народов.

Слушая Ильича, замерли, переполненные до отказа, пять красно-золотых ярусом зала, замерла также переполненная позади стола президиума сцена, замер президиум... Как ярко освещен зал! И в нем тепло! Тепло от дыхания нескольких тысяч человек, снявших головные уборы, расстегнувших полушубки, шинели, пальто. Многие сняли их совсем, подложили под себя. Замечательнее всего глаза этих людей. Как они

сияют! Этой вот, например, в ложе рядом со мной, молоденькой, русо-косой, в мужской кожанке с серебряным делегатским значком (вертикально поставленный молот и серп, опрокинутый дужкой книзу), сжимающей в руках солдатскую папаху! Или ее соседки, тоже делегатки: статной, в военной шинели и теплом оренбургском платке, опущенном на плечи и открывшем темные гладкие волосы. Всем электролампочкам мира не пересиять сияние этих глаз! Ведь это люди мечты. Люди борьбы за эту мечту. Люди с фронтов гражданской войны, с заводов, из бурлящих деревень. Люди правды, которая была, есть и будет главной силой борющейся и побеждающей социалистической революции.

Бегло осмотрев зал, я, как и другие, врываюсь взором в Ленина. Его лицо мне кажется очень бледным. Может быть, от контраста с черным костюмом. Может быть, от того, что непривычно бел и ярк свет, наполняющий зал... Но сколько взрывчатой силы, в его стремительной речи, в его сильных, свободных жестах! Так стремится вперед могучая река, неудержимо, победоносно, вопреки всем преградам, одни беря штурмом, другие обходя, но все время двигаясь вперед.

Мой провожатый, ткнув меня в бок и обдав махорочным перегаром, шепчет:

— Сидело, было, его величество, а теперь накось, Коминтерн сидит! — И указывает на центральную ложу, когда-то царскую, теперь совнаркомовскую. — А вон ваши — дипломаты.

«Наших» я и без него уже заметил. В литерной ложе бельэтажа, напротив нас, много знакомых мне лиц, бывающих в Наркоминделе. Среди прибалтов, немцев, шведов сидит и временный связной Ангорского правительства, Осман-бей. Внизу, под нами, потеснив оркестр, расположились журналисты, советские и иностранные, все с блокнотами, все строчат. Музыканты сгрудились в неоккупированной прессой правой части оркестрового пространства. Рядом с немногочисленным дипкорпусом в ложе — военные. Ближе всех к сцене неподвижно, как изваяние, жадно ловя каждое слово доклада, сидит человек с темными волосами ежиком и небольшой бородкой, в защитной гимнастерке, с орденом Красного Знамени на груди. Поймав мой взгляд, провожатый шепчет мне:

— Фрунзе!

Вот он каков, герой Перекопа и Восточного фронта! Тогда, помню, я думал, глядя на него, только о том, что полтора месяца назад этот человек совершил невероятное: с полураздетой, полуразутой, скудно снабженной армией взял построенные Врангелем с помощью иностранных инженеров, считавшиеся неприступными позиции крепостного типа и сбросил в море последних белогвардейцев. Сейчас, вспоминая ту минуту, я думаю и о другом, о чем тогда не знал: в ложе напротив сидел большевик, за пятнадцать лет перед тем руководивший одним из первых Советов рабочих депутатов; лишь за пять лет до взятия им Перекопа — студент-экономист четвертого курса, ехавший под конвоем царских жандармов на многолетнее поселение в верхоленскую глушь; за три года до Перекопа — всего лишь начальник милиции в Минске. Миновал год, и студент-экономист, начальник минских милиционеров возглавил командование фронтами. Да как! Какой военный гений обнаружил при этом! Думается и другое теперь: он сидел тогда в ложе, впитывая слова Ленина, и не знал, что ему, тридцатипятилетнему, полному сил и замыслов, лишь пять лет суждено еще ходить по земле.

Ленин перешел к внутренним делам. Только тогда Чичерин прочел радиogramму и досадливо хлопнул себя по колену — тоже пожалел, что сообщение опоздало. Выйдя в аванложу и прикрыв дверь (чтобы не шуршать в зале), он с помощью моего перочинного ножичка вскрыл пакет. Наклонив, как птица, голову набок, приблизив бумагу к очкам, прочел

ее и сунул вместе с радиограммой во внутренний карман. Потом вырвал листок из блокнота, присел к столу и торопливо набросал несколько строк.

— Шифром! — коротко сказал он мне, взглянув, как всегда, в упор поверх очков своими коричневыми ястребиными глазами, и ушел в ложу.

Остаться в театре дольше, как ни хотелось, было нельзя, и я пустился с моим рябовато-усатым проводником в обратный путь.

Минув год. Бурный, отмеченный и победами советского народа, и острой принципиальной борьбой, и крутым поворотом во внутренней политике, и таким катастрофическим бедствием, как голод в Поволжье с его последствиями.

С осени я снова работал у Чичерина в Москве в прежней должности. Не раз в свободные ночные минуты (он работал вечером и ночью, а спал днем, с полудня до пяти) мы беседовали о литературе, преимущественно античной, и о музыке. Чичерин знал эти предметы настолько глубоко, что даже писал о них в печати.

В деловом отношении он приучал меня к абсолютной точности.

Однажды вечером, точно в назначенное время, я принес ему затребованные им материалы в его огромный кабинет, больше похожий на кабинет академика, чем министра иностранных дел. Посредине массивный стол, заваленный книгами, папками и газетами. Вдоль стен книжные шкафы и синие мягкие кресла, беспорядочно обремененные тем же грузом. В дальнем левом углу столик с маленькой лампочкой под синим абажуром и тремя телефонами: городским, метрополевским и кремлевским («вертушкой»). Когда я постучал, мне показалось, что Чичерин ответил: «Войдите!» Но я ошибся. Это он говорил по телефону, громко и взволнованно, сидя в своем обычном виде, в одной жилетке и с рыжим шарфом на шее, и в обычной позе — на самом краешке стула, сильно подавшись вперед, оперев локоть руки с трубкой в колено, положенное на другое. Весь он был какой-то взъерошенный, взбудораженный. Лицо в красных пятнах, взгляд близоруких карих глаз без очков скользнул по мне и не заметил меня. Разговор шел о манной крупе.

— Нет, Владимир Ильич, нет! Я вас прошу меня не принуждать! Категорически вас прошу! — Он картавил так же, как Ленин. — Истратить на себя целый килограмм манной крупы в порядке привилегии — нет, этого я себе не могу позволить. Это противоречит моим убеждениям! Владимир Ильич, катар желудка не у меня одного. Грудные дети сидят без манной крупы. Нет, нет! И не уговаривайте! Вы знаете положение не хуже, а лучше меня!..

Я тихо вышел, так и не замеченный им, положив принесенную папку на стол. Чем кончился спор о крупе, не знаю. Вероятно, Ленин сумел настоять на своем.

Одним хмурым ноябрьским утром, приняв дежурство у Цюрупы, я в его блокноте увидел крупную надпись красным карандашом: «Фрунзе — 6 ч.». Невольно вспомнился прошлогодний съезд Советов. Я знал, что Фрунзе должен быть у Чичерина в связи со своим отъездом в Ангору, о чем переписка с Турцией велась еще с весны. Официальной задачей Фрунзе было подписать с турками договор о дружбе и братстве между ними и СССР по образцу заключенного в Москве 16 марта 1921 года. В действительности на него возлагалась гораздо более ответственная задача.

После осенних побед кемалистов над королевской греческой армией и связанной с этим перемены в отношении к борющейся Турции со стороны Франции и Италии в некоторой части кемалистского руководства заметно обозначилось стремление к перемене ориентации с восточной на западную. Правда, посол Али Фуад-паша особой нотой удостоверил по

поручению своего правительства, что недавно заключенный торговый договор с Францией не содержит в себе ничего, что хоть сколько-нибудь могло бы поколебать московский договор в его букве и духе, и что вообще ни один договор Турции никогда не будет противоречить политике дружбы с русским народом. Но удостовериться в искренности этой декларации и по-настоящему укрепить дружбу советского и турецкого народов, родившуюся в совместных боях против мирового империализма, не мешало. Это и было возложено Лениным на Фрунзе.

Надо заметить, что турецкие дела приобрели в то время для меня личный интерес. Незадолго до того С. И. Аралов, с которым я летом работал в Прибалтике, получил назначение полномочным представителем РСФСР в Ангору и предложил мне вновь ехать с ним. Я согласился, и Чичерин также дал на это свое согласие.

Фрунзе появился в дверях секретариата ровно в шесть. Его крепкую невысокую фигуру красиво облегалла новая форма с голубыми перехватами в красной окантовке и четырьмя ромбами на голубом накладном щитке левого рукава. Под орден Красного Знамени подложен был алый шелк. К поясу пристегнуто почетное оружие, которым его за год перед тем наградили за разгром Врангеля. Замечательнее всего в простом русском лице этого человека были его светлые глаза, проникновенные, внимательные, человечные в высшем значении этого слова.

Чичерин несколько задержался, говоря по «вертушке», и Фрунзе пришлось минут десять обождать. Эти короткие минуты он не потерял зря — успел узнать, что я тоже вскоре еду в Турцию, выяснил вкратце мою биографию, расспросил о режиме работы Чичерина и его секретарей, о нашей подготовленности к этой работе, знании языков, зарплате, питании. Казалось, даже немножко огорчился, что не успел еще что-то спросить, когда на пороге двери появился принарядившийся нарком, свежесвыбритый, в белом воротничке. Быстрыми упругими шагами Фрунзе прошел к нему.

Их беседа продолжалась больше полутора часов. Когда Фрунзе вышел, Чичерин проводил его до двери в коридор. Проходя через комнату, тесно уставленную шкафами и столами, он говорил ему:

— Для нас линия дружбы с кемалистской Турцией не конъюнктурная, а принципиальная линия, Михаил Васильевич. Это линия Владимира Ильича. Разумеется, она и моя и ваша, как цекиста. Сопrotивление империалистическому насилию — вот что сближает с нами все угнетенные народы. Это лейтмотив, и из этого вы исходите. А всякие конъюнктурные комбинации — это фиоритурь, не больше того.

Он крепко потряс Фрунзе руку, пожелал ему благополучного пути и успеха и пошел обратно в кабинет. На секунду остановился у моего бюро, взглянул на меня, как обычно, близоруко, в упор поверх очков и сказал:

— Вы с ним встретитесь там.

Долго не мог успокоиться постовой красноармеец в дверях. Он все спрашивал меня:

— Сам Фрунзе? Как есть сам? Ну ты скажи! Простой какой! Ну наш человек, кругом. Ты скажи!..

Иностранные дипломаты, которых этот парень видел ежедневно, так его не волновали.

Двадцать шестого ноября 1921 года Фрунзе уже выехал из Батума на итальянском пароходе «Саннаго». Тринадцатого декабря прибыл в Ангору и начал переговоры с Мустафой Кемалем. С. И. Аралов со своими многочисленными спутниками выехал из Москвы двадцать третьего декабря.

Мне по его поручению пришлось в эти дни съездить в Питер, на Ломоносовский фарфоровый завод, чтобы отобрать там подарки для турок:

четыре ящика ваз, блюд, тарелок, чашек и прочего, украшенных своеобразной, вдохновенно-вихрастой, полуформалистической росписью тех лет. Чисто формалистических, беспредметнических творений я не взял из уважения как к туркам, так и к русскому искусству. А произведений, совершенно свободных от формализма, увы, не нашел.

На рабочей окраине, в районе Стеклянного, было тихо, сурово, темно. Зато в центре, где к Невскому подходят Литейный, Садовая, Троицкая, уже пузырилась пена нэпа. От крикливых витрин частников, пошлой музычки коммерческих ресторанов, вновь откуда-то вынырнувших лихачей с фонариками на оглоблях, возродившейся уличной торговли (от папирос до живого товара) потащивало даже того, кто понимал всю необходимость и целесообразность гениальной ленинской политики.

Но самые отвратные проявления нэпа в Питере и Москве, цинично-наглые рядом с революционным подъемом, тяжелейшей нуждой и разрухой, были ничто по сравнению с тем, что пришлось увидеть в Батуме. Тут царил настоящая вакханалия наживы и разгула. Чтобы скорее восстановить давние внешнеторговые связи, временно разрешили беспощадный ввоз и вывоз любых товаров. Другими словами, стала легальной торговлей контрабанда. Свободно, по рыночному курсу, обращались все валюты: царское золото и доллары, фунты и франки, итальянские и турецкие лиры, закавказские боны и русские советские деньги. Последние падали с каждым днем, набирая все большую инфляционную скорость<sup>1</sup>. Этой исключительной экономике соответствовал быт — лихорадочный, шумный, тревожный. Наглядевшись на пьяные, разнузданные ватаги иностранных матросов, на свиные рыла преуспевающих спекулянтов, на «шикарных» кокотов, глаза советского человека поистине отдыхали на сером панцире стоявшего в самом городе бронепоезда «Свободная Россия», из узких бойниц которого смотрели почернелые дула орудий и пулеметов. Он молчаливо напоминал, что пролетарская революция не сложила оружия.

Покинув Батум, мы вскоре очутились в скромном и тихом, полном предчувствий весны турецком местечке Ризе, где сделал первую остановку повезший нас в Самсун колесный пароход «Феликс Дзержинский» — одно из немногих наших черноморских судов, избежавших угона врангелевцами и распродажи иностранцам. День в солнечном, весеннем Ризе, три дня в более шумном, еще не стершем следов царской оккупации Трапезунде, и 11 января 1922 года мы увидели с моря на пологих, голых и серых горах меловую россыпь домиков Самсуна. Ближе различимы стали мечеть и церковь, черепичные кровли, небогатые сады и множество красных крапинок — турецких флагов, вывешенных в нашу честь. Три года назад здесь высадился, прибыв из Стамбула, основатель новой Турции, принявший решение повести страну по пути сопротивления империализму.

На рейде стояли два судна: торговое и военное. Над торговым вился французский флаг. Но на корме, взглядевшись попристальнее, мы различили золотые русские надписи: «Мечта» и — помельче — «Одесса». Это был пароход, проданный хозяевами французам вместе с командой. Военное судно оказалось американским контрминоносцем, длинной хищной тварью с большими белыми цифрами «240». Он стоял тут уже давно как «стационар», охраняя американского консула и американские нефтяные баки, одного серого цвета с ними.

Наш капитан сказал, что такие самые миноносцы прикрывали снабжение белых в Крыму североамериканским оружием и боеприпасами.

<sup>1</sup> М. В. Фрунзе в своем путевом дневнике отметил, что в ноябре турецкая лира стояла в Батуме 70 тысяч советских рублей, а в январе, когда он ехал обратно, — уже 230 тысяч рублей!

Врангель впоследствии откровенно признал, что США помогли ему «больше всех». Доставленные ими белогвардейцам сотни пулеметов, тысячи винтовок, десятки тысяч ящиков снарядов, миллионы патронов стоили жизни многим тысячам советских солдат. Кровавый бизнес у северных берегов Черного моря, однако, сорвался, и хищные серые твари под белыми номерами перекочевали к турецкому берегу.

«Стандард Ойл» недвусмысленно протянул лапу к Турции, пытается ее когтить. То, что на Турции поломал себе зубы его английский конкурент, «Ройал Датч Шэлл», его радует и обнадеживает. Но это на одной чаше весов. А на другой — ничуть не меньшая ненависть джентльменов с Уолл-стрита к свободному (от них) турецкому народу. И они, при всей вражде к англичанам, не разрешают туркам в самые трудные дни их истории пользоваться американской нефтью. Эту довольно сложную политическую ситуацию сопровождавший нас от Батума турецкий журналист выразил образно и кратко:

— Если коршун вырывает добычу из когтей ястреба, добыче от этого не легче!

Когда мы проходили мимо «Мечты», вся ее команда, до кока и кочегаров, высыпала на палубу и с жадным интересом, в глубоком молчании рассматривала поднятые на «Дзержинском» флаги расцветивания, с приветом революционной Турции, и флаги РСФСР и УССР на мачтах (алый с белыми, под славянскую вязь, буквами флаг РСФСР вился у нас также над кормой). Американцы, тоже в большом числе усеявшие палубу, махали нам руками, гоготали и кричали что-то, потешаясь над колесным судном.

— Смейтесь, смейтесь! — пробормотал наш капитан. — Увидим, кто будет смеяться последним.

Как только «Дзержинский» бросил якорь, на его борт прибыл мютессариф<sup>1</sup> Ферик-бей, спокойный, сдержанный человек, в сопровождении других властей санджака<sup>2</sup>. Они сердечно приветствовали нас, и мы стали съезжать на берег. Заняли почти целиком одну из двух самсунских гостиниц, содержимую греком, русским подданным. И еще на пароходе узнали от Ферик-бея, что послезавтра в Самсун прибывает, возвращаясь из Ангоры, Фрунзе с его спутниками. Тут же мютессариф сказал, что Фрунзе не только блестяще выполнил возложенную на него миссию и в самый короткий срок подписал договор о дружбе и братстве между УССР и Турцией, но и произвел неизгладимое личное впечатление на всех турок, которым пришлось с ним встретиться.

Чем только не интересовался Фрунзе, прибыв в Самсун! Административным устройством и военным положением, экономикой района и археологией. Посетил городское самоуправление, штаб стрелковой дивизии, табачную фабрику, где подробно расспрашивал об условиях труда и заработной плате рабочих. В беседе с представителями торговых кругов выяснил, что они хотели бы получать из советских республик и что могли бы предложить в обмен. Собирался побывать в казармах воинских частей, но не успел и обещал это сделать на обратном пути.

По словам начдива, полковника Сами-бея (старого военного служакки), Фрунзе покорило сердца турецкого офицера тем, что, выехав из Самсуна в арбе, после первого же перегона пересел на лошадь одного из конвоиров, а его усадил в свою повозку. Весь пятисоткилометровый путь в Ангору командарм проделал верхом, не слезая с седла одиннадцать дней. И обратно едет тоже верхом, через Сунгурлу, более коротким, но и более трудным путем, через опасные горные перевалы.

Весть о предстоящем прибытии Фрунзе радостно взволновала коман-

<sup>1</sup> Мютессариф — губернатор.

<sup>2</sup> Санджак — губерния.



ду «Дзержинского». Не так давно Фрунзе у них на борту совершил плавание из Одессы в Тендру, где стояло все уцелевшее от нашей Черноморской эскадры, и всех покорила своей простотой, сердечностью и вниманием к каждой мелочи моряцкого быта.

Самсун — не Ризэ, укрытый от холодных ветров Кавказом и Восточным Понтом. Тут грозным ураганам ничто не помеха. Что стоит им перемахнуть через Черное море и обрушить на турецкие берега удары пятиметровой мертвой зыби, мутно-зеленой и яростной, и пронизывающую до костей стужу, с дождем и снегом, от которой чуть не пополам перегибаются стройные тополи? Серой пеленой тумана заволокло суда на рейде, горизонт, голые горы, маяк на мысу Калеонбурну. Все живое попряталось в здания или под их защиту. Попрятались и мы. И все время с беспокойством говорили о Фрунзе и его спутниках. Каково-то им сейчас, в такую непогоду, на высоких перевалах?

Трудность пути, проделанного ими, стала нам ясной в течение следующих двух с половиной недель, когда мы тот же путь проделали сами. Каждый из нас своими глазами видел то, о чем Михаил Васильевич так ярко и увлекательно рассказывал нам, когда мы встретились в Самсуне. О нашей встрече он записал в путевом дневнике коротко: «Мы успели обменяться с членами вновь прибывшей миссии всеми впечатлениями и новостями и наговорились досыта». Я расскажу об этом подробнее. Но прежде необходимо рассказать, что Фрунзе видел, думал и чувствовал перед встречей с нами.

Нет нужды что-либо выдумывать тут. Исчерпывающий материал для рассказа дает замечательный «Ангорский дневник» Фрунзе, опубликованный через семь лет после поездки и, к сожалению, с тех пор не переиздававшийся. Никого из читателей этот дневник не мог волновать так, как тех немногих, кто проделал путь в Ангору вместе с прославленным командармом или тотчас по его следам, как мы. Я сопоставляю с фрунзевским дневником свои собственные записи о том же самом пути, и каждая строка Фрунзе приобретает для меня поистине стереоскопическую рельефность.

...Какая она седая и ржавая, эта страна! Бесконечные цепи пологих серых холмов, в иных местах почернелых, кое-где окровавленных киноварью и охрой или покрытых ржавчиной мелких сухолистных дубов. Сухие серо-серые травы. Сухие зеленоватые лишайи, зелено-серая глина, суглинки, ярко-ржавые ложа высохших ручейков. Торчащие из-под холмистой поверхности скалы тоже ржавы и ноздреваты, изъедены временем и водой, осыпаются струйками мелких камешков и песка. Седая древность осязаема во всем. Не от этой ли однообразности, ветхости анатолийского нагорья так задумчивы и медлительны турки, так заунывны и дики их песни, надломленные, дрожащие, напряженно тоскующие?

С севера, от Черного моря, непрерывно идут и едут купцы и крестьяне. Везут тюки и ящики с русскими клеймами. Гонят отары овец, табуны лошадей. Соединенные цепочками в караваны, плавно раскачиваются на ходу верблюды. Особенно цветисто украшенный красными и черными шерстяными кистями, бирюзой и бубенчиками вожак высокомерен, как лорд, и едва достаивает встречных мимоходом взглядом скошенного глаза. Понурые ишачки, чуть видные из-под тяжелых тюков, бегут мелкой рысцой, беспорядочно толпясь и толкая друг друга. Их шеи тоже украшены бирюзовыми бусами, а в глазах, вопреки человеческим криво толкам об ослином упрямстве, покорность и грусть. Погонщики ослов и верблюдов, пастухи бараньих отар не любопытнее своих подопечных. Бросив на встречных равнодушный взгляд, они идут дальше. Так же не любопытны едущие в рессорных яйлах. Крестьяне, особенно женщины, у которых за спиной тяжелая ноша — черные от пыли и грязи ребятишки, — вовсе не смотрят на встречных, а проходят мимо, глядя перед собой

с каменным равнодушием и усталостью выючных животных. Равнодушно-усталы, хоть и горды осанкой, хмурые, сильные, загорелые аскеры<sup>1</sup>. Страна не изнемогает, а изнемогла окончательно от войны и все-таки воюет, потому что не воевать нельзя. Этого требует чувство самосохранения нации. Костяк народа, эти люди знают не только гнет войны, но и гнет ростовщичества, городских торгашей, бюрократии, служащей не им, а воротилам буржуазного государства. Оттого так суровы они и печальны.

Уже позади дикие горные тропы Сунгурлу, о которых Фрунзе записал: «Чем выше в горы, тем порывы ветра становятся свирепее. Ехать становится положительно опасно; того и гляди сорвешься с дороги и покатишься вместе с конем куда-нибудь к черту на кулички. Раза три я едва смог удержаться. Особенно опасным был один момент, когда уже недалеко от вершины перевала на этой узкой дороге нам попался навстречу огромный караван верблюдов. Резким порывом ветра в мое лицо и морду лошади бросило кучу песка и камней из-под ног шедших вверху верблюдов; лошадь испуганно шарахнулась и, очутившись на краю пропасти, встала на дыбы. Пришлось пережить жуткое мгновение, но, к счастью, все обошлось хорошо».

Следующий перевал, Хаджилер, не так крут и опасен. Но бешено-порывистый, леденящий норд-ост дул навстречу все с такой же дикой силой. Здесь, на спуске в долину реки Мерд-Йырмак, он уже пахнул морем! Легкий мороз сковал в крепкие неровные комья густую грязь на дороге. Сухой снежок запорошил и ее и ржаволистый дубняк по сторонам пути. Двухтысячметровые вершины над перевалом совсем белы. Их белизна сделалась ослепляющей, когда проглянуло сквозь дымку солнце. Но от солнца не стало теплее, а порывы ветра превратились в настоящие злобные удары. Не выдерживая их, кони с сердито-жалобным ржанием поворачивались к ветру крупами, танцевали на месте, отказывались идти дальше вниз.

Из-за скалы, в которой рудо-бурые и серые пласты мергеля стояли почти отвесно, выехал навстречу всадникам обоз из десятка грубых крестьянских «канов», медленных, неистово скрипящих своими двумя сплошными, без спиц, колесами на деревянных осях — пережитком доисторических времен. В них сидели и лежали, мучительно скорчившись от жестокой стужи, черные женские фигуры. Многие женщины прижимали к себе детей, стараясь хоть немного согреть их своим телом. На первой и последней арбах ехали вооруженные карабинами турецкие аскеры, равнодушно покуривая. Остановив коня, Фрунзе внимательно рассматривал встречных. В последней арбе, особенно голосисто-скрипучей, рядом с солдатом лежала на голых досках девочка лет пяти, одетая в пестрые лохмотья, сквозь которые просвечивало посиневшее тело. Вся дрожа, всхлипывая, она спрятала голову под большое сито. Больше ребенку нечем было укрыться.

— Что это такое, майор? — с волнением спросил Фрунзе сухолицего, с маленьким жестоким ртом и коротко подстриженными черно-рыжими усами турецкого офицера, который его сопровождал на последнем перевале, от Кавака до Самсуна.

— Бандиты, — ответил тот лаконично и равнодушно.

— Какие бандиты? — невольно повысил голос Фрунзе.

— Семьи бандитов, — поспешил поправиться турок и пояснил, что ввиду непрекращающихся нападений греческих партизан на турецкие посты и селения правительство решило выселить всех греческих женщин и детей с побережья внутрь страны. Эти едут в Аманию.

<sup>1</sup> Аскер — солдат.

Между густыми бровями Фрунзе пролегла глубокая складка. Ничего не ответив, он прищипил коня и поскакал дальше. Угрюмо молчали и его спутники, скача против гнеоослабевающего ветра. Перед ними была горестная страница одной из человеческих трагедий, рождаемых национальной рознью.

Корни греко-турецкой розни уходят в далекий четырнадцатый век, когда турки впервые появились в Малой Азии. За полтысячелетия много утекло воды и крови, и между завоевателями и покоренными установились отношения, дававшие тем и другим жить в мире. Греческое население приморских районов Турции много сделало, чтобы эти районы опять стали цветущими.

Новый пожар древней, уже ставшей пеплом вражды раздут был теми, кому на руку вражда народов, кто на этой вражде греет руки. Не греческим крестьянам, одетым в иностранные френчи, а иноземным банкам выгодно было обильно пролить кровь турецких женщин и детей в оккупированных греками частях Малой Азии.

Кемалисты ответили на это репрессиями против подвластного им греческого населения. Око за око, зуб за зуб. Пожар за пожар, труп за труп. Тысячи греков, уцелевших от турецкой мести, захватив женщин и детей, бежали в горы и стали опасными партизанами, нападавшими на турецкие селения, военные посты и проезжих. Кемалисты не остановились перед ответными действиями. И в итоге богатейшие районы турецкого Черноморья, житница страны, превратились в скорбную пустыню.

Фрунзе лучше всех своих спутников понимал, что революционная Турция — на самом деле революционная: полная решимости свергнуть султана и вставшая как один человек с оружием в руках против империалистических гигантов, — наш естественный союзник. И наоборот, тогдашнее греческое правительство, еще недавно посылавшее на Украину и в Крым своих солдат воевать с нами, — послушное орудие в руках западных заправил. Но так же хорошо его большое человеческое сердце знало, что изнемогающий от ледяной стужи ребенок, всхлипывающий под решетом, тщетно пытающийся им защититься от холода, не может и не должен быть разменной монетой в политических спорах государств и классов. Он не может отвечать ни за своего отца, ни за далекого греческого монарха, ни за еще более далекого лондонского банкира Базиля Захарова, золотую мельницу которого одинаково споро вертит и турецкая и греческая кровь. Фрунзе стало тяжело на душе от этой встречи. Но он постарался овладеть собой и не поддаться эмоциям. Сейчас он дипломат и почетный гость Турции.

Все более мрачней, спускался Фрунзе со своими спутниками с восьмисотметрового перевала Кандилер-богаз, последнего перед морем. «Этот путь, — записал он потом в своем дневнике, — на всю жизнь останется памятным мне. На всем его 30-верстном протяжении непрерывно попадались трупы. Я лично насчитал их 58. Много со следами насилия и надругательств. В одном месте наткнулись на труп девушки-красавицы, с отрезанной и вложенной в руку головой. В другом — на труп прелестной белокурой девочкой лет 7—8, с голыми ножками, в одной рубашонке. Девочка, видимо, плакала, уткнувшись лицом в землю, и так и осталась лежать, пригвожденная к земле штыком аскера...»

Взглянув на турецкого офицера так, что у того побежали по спине мурашки, Фрунзе отвернулся от него и сказал по-русски своим:

— Домой, братцы! Скорее домой! Мы и голые, и нищие, и горя у нас своего собственного после войны, после разрухи на десять лет хватит, если не на двадцать. Но вот этого нет и не будет! — Он показал на пригвожденного к земле ребенка, вся вина которого была только в том, что в нем текла не турецкая, а греческая кровь. Так сжал бока коню ногами, что тот всхрипнул, прынул вперед и пошел наметью.

Уже виден был внизу сквозь мутноватую дымку тумана Самсун, его подковообразная бухта, три судна на рейде мглистый морской простор. Белая кромочка сильного прибоя опоясывала берег. За кромкой море было глинисто-желтым, дальше переливалось в зелено-голубые тона и неприметно переходило в небо.

У первого от города «каракола» — как все другие, глинобитного, окруженного окопами и проволочными заграждениями, обращенными к горам, — чернел легковой автомобиль. Возле него толпились люди. Часть их выстроилась в шеренгу. Другие стояли кучкой. Выделялся мужчина в коротком демисезонном пальто и серой фетровой шляпе, опирающийся на трость.

Подскакав ближе, Фрунзе распознал мютессарифа Ферик-бея и начдива. Снова ему пришлось напомнить себе, что он находится в дружественной стране в качестве ее почетного гостя и дипломата. Но он не в силах был подавить нравственное возмущение всем только что виденным настолько, чтобы оно вовсе не было замечено. Как он сам писал, его «встреча с самсунскими властями вышла более чем холодной». Спешившись, Фрунзе поздоровался с ними без тени улыбки, плотно сжав губы, сурово нахмурившись, и тепло улыбнулся только мужчине в шляпе, когда узнал, что это С. И. Аралов, едущий с новым штатом полпредства в Ангору. С тем же суровым выражением, обойдя фронт почетного караула, глава украинской советской миссии по приглашению Ферик-бея сел в его машину.

Дипломатически любезные слова не шли с его языка. Он отвечал на вопросы мютессарифа и начдива односложно и неохотно. Мютессариф решил, что Фрунзе очень устал от восьмидневной поездки верхом (более коротким путем, через Сунгурлу, ему удалось доехать за восемь суток). Но едва машина тронулась к городу, как Фрунзе со страстным негодованием заговорил о жертвах стихийных расправ. Да, он знает, что он гость и не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции. Он ничего не может — ни советовать, ни просить. Но как искренний, сердечный друг турок, борющихся за справедливость, хотел бы, чтобы они не давали миру поводов упрекать их в бесчеловечности.

Ферик-бей, взволнованный страстностью тона и блеском глаз знаменитого советского полковника, члена Центрального Комитета большевистской партии, не стал оправдываться. Он заверил его, что немедленно примет меры к расследованию поведения конвойных и сурово накажет виновных. По его словам, восемьдесят греческих детей-сирот переданы им на попечение американского Красного Креста, а с эвакуируемыми в Аманию послан был детский врач...

— Где же он, ваш врач? — гневно прервал его Фрунзе. — Мы нигде его не видели! А ведь это дети. Поймите это, Ферик-бей: дети! Они не могут отвечать за нас с вами, что бы мы ни делали, — турки, греки, русские, кто угодно! Дети — это наше общее будущее. Это будущее человечества.

Он замолчал, подумав, что вряд ли общечеловеческие мотивы убедительны для националистов. Молчали и турки. Потом полковник Сами-бей высказал предположение, что врач задержался где-нибудь на привале. А Ферик-бей стал горячо говорить о насилиях греческих партизан над турецкими женщинами и детьми, об истреблении турецкого населения в Западной Анатолии, о том, что на тракте Самсун—Ангора ежедневно убивается по несколько человек аскеров. В связи со всем этим турецкие солдаты и крестьяне так озлоблены, что трудно избежать эксцессов.

Фрунзе молчал, глядя прямо перед собой, сжав губы, переплетя пальцы рук. Начался город. На каждом доме вывешен был турецкий красный флаг с белым полумесяцем и звездой. Дома небольшие, на окраине просто хибарки, и флагов было как маков в поле, засеянном ими. В центре

города, у гостиницы, Фрунзе ожидала толпа празднично приодевшихся горожан. Когда он вышел из машины, в толпе горячо зааплодировали. Он ответил на дружеские приветствия так же дружески. Но у него не выходили из головы ребенок, пронзенный штыком, и так страшно торчащий из спины девочки неровно-острый обломок этого ножевидного штыка, сломавшегося от бешеного удара; другой ребенок, скорчившийся под решетом; девушка, на ладони которой лежит ее голова, прекрасная и после отделения от тела.

Да, этот путь не мог не запомниться навсегда!

Приведя себя в порядок с дороги, отдохнув и пообедав, Фрунзе остаток дня и значительную часть ночи провел с нами. В его небольшом, чисто выбеленном номере, выходящем окнами на площадь, цветущую маками флагов, все время былолюдно. Приходили то одни, то другие, и со всеми Фрунзе находил, о чем поговорить, приветливо и сердечно. Меня он узнал сразу, тепло поздоровался, расспросил о Чичерине, о наркоматских новостях. Женщинам порекомендовал запастись в дорогу достаточным количеством персидского порошка и не запрягивать далеко чайники.

— А то страдаетесь без чая. Я настоящий чай последний раз в Батуме пил, полтора месяца назад. Турки совсем не умеют чай готовить: кипятят его, как суп, и получается что-то черное, горькое, веником пахнет, ничего общего с настоящим чаем. А я чаевник! Меня даже за ликвидацию врангелевского фронта чайным сервизом наградили,— добавил он с усмешкой.

— То есть как? — не поверил кто-то. — Вам же почетное оружие дали!

— Это уж потом, в ноябре, а в январе серебряный чайный сервиз преподнесли и очень меня этим обрадовали. Знали мою слабость.

Жена Аралова, ехавшая с двумя детьми, расспрашивала его о питании в дороге. Помолчав, Фрунзе сказал:

— Ребята наслаждались вовсю. У них желудки луженые. А моей грешной утробе плохо приходилось.

Какая же сила воли была у этого человека! Проехав верхом по труднейшей дороге почти тысячу километров, он, оказывается, еще все время испытывал мучения от большого желудка, но ни словом не обмолвился об этом туркам.

В коридоре гостиницы меня остановил ее владелец, полный грек с глазами навывкате и усами колечками, и стал взволнованным шепотом советовать: удобно ли ему, как советскому подданному, обратиться к Фрунзе с просьбой защитить греков турецкого подданства, подвергающихся жестокому гонениям? Я его переадресовал с этим вопросом к старшим товарищам по посольству.

Тут же, улучив момент, когда ушел хозяин, обратилась к нам еще одна просительница, судомойка гостиничного ресторана, пожилая русская женщина с заплаканными глазами и певучим московским говором. Ее завезли сюда, бежав из Крыма, «господа». Она не спит, не ест, только и думает, как бы вернуться на родину.

Напряженно-внимательными взглядами провожали каждого из нас, когда мы заходили в ресторан (а в особенности военных спутников Фрунзе и нашего атташе), тучные усатые мужчины кавказского типа, беглецы из советских республик, преимущественно азербайджанцы-мусаватисты, осетины и черкесы. Они совсем не так представляли себе большевиков и кое над чем призадумались.

Отказавшись от посещения казарм, Фрунзе переоделся в излюбленную белую косоворотку с накладными нагрудными карманами. Растегнув ее ворот, он сидел за столом и, внимательно вглядываясь своими пронизательными серыми глазами в лица собеседников, отвечал на наши расспросы о Турции.

Да, туркам тяжело. Неимоверно. Страна разорена и истощена до последнего предела. Ведь она воюет почти без перерыва двенадцатый год, а если считать с больших арабских и курдских восстаний, то еще больше. Даже нам, после всех наших бедствий и разбоя, связанных с мировой и гражданской войнами, трудно себе представить, до чего обнищал и изнурен турецкий народ.

И, тем не менее Турция победит, не может не победить, потому что на ее стороне сила правды, сила духа, и эта сила сплотила воедино всю нацию, от крестьян до купечества и духовенства, и родила поразительный политический подъем. Когда народ встает, как один человек, он непобедим. И пока это так, наш долг — дружески поддерживать этот возставший против империализма народ, с какими бы внутренними противоречиями мы тут ни сталкивались.

Надо помнить слова Ленина на Восьмом съезде Советов: «Главнейший во всей политике факт есть империалистическое насилие... и эта мировая политика империализма вызывает сближение, союз и дружбу всех угнетенных народов». Владимир Ильич эти слова прямо связал с Турцией, и забывать их нам нельзя.

В составе нашей миссии был журналист, сравнительно недавно перешедший к большевикам от меньшевиков-интернационалистов. Долговязый, сутулый, в синей толстовке, с длинной шевелюрой и небольшой бородкой а-ля Белинский, он, слушая Фрунзе, все время саркастически улыбался. И, как только удалось, вставил ехидную реплику насчет убийства в Трапезунде, при попустительстве кемалистской администрации, членов Центрального Комитета турецкой компартии. Хороши, дескать, друзья и союзники! Фрунзе переменялся в лице. Глаза его потемнели, как темнеет вдруг голубое море, когда закроем солнце туча. В голосе зазвенели металлические ноты. Инстинктом крупного, опытного политика он сразу понял, с кем имеет дело.

— Если бы шла речь о приеме Мустафы Кемалю в нашу партию, я бы ему не дал рекомендации, — сказал он. — Он не единомышленник наш, а союзник в борьбе с теми, кто нас хотел уничтожить, и будет еще пытаться уничтожить, и кто хочет уничтожить независимость Турции, вновь сделать ее покорным мулом на поводу у чужеземного хозяина. Я еще и еще раз повторяю: не забывайте, что сказал об этом Ленин. Линия дружбы с Турцией — это его линия, линия Цека, линия, на основе которой я вел переговоры с Кемалем. А ваша линия — это линия Дана и Вольского!

Лицо бывшего меньшевика стало красно-бурым. Не давая ему опомниться, Фрунзе продолжал атаковать его со всей страстью, на какую был способен:

— Вы не можете не знать выступлений Дана, от меньшевиков, и Вольского, от так называемого «меньшинства» эсеров, на Восьмом съезде Советов. Это они требовали, чтобы мы немедленно разорвали с Кемалем. Буквально так и предлагали: «Немедленно». Недурное предложение! А? Лишить борющуюся Турцию единственной реальной поддержки, какую она имеет, отбиваясь от врагов! Кому это на руку, как не нашим общим врагам? Товарищ Калинин, по всей демократии, поставил это предложение на голосование, и оно не собрало ни единого голоса. Пока Турция сопротивляется империализму, а не ползает перед ним на брюхе, мы ее верные и честные друзья и поможем ей всем, что в наших силах.

Фрунзе стал говорить о Мустафе Кемаль-паше, его полководческой одаренности, проявленной при обороне Дарданелл в мировую войну и подтвержденной блестящей осенней победой при Сакарбе, за которую Великое Национальное Собрание Турции присвоило ему титул «Гази»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Гази — победитель.

Это незаурядный, широкообразованный, далеко смотрящий вперед и решительный буржуазный политик, мечтающий покончить со средневековой отсталостью Турции. Он делился с Фрунзе некоторыми своими планами в этом отношении. Планы весьма радикальные, хотя и далекие, как земля от небес, от планов социалистической революции, которые мы намечаем у себя.

Но о какой социалистической революции можно говорить в стране, где высококвалифицированных рабочих не больше трех тысяч человек, а членов компартии едва ли пятьсот на тринадцатимиллионное население? Коммунизм для Турции — дело далекого будущего. Импортировать его мы не собираемся. Мы не авантюристы и не фантасты, а марксисты.

Рассказал Фрунзе, что он договорился с турецким правительством о расширении торговли между нами, о нашем техническом содействии в эксплуатации самими турками, без помощи иностранного капитала, огромных богатств их страны, о посылке к нам, в наши вузы, турецких юношей. С горячей симпатией отзывался о турецком народе, храбром, прямодушном и трудолюбивом.

— Вы сами убедитесь, — говорил он нам, — как дружелюбно настроены турки в отношении нас. Я утверждаю, что заставить их опять видеть в нас врагов совершенно невысказано. Подчеркиваю: это я о народной толще говорю. Политиканы, разумеется, могут, как Георгий Васильевич Чичерин выразился, фиоритуры всякие изображать и будут это делать...

— Уже делают, — вставил кто-то.

— Правильно. Уже делают. Но лейтмотивом останется дружба между нашими народами и народом Турции. Народы запоминают самое главное и надолго.

Одна из женщин, слышавшая о трупах, которые Фрунзе и его спутники видели по дороге, заговорила об этом. На лицо Фрунзе легла тень.

— По совести, — сказал он, — я не считаю виноватыми в этом взаимострелении ни турок, ни греков.

— А кто же виноват?

— Кто? Только Антанта! Окунитесь в обстановку этой чудовищной, зоологической национальной вражды, которую она здесь разожгла, — вражды, для которой ни пола не существует, ни возраста, ни милосердия, ни сострадания! — и тогда поймете, что такое «цивилизованный» буржуазный Запад, до чего он подл, гнусен и лицемерен в этом мерзком подстрекательстве! Спровоцировали греков. А сами потирают ручки и подсчитывают барыши. Что им ребенок, которого, как жука булавкой, проткнули штыком! Звенело бы в карманах. Больше ничего не нужно негодьям.

Глубокое волнение, с которым он это говорил, передалось всем. В комнате стало тихо до того, что слышно было дыхание. Фрунзе кашлянул, достал сигарету и звучно щелкнул серебряным портсигаром. Его лицо и белую косоворотку тепло пятнили лучи вечернего солнца, наконец вырвавшегося из плена туч.

— Накурили мы тут, — сказал он смущенно.

Красноармеец поднял нижние рамы окон, чтобы выпустить дым. Вместе с чудесной, солоноватой свежестью влетел в открытые окна шум прибоя. По звуку зыбь убывала. Посоветовавшись с Фрунзе, Аралов решил устроить на «Дзержинском» ответный прием для турецких властей, чествовавших нас накануне в городской управе. Хотелось их принять по-нашему, с русским пирогом, чаем, вином. Турция в ту пору еще жила под тяжким гнетом вековых напластований исконного мусульманского быта. Он был обречен, но не отменен покуда, и в бытовом отношении турки чувствовали себя свободнее на нашей плавучей территории, чем на

собственном берегу. Потому-то и хотелось пригласить их на пароход, а не устраивать ответный банкет в гостинице.

Смуцала качка. Но зыбь с каждым часом стихала. И вечером, когда завели переключку со звездами огни города и судов, все мы — обе советские миссии и турецкие гости — были в небольшой, по-старомодному уютной кают-компании нашего широкобокого колесохода.

Фрунзе произнес короткую, но очень яркую речь о советско-турецкой дружбе, родившейся в одновременных боях обеих стран за свою независимость, в переломные, решающие дни их истории.

— Что касается нас, советских людей, — сказал он самсунцам, — мы считаем дружбу с Турцией одним из краеугольных камней нашей политики. Это линия товарища Ленина. Это линия нашей партии и наших, советских народов, которым не из-за чего враждовать с вами. Враждовали султаны и цари, угнетатели собственных народов и захватчики чужих земель. А какие могут быть причины не жить в мире и дружбе у нас с вами? Решительно никаких!

Турки горячо аплодировали, произносили ответные дружеские тосты, с явным удовольствием пили вино. Воздерживался от него лишь седобородый, подслеповатый муфтий<sup>1</sup> с большой бородавкой на подбородке. Что-то беззвучно шепча высохшими губами, он сокрушенно поглядывал на бокалы в руках мютессарифа, полковника и других соотечественников. Но в конце концов дело было не на турецкой, а на советской территории, и это были уже новые, а не прежние турки, и сидевшие с ними попеременно русские и украинцы были не традиционными врагами с северного берега Черного моря, а единственными бескорыстными друзьями, подавшими туркам руку помощи в самый черный их день.

Жизнь далеко умчалась вперед от сур Корана и шести книг Сунны, на которых воспитан был почтенный муфтий. И явно не собиралась остановиться на этом, а намерена была мчаться дальше, к еще более неслыханному и удивительному. Что поделаешь! Такова, видимо, воля всеблагого аллаха, которого (как поговаривают) Мустафа Кемаль-паша самого собирает переименовать по-новому, по-турецки, — Таири, а может быть, и еще как-либо иначе...

### Пожар

Дело было в середине августа 1922 года в Ангоре — знойной, сухой и пыльной.

Вещественное напоминание о тех днях — сохранившийся в моем архиве растерзанный конверт. На одной его стороне торопливо написано моей рукой по-французски: «Его Превосходительству, господину Председателю Великого Национального Собрания Турции, Мустафе Кемаль-паше» (впопыхах я забыл присоединить титул «Гази»). На другой стороне синим карандашом изображены три хвоста, расходящиеся в разные стороны, — характерный арабский автограф вождя и основателя новой Турции. Этот конверт я ему вручил при обстоятельствах, которые не только памятны сами по себе, но и стоят того, чтобы о них вспомнить спустя много лет.

Мне трудно себе представить нынешнюю Ангору, ее озелененные и залитые электрическим светом широкие асфальтовые магистрали, неоновые огни, великолепные здания новой архитектуры. Так же сегодняшнему молодому ангорцу трудно себе представить, что в двадцатых годах Ангорой называлось небольшое беспорядочное скопление грязных, в большинстве не обеленных глинобитных домов и дуваров<sup>2</sup> по крутым пыльным склонам горы, увенчанной древней крепостью. Между крепо-

<sup>1</sup> Муфтий — духовный судья.

<sup>2</sup> Дувар — высокая глинобитная стена.



стью и жилими кварталами зловеще зиял обширнейший, заросший бурьяном и лопухами пустырь — память о страшном пожаре 1916 года, уничтожившем лучшую часть города.

Старожилы рассказывали, что тогда в Ангоре вовсе не было пожарной команды. Вызвали пожарных из Бруссы, за триста километров. Они приехали, но не могли справиться с морем свирепствующего огня. Затребовали на помощь им команду из Стамбула, за шестьсот километров. Но ей, когда она прибыла, уже нечего было делать.

Ниже жилых кварталов, опоясывая их широким внешним кольцом, ржвели бесчисленные камни могил, ржавые, дикие, без всякой обработки и надписей. Мелководная быстрая Энгюри хлопотливо журчала в наполненном вонью выделяемых кож мрачном скалистом ущелье, отделяющем гору с крепостью от другой горы, на которой характерным среднеазиатским силуэтом чернел на фоне неба мавзолей Тимура.

Железный Хромец соорудил его здесь в 1402 году в память своей победы. На равнине у этих двух гор он разбил наголову непобедимого турецкого султана Баязида Ильдери́ма, взял его в плен и запрягал в клетку.

Мавзолей Тимура простоял над Ангорой пятьсот двадцать лет. Я был в нем в двадцать втором году, а в начале двадцать третьего, вернувшись в Ангору с юга, уже его не застал: он рухнул под ударами мстительного турецкого ветра, который не мог с ним справиться в течение пяти веков. Любители археологии сокрушались, винили турок в нерадивости. Мой добрый знакомый, молодой турецкий журналист Фахри-бей, заметил по этому поводу, что для националистически мыслящего человека не может представлять ценности памятник национального позора и турецкая администрация должна себя только поздравить с патристическим поступком турецкой бури.

В конце томительно душного, знойного дня мы обедали с Фахри-беем в одном из двух тогдашних ангорских ресторанов. И обстановка и меню были самыми что ни на есть простецкими. Большая, пахнущая свежей побелкой комната. Никаких украшений, кроме грубоватого малярского орнамента и двух ковров на стенах. Унылая безалкогольная буфетная стойка. На столиках скатерти отнюдь не девственной чистоты и цветы в консервных банках, тщательно декорированных бумагой.

Нам, советским людям, еще не до конца пережившим восьмилетнее разорение двух войн и двух революций, эта простая обстановка казалась не смешной, не жалкой, а трогательной. Никто лучше нас не понимал положение небольшой страны, дерзнувшей сказать «нет» всесильному мировому империализму, обнищавшей еще до этого, при султанах, изуренной непрерывными восстаниями и войнами в течение четырнадцати лет. Она, как и мы, дошла до последнего предела материального напряжения. Над ангорской бедностью посменялись не мы, а кое-кто из турок. Разумеется, не фапатически преданные Кемалю демократы из народа, уроженцы ветхой и скудной Анатолии, а люди, вкусившие прелести Стамбула и Измира, изнеженные в богатых компрадорских домах Леванта, те, кого истые кемалисты с сарказмом звали «европейцами», вкладывая в это слово самый отрицательный смысл.

Сидевший напротив меня, за столиком у окна, Фахри-бей родился в Измире. Его отец не был богатым купцом, всего-навсего приказчиком у купца. Но этому маленькому, изящному человечку с медлительными манерами, перенятыми у аристократов из французских кинокартин, ничего так не хотелось, как вернуться в родной, захваченный врагом Измир. Символом Измира был для него самый суматошный и шумный квартал Решадие. Хотя меню обеда было безалкогольное, Фахри-бей отчетливо двоился у меня в глазах. То мой маленький измирец сурово сдвигал свои совсем не суровые красивые брови, которым могла бы позавидовать

женщина, поджимал верхнюю губу с небольшими черными усиками, а нижнюю выпячивал, как свирепый янычар, и с патриотическим пафосом восхвалял пыль и нищету захолустного малоазиатского городка, волею судеб ставшего знаменем возрождения турецкой нации. В его приятном теноре появлялся металл, грозвые раскаты. То куда-то вглубь уходил таинственно замерцавший взор, теплели миндалевидные, с поволокой глаза, и мой собеседник, отвечая на вопросы невпопад, рассеянно полируя холеные ногти одной руки о ладонь другой, начинал вдруг ворковать о смирнских розах, море, контрабандном греческом коньяке, камбале под особым пряным соусом, который умеют готовить только в Решадие и больше нигде в мире... Он тосковал, бедняга, без этого всего, родного ему и привычного, а всего больше без удобств и хороших фруктов.

Я уже свыкся с таким раздвоением личности у турок этой категории и не обращал на это особенного внимания. Меня больше интересовала политическая обстановка внутри Турции, становившаяся с каждым днём все напряженнее. Часа в два, в три на эту тему в ресторане разговаривать было бы не очень удобно — так он бывал переполнен. Гул голосов, все столики заняты. Сидят одни мужчины, преимущественно депутаты меджлиса. Типаж самый разный: и исхудавшие, плохо одетые анаболийские интеллигенты, и упитанные господа, ходящие, несмотря на адскую жару, в визитках и барашковых папахах, и муллы, и военные. А сейчас зал почти пуст: в меджлисе началось вечернее заседание. Лишь за тремя столиками в разных концах сидят случайные посетители и говорят почти неслышно.

Напряженность политической обстановки определялась тем, что недавно, волею голосования, выявившего подспудные процессы, председателем Совета народных комиссаров (так в ту пору назывался ангорский Совет министров) стал лидер правого крыла кемалистов Реуф-бей. Этот суровый, властолюбивый морской офицер был известен как заядлый «западник», всеми корнями связанный с компрадорской портовой буржуазией. Его подпись стояла, в числе других турецких подписей, под Брестским мирным договором, по которому, как известно, Турция, пользуясь случаем, оттягала себе Батум. Это изобличало Реуф-бея в связях с немцами. Но о нем говорили и как об англофиле, способствовавшем приезду в Анатолию для политических переговоров британского генерала Таунсенда, и как о франкофиле. Одно другому не противоречило, как не противоречит зеленый цвет хамелеона его красному или желтому цвету.

В ту пору Франция — победоносная и могущественная империалистическая Франция Пуанкаре и Бриана, надменно диктовавшая тон всей континентальной Европе, — стояла во главе мирового антисоветского фронта. Кем же было стать Реуф-бею, как не франкофилом? При ебб прямом содействии в Ангоре появился облеченный дипломатическими полномочиями опытный французский разведчик полковник Мужэн и, не теряя времени, приступил к охоте сразу на двух зайцев: стал ссорить турок с англичанами (срывая паутинки, закрепленные Таунсендом) и с большевиками. В ангорских газетах запестрели статьи, убеждавшие читателей, что «старый друг лучше новых двух». Под «старым другом» разумелась Франция. То, что «старый друг» всего лишь за два года перед тем пытался прикарманить турецкую Киликию, но обжегся на этом, во внимание не принималось. Не надо иметь плохую память, надо хотеть забыть!

За спиной Реуф-бея стояли не только компрадорские круги, недовольные разрывом с Западом. Его поддерживала «генеральская оппозиция», состоявшая из военных деятелей, каждый из которых считал свою личность не менее выдающейся, чем личность Мустафы Кемала. К недовольным генералам примыкали «мальтийцы» — турки, высланные англичанами из Стамбула на остров Мальту, а потом не без умысла отпущен-

ные в Ангору: среди «мальтийцев» преобладали умеренные и колеблющиеся элементы, и они могли ощутительно остудить революционный пыл ангорцев. Наконец, существовала в меджлисе крупная, сплоченная оппозиционная группа мулл, так называемый «чалмоносный фронт». Эти были раздражены антиклерикализмом Кемалья, его выпадами против монастырей и сект и намерением в будущей, новой Турции отделить церковь от государства.

Недовольные элементы жужжали, как шмели, о самовластии Кемалья, шушукались о его личной жизни, а более всего возмущались его политическим радикализмом. Особенное негодование правых вызывала телеграмма, которую Кемаль в 1920 году послал Чичерину, а в ней строки: «Я глубоко убежден, и мое убеждение разделяется всеми моими согражданами, что в тот день, когда трудящиеся Запада, с одной стороны, и поработанные народы Азии и Африки, с другой, поймут, что в настоящее время международный капитал пользуется ими для взаимного уничтожения и порабощения, к вящей пользе своих господ, и в тот день, когда сознание преступности колониальной политики проникнет в сердца трудящихся мира,— власть буржуазии кончится...» О нет! Далеко не все сограждане Кемалья согласны были с тем, чтобы власть буржуазии кончилась. Мудрено им было этого хотеть, когда они сами были плотью от плоти и кровью от крови буржуазии. Фахри-бей не делал из этого никакого секрета от меня.

— Они согласны,— говорил он, поковыривая в зубах заостренной спичкой,— что Гази сделал прекрасный тактический ход, пойдя на дружбу с революционной Россией, и должен был, как умный человек, говорить с ней языком, понятным и приятным для нее. Не все считают, что он говорил это не дипломатически. Но все они опасаются, как бы глупые ахмеды и меметжики<sup>1</sup> не приняли этих его слов всерьез. Ведь им что втемяшится в башку, потом из нее не выколотишь. «Игра с огнем» — вот что говорят об этом правые.

— А вы что думаете сами? — спросил я, скорее чтоб позабавиться, чем из любопытства, потому что взгляды моего милого собеседника были мне уже хорошо известны.

Он бросил спичку, пригубил из крошечной чашечки кофе и сказал, смотря вбок:

— Если при коммунизме у каждого будет достаточно хорошего коньяку, да еще бесплатно — я за коммунизм. Ах, как я без него соскучился, если б вы знали!

— Без чего?

— Без коньяка. О коммунизме у меня представление гораздо более туманное.

— В этом я не сомневаюсь.

В таком стиле мы дружески пикировались постоянно. Меня интересовало, как в правых кругах меджлиса комментируется военное положение. После победы турок при Сакарье на фронте греко-турецкой войны вот уже скоро год стояло напряженное затишье. Обе стороны накапливали силы и готовились к новым боям. Осторожный стратег, Кемаль не спешил. Он понимал, что с позиционной войной надо кончать. У страны нет больше сил вести ее. Всему есть предел, есть он и у турецкой выносливости. Врага необходимо нокаутировать с одного удара. Только так можно победить, отстоять независимость Турции и ее более светлое будущее. Когда мы беседовали с Фахри-беем, на столе у Кемалья уже лежал детально разработанный план прорывов у Чукурджи и Япулдага и окружения главных сил греческой армии. Две недели спустя план этот стал действительностью, воплотился в артиллерийскую канонаду, кавалерий-

<sup>1</sup> Ахмед и Меметжик — нарицательные названия турецкого крестьянина и солдата.

ские атаки, отчаянные удары пехотных частей, горы трупов. Двадцать шестого августа, на рассвете, турки, совершенно неожиданно прорвав греческий фронт в трех местах, вышли в глубокий тыл противника, взяли в клещи несколько армейских корпусов, и вскоре весь мир узнал о катастрофическом разгроме греков кемалистами, пленении греческого главнокомандующего Трикуписа с его штабом, стремительном марше турок к Измиру и Стамбулу. Все это было, повторяю, двумя неделями позже нашего мирного обеда, а в будущее, хотя бы и такое близкое, не дано было заглянуть ни мне, ни Фахри-бею, и он, сонливо пожмуриваясь от сытости, продолжая полировать ногти, вяло бубнил, что оппозиция винит Кемалья в бездеятельности, бытовом разложении, превышении власти, собирается ультимативно потребовать, чтобы он или немедленно наступал, или немедленно заключил мир на любых условиях, или, если не способен ни на то, ни на другое, передал бы бразды правления другим, более способным...

Нашу беседу прервало появление в ресторане человека, обратившего на себя внимание Фахри-бея. Это был сухой, с хищным профилем мужчина средних лет, в синем штатском костюме, сидевшем на нем не совсем ловко, как всегда сидит штатское платье на профессиональных военных.

— Мужэн! — шепнул мне Фахри-бей.

Я уже слышал об этом человеке. Хищник. Опытный, сильный, опасный. Он изредка бросал по сторонам быстрые, острые взгляды, стараясь делать вид, что увлечен поглощением поданного ему кебаба в огненно-красной подливке из томатов и перца. Лишь когда Мужэн вытирал платком губы, я заметил на них откровенную усмешку, слишком откровенную для такого человека.

Мои наблюдения прервал шум автомобиля. Из-за поворота выскочил и остановился перед рестораном наш открытый черный полпредский «бенц» с красным флажком на радиаторе. Быстро вышел из него и направился к дверям ресторана шофер Сорокин. Появившись в зале, он подошел ко мне и шепотом сообщил, что меня немедленно требует на дачу полпред. Я расплатился, распрощался с Фахри-беем и вышел.

Один аллах знает, как ориентировался Сорокин в лабиринте кривых, узких, неразлично схожих друг с другом улочек серого глиняного города. Быть может, по минаретам мечетей, единственным, пожалуй, ориентиром? Через пять минут мы уже остановились у «сефарета» — здания нашего полномочного представительства. Сорокину нужно было захватить сюда на минутку.

Нельзя сказать, чтобы этот дом (принадлежавший богатому греку) очень подходил для посольства, но лучшего в тогдашней Ангоре не нашлось. С двух сторон в здание можно было проникнуть по крышам соседних домов, стоявших впритык к нему. Крыши образовывали гигантскую лестницу, и мало-мальски подготовленный физкультурник мог по ним пропутешествовать в пределах всего квартала. Одна из соседних крыш находилась как раз на уровне балкона второго этажа. Сам по себе дом был просторен, опрятен и даже изящен внутри. Высокие потолки, обшитые, как и стены, ясеневыми досками, по карнизу украшенными тонкой резьбой. Большие окна, двери. Стены обширного приемного зала были обиты нами штофной материей и украшены коврами.

Снаружи дом не представлял собой исключения среди прочих богатых домов города. Белые оштукатуренные стены на каменном цоколе. Два симметричных выступа по бокам второго этажа, посередине образующие нечто вроде неполной лоджии. Узорные решетки на нижней части окон, рамы которых, как во всех турецких домах, не раскрываются, а поднимаются, а на окнах первого этажа, кроме того, ставни с расписными филёнками. Отличало дом от большинства других наличие водосточных труб, комично тонких и кончающихся не у земли, а на уровне второго

этажа. В дождливое время эти трубы обеспечивали прохожих солидными душами во всю ширину тротуара. Последнего, впрочем, не было. Узенькая улочка, не шире пяти метров, круто спускающаяся вниз от старинной мечети и так же круто скошенная с обеих сторон к середине, наподобие желоба, была еплошь замощена разнокалиберным булыжником. Его будто нарочно подбирали с таким расчетом, чтобы труднее было ездить. Кроме парадной двери, на улицу вел коридорчик, соединяющий со двором, до того узенький, что в нем с трудом могли разойтись двое. Ворот, как в руееких домах, не было.

С весны почти весь состав полпредства жил не здёвь, а на дачах, в горах, среди фруктовых садов, бывая в «сефарете» только в служебные часы. Опасались малярии. Ее рассадником была заболоченная низина, та самая, на которой стоит нынешняя новая Ангора. В городе жили лишь красноармейцы охраны и комендант, рыжеусый литовец, недавно реэмигрировавший из США. Склонность к литературным занятиям заставила и меня остаться в своей городской, более спокойной комнате. Но я жил не в «сефарете», а на частной квартире, выше его. Выйдя на крохотную вышку-балкончик, я видел сверху все здание нашего «сефарета». А надо мной, еще выше, терраса над террасой, вздымались ряды глиняных домов, и совсем уже в поднебесье маячили головы часовых, расхаживающих по крыше казарм. Дальше кудрявились облака.

Вырвавшись из глиняного лабиринта, машина устремилась мягким, пыльным проселком в горы. Через полчаса мы были на даче. Там я узнал неприятную новость. Москва сообщила, что кое-кто из ответственных лиц турецкого посольства уличен был в военном шпионаже.

Наш полпред, С. И. Аралов, написал письмо Кемалю и поручил мне, как второму секретарю посольства, передать послание лично, из рук в руки.

В письме говорилось о совпадении коренных государственных интересов наших стран в борьбе каждой из них за свою свободу и независимость от империалистических хищников. Во имя этих коренных интересов нельзя давать разрастаться разделяющим нас социально-политическим противоречиям. Надо уметь быть добрыми соседями, полезными друг другу, хотя каждый из соседей и живет своей жизнью, не навязывая ее другому.

При мне Аралов запечатал написанное в конверт, а я торопливо написал адрес.

Еще через полчаса мы с Сорокиным уже подъезжали к загородной резиденции Мустафы Кемала — Чанкай. Теперь тут стоит урбанистический дворец, сооруженный в тридцатых годах. Тогда был просто уютный старый усадебный дом богатого помещика-христианина, конфискованный меджлисом у владельца и подаренный вождю нации. Вокруг дома — сад с тенистыми деревьями и небольшим фонтаном перед главным входом. Меня встретил внизу, в вестибюле, один из молодых адъютантов Кемала, знакомый мне, и просил подождать. Ждать пришлось недолго. Кемаль принял меня без промедления.

Поднявшись на второй этаж, я вошел в просторный кабинет, украшенный редкостными коврами. Бросились в глаза многочисленные подарки, преподнесенные вождю Турции разными ее городами и группами населения: адреса, золоченые венки, кубки, нарядное оружие. На письменном столе лежала оперативная карта, которую Кемаль, когда я вошел, сложил пополам. Кроме него, в комнате был ещё Исмет-паша, черноглазый, небольшого роста, с приятными, мягкими чертами. Мустафа Кемаль-паша тоже был невысок, но крепко сбит и приземист. Черты лица резкие, властные. Крепко стиснутые под коротко подстриженными рыжеватыми усами тонкие губы. Холодные светло-серые глаза — в минуты гнева, должно быть, страшные. Одет он был в защитную форму цвета хаки,

с маршалскими ромбами на отложном воротнике френча и единственной медалью, на муаровой зеленой ленте которой перекрещены были две золотые сабельки.

Председатель межжлиса показался мне суровым как никогда. Поздоровавшись со мной с подчеркнутой небрежностью, он почти вырвал конверт у меня из рук. Схватил со стола штабной карандаш, молниеносным росчерком поставил на изуродованном конверте свой треххвостый инициал и, отшвырнув карандаш, стал читать.

Я, спрятав конверт, ждал ответа. Исмет-паша, заложив руки за спину, молча ходил по кабинету взад и вперед, погруженный в раздумье.

Было им о чем задуматься! Ведь через две недели они наметили решающий удар против греков. От исхода этого удара зависела судьба турецкой нации, кемалистского движения. Независимость Турции висела на волоске. Вся Освободительная война турок, от начала до конца, основывалась на предпосылке сочувственного отношения к их героической борьбе со стороны советских республик. Мыслимо ли сейчас, накануне решающего боя, ссориться с единственными реальными друзьями, доказавшими свою дружбу не словами, а делом? Это было бы форменным безумием, прологом катастрофы.

Никогда еще Кемаль не ощущал с такой остротой всю силу и цену советской помощи, как в эти горячие дни. И именно сейчас — надо же! — этот московский инцидент, эти интриги Реуф-бей! Рикошетом все это бьет и по Кемалю, по его политике дружбы с большевиками, его острым выпадам против империализма. С Реуф-беем еще придется повозиться, даже если дело «национального обета» полностью победит<sup>1</sup>. В сущности, Реуф-бей лишь послушное оружие в руках этой хитрой лисы с нафабранными вильгельмовскими усами, Рефет-паши, который сам тоже орудие в чужих, не турецких руках...

Прочтя письмо Аралова, Кемаль передал его Исмет-паше. Пока тот читал, он стоял в задумчивости у стола и постукивал по нему пальцами. Исмет прочел и вернул ему письмо, ничего не сказав, только посмотрел вопрошающе.

— Я отвечу, — сказал мне Кемаль, — а пока передайте, что и для нас и для вас лучше будет, если мы не будем ссориться.

Я заметил, что в Советской России никто не думает иначе.

— Ошибаетесь! — возразил Кемаль, и его голос из глухого сразу стал резким, гортанным. — На Восьмом съезде Советов звучали требования порвать с нами немедленно.

— Это были меньшевики и эсеры, — возразил я, — и ни один делегат съезда за них не голосовал.

Не мое дело было вести с ним дискуссию. Я ограничился еще только кратким замечанием, что среди турок есть, к сожалению, элементы, старающиеся сорвать добрые отношения между нами, и напомнил, что Фрунзе, когда был в Ангоре, откровенно сказал об этом с трибуны межжлиса. Кемаль попрощался со мной приветливее, чем встретил меня, и еще раз просил передать Аралову, что для обеих стран будет лучше, если они будут дружить, а не враждовать. Подробно он ответил письмом завтра или послезавтра.

Когда за мной закрылись массивные двери Чанкая, уже проклюнулись в небе первые звезды. По-южному быстро темнело. Дымчато-лиловыми увалами засыпали вокруг пологие безлесные горы, лишь на западе, на медном фоне медленно остывающего неба, синевато-черные, более

<sup>1</sup> В 1924 году, после отмены халифата, Реуф-бей порвал с кемализмом, возглавил вместе с Рефет-пашой «прогрессивно-республиканскую» партию компрадорской буржуазии, требовавшей тесного блока с западным капиталом, а после разгрома этой партии в 1925 году эмигрировал. — А. Г.

высокие и зубчатые. Мертвенно-голубой нездоровый туман копился над болотами. Подслеповатые керосиновые огоньки зажигались у подножия двух темных горищ, в Ангоре. У каждого огня кто-то ел скудный ужин, кто-то плакал, кто-то нянчил детей, кто-то клял злую турецкую судьбу, кто-то молил аллаха, чтобы скорее кончилась победой проклятая война.

Спускаясь в низину, шоссе то и дело петляло, и я не раз еще видел также электрические огни, загоревшиеся на втором этаже дворца Чанкайя. Там Кемаль и Исмет, склонившись с карандашами над двухверсткой, уточняли план прорыва греческого фронта на рассвете двадцать шестого августа...

События развивались бурно. На следующий день я был в «сефарете» с раннего утра, так как из Москвы ожидался дипкурьер, а прием и отправка дипломатической почты входили в круг моих обязанностей. Курьер прибыл с очень большим опозданием, небывало растерянный, и сообщил, что на него в пути напали разбойники. Они вскрыли кожаные опечатанные вализы и распечатали все пакеты и письма. Как будто искали денег.

Наш военный атташе, рослый латыш, иронически усмехнулся, услышав это, и высказал другое предположение. По его мнению, это были не настоящие разбойники и искали они не денег, а совсем другого: чего-нибудь такого, что могло бы компенсировать неприятный для турок «московский инцидент». Ничего компрометирующего нас в почте, к сожалению для провокаторов, не нашлось. Прав ли был атташе или фантазировал, трудно было сказать в сложившейся обстановке.

Аралов настоял, чтобы дипкурьер отправился в обратный путь немедленно. Москва должна получить подробный отчет о создавшемся положении как можно скорее. Это потребовало от меня лихорадочно-напряженной работы по отправке почты. Утомленный хлопотами, наскоро пообедав в «сефарете» вместе с дипкурьером и уезжающими с ним в Россию товарищами, я проводил их яйлы в дальний путь и, придя домой, уснул крепким, молодым сном. Все другие, кроме коменданта и охраны, как обычно, уехали на дачи, за пятнадцать километров.

Меня разбудил громкий крик на улице. Что-то случилось. Я вскочил и взбежал по крутой деревянной лесенке на вышку-балкончик. Взглянул вниз и обомлел. Из окон второго этажа нашего «сефарета» высовываются, словно дразня, языки огня и, загибаясь вверх, лижут стену. Дыма нет. Но откуда-то сзади, из-за дома, он поднимается светло-коричневым легким облаком, как из самоварной трубы. Опрометью, как был, в белом домашнем костюме и без шляпы, я бросился вниз. У дверей полпредства уже толпились посторонние и растерянно метались красноармейцы и технические сотрудники, вытаскивая что попало.

В подъезде столкнулся лицом к лицу с комендантом. Его усатое лицо красно от волнения, воротник синего суконного френча расстегнут.

— Горим! — крикнул он мне.

— Отчего? Что случилось?

— Подождли! Второй этаж!

— А вы где были?! Чья обязанность смотреть за домом, расставить посты?!

Он только махнул рукой, пробормотал литозское ругательство и убежал. Надо тушить! Но чем?! Ни огнегасителей, ни воды, кроме скудного домашнего запаса. Остается спасти имущество. Прежде всего кассу и архив. Я отобрал для этого нескольких красноармейцев, предоставив коменданту заниматься вытаскиванием остального. Дипломатический архив и касса — не шутка. Выбрав за мечетью место, безопасное от огня, если бы он даже распространился на соседние дома, установил там пост и с помощью товарищей, поставив еще двоих для контроля по пути, стал туда переправлять столы и шкафы с документами. С этим управились сравнительно быстро.

Сложнее было с громоздким несгораемым шкафом. Он был очень тяжел. Втроем мы ворочали его с боку на бок и не могли управиться. Вдруг около нас появился незнакомый турок очень высокого роста, по виду крестьянин.

— Давай отнесу! — крикнул он. — Помогите только поднять.

И, к общему изумлению, взвалив стальную махину себе на спину, весь пригнувшись под тяжестью, бегом, мелкими шажками, понес ее в гору, к мечети. Я и вооруженный красноармеец проводили его до конца пути. Свалив с плеч шкаф рядом с архивом, сялач выпрямился, широко улыбаясь. Лицо его было красно и покрыто крупными каплями пота.

— Тяжелый! — крикнул он и опять побежал вниз, помогать вытаскивать остальные вещи.

Народу собралось уже много. Он стеной стоит перед горящим зданием и смотрит, странно спокойный и молчаливый. Появились представители власти, бледные, растерянные. Они беспомощно суетятся, не зная, что предпринять. Уже давно вызвали со станции железнодорожную пожарную команду, но ее все нет. А пожар, не дожидаясь, пока пожарные наполнят на речке свои бочки, разгорается жарче и жарче, и уже густо валит из окон ватный серый дым. Очаг — на втором этаже, и оттуда огонь уже перебросился на соседнее здание. Паника возрастает. Из ближайших домов тоже выносят всякий скарб, вытаскивают плачущих детей, выбегают, прижимая к груди наобум схваченные вещи и младенцев, женщины, забывшие, что надо закрывать лицо. Наш комендант занимается вытаскиванием наиболее ценной мебели. Обезопасив архив и кассу, я также вытаскиваю что попадется под руку. Взгляд падает на штофную материю на стенах. Ковры взяли, а ее забыли. Два-три рывка — и она на полу. Ее подхватывают и уносят. Не без труда выволакиваем на улицу пианино. Потом беремся за библиотеку, таскаем книги охापками и бросаем их на землю у мечети как придется.

В такие моменты время будто не существует. Сколько прошло? Час? Два? Три? Трудно сказать. Когда здание почти совсем опустело, я вдруг замечаю, что уже стемнело. Не осталось ли еще что-нибудь? Выбегаю на балкон, выходящий во двор. Третий этаж и соседний двухэтажный дом горят так жарко, что листва стоящего в нашем дворе дерева почернела и скрючилась со стороны, обращенной к огню. Светло и жутко. Красным ливнем сыплются искры, и вот-вот грозят посыпаться более увесистые предметы: горящие планки верхнего этажа и кирпичи, беспорядочно вставленные между ними и несолидно скрепленные глиной. Взглянув вниз, вижу, что по двору, окруженному высокими глинобитными стенами, в диком ужасе мечутся наши куры и цыплята. Две кохинхинки, отчаявшись спасти потомство, предпринимают незероютные усилия и, взлетев над забором, исчезают на соседнем участке.

Пламя машет из всех окон верхнего этажа огромными желто-красными рукавами, протекает сквозь стены, жарко и громко дышит, скручивает бесплотными могучими руками листы оцинкованного железа на крыше балкончика, переплеты рам, ломает с сухим и острым звуком оконные стекла.

При всей его жуткости, чертовски красив этот взбунтовавшийся огонь! Его могучий, стихийный треск, шипение, тысяча самых разнообразных звуков, сплетающихся в один, заглушают не только кудахтанье кур и взвизгиванье ошалевших кабанов, но и наши голоса, хотя мы орем вовсю. Гигантские клубы дыма, черного, но в ярком свете пожара кажущегося багровым, даже желтым, стремительно уносятся ввысь, в безоблачное небо. Лишь самые яркие из звезд в той половине, где огня меньше, еле мерцают сквозь колыхающееся зарево. Зато, как поток бегущих на штурм неба красных звездочек, струятся вверх неисчислимые искры, настоящий красный самум.



Утомленный бешеным напряжением нескольких часов, я присел отдохнуть неподалеку от часового, охраняющего архивы и кассу. Рядом со мной с лихорадочной торопливостью набрасывал в альбом зарисовки пожара художник Е. Е. Лансере, гостивший в то время у нас в облпредстве. Взглянув вверх, я увидел высоко в небе множество движущихся розовых точек. Что это? Искры? Нет. Оказывается, тысячи голубей, а может быть и других птиц, носятся, перепуганные, над пламенем.

Толпа вновь успокоилась, хотя горит уже весь квартал и начинает занимать вторую, по другую сторону нашей узенькой улочки. Пламя здесь, поодаль, шумит не так сильно, но слышно, как на много километров вокруг Ангоры воют собаки, сотни и тысячи их. В этом многоголосом протяжном вое, в этих розовых птицах, мечущихся над пожаром, в тишине и беспомощности перед стихией, беспрепятственно пожирающей человеческое, ощутима была жуть исконной Азии, глухой ее древности.

Красноармеец сказал мне, что давно прибыли с дачи Аралов и все другие товарищи, живущие там, и я отправился их искать. Идти напрямик, горячей улицей, было рискованно — так силен уже огонь с обеих сторон. Пришлось обойти пару кварталов, чтобы добраться до низа. Аралов действительно оказался там. Бледный, со сжатыми губами, он молча смотрел, опираясь на трость, на пылающий дом. У стоящего с ним рядом военного атташе рука на кобуре револьвера, крепкие скулы стиснуты, а глаза прикованы к третьему этажу. Там его квартира. Ключи у него, и спасти что-нибудь оттуда нет возможности, тем более, что пожар, по всем данным, начался именно с лестницы, ведущей на третий этаж.

Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и тут же из уст в уста распространяется версия, которая потом полностью подтвердилась. Винник пожара — опытный мастер сих дел Мужэн. Нанятый им поджигатель пробрался по крышам, выждал, когда на нашем балконе никого не было, выплеснул на него и на верхнюю лестницу бидон бензина (мы потом нашли его!) и, чиркнув спичкой, скрылся тем же путем.

Время для поджога выбрано обдуманно: Мужэну во что бы то ни стало, до разреза нужно раздуть напряженность между Москвой и Ангорой, возникшую в связи с «московским инцидентом». Если бы турки и русские опять стали врагами, он был бы на седьмом небе. Это его главная цель, предел мечтаний. Орудовал ли западный поджигатель по сговору с правыми турецкими кругами или на свой риск — неизвестно. Но эти круги не могли не быть ему признательны. Как и Мужэн, они стремились поглубже вогнать клин между своей страной и Советской Россией.

Вот-вот «сефарет» рухнет. Глухо ухает, прогорев, крыша. Облако багровой пыли вместе с клубом серо-черного дыма взмывает к темному небу. На фоне неистовствующего пламени едва заметна тоненькая, жалкая струйка воды. Это пытается бороться с пожаром прибывшая наконец вокзальная команда, возящая из реки воду бочками. Результат не больший, чем от прысканья изо рта.

Вдруг в толпе происходит движение. Она расступается, и перед нами в сопровождении адъютантов и охраны появляется сам Мустафа Кемаль-паша. Он заметно взволнован происшедшим, понимает всю напряженность создавшегося положения. Губы плотно стиснуты. В глазах отсвечивает пламя пожара. В своей коричневой бараньей папахе, сильно расширяющейся кверху, он кажется гораздо выше.

— Какое несчастье! — говорит он по-французски Аралову, коротко и крепко пожимая его руку. И тут же, обернувшись к сопровождающим его туркам, не повышая голоса, но с такой интонацией, от которой у тех, вероятно, трясутся поджилки, спрашивает по-турецки: — Почему до сих пор не начали ломать вокруг? Хотите, чтобы повторился шестнадцатый год и еще одна треть города сгорела? Немедленно ломать! Вызвать саперов и школу юнкеров!

Один из адъютантов Кемаля, козырнув, исчезает. Вскоре появляются саперы и юнкера, и борьба с пожаром начинается в другом темпе и другим методом. Пламенем охвачены уже два квартала, и оно грозит распространиться дальше. Счастье, что нет ветра. Гигантский столб огня, света и искр, то растая, то уменьшаясь, стоит почти прямо, не отклоняясь в стороны. Военные энергично берутся создавать вокруг огненного острова мертвую зону. Так тушат лесные пожары, но в данном случае роль деревьев играют еще не загоревшиеся соседние дома. Под них подкладывают толовые шашки, предварительно удалив обитателей и все их имущество. Гнусавый звук рожка. Все отбегают. Ослепляющий взрыв, удар. На секунду меркнет яркое пламя пожара и приглушается его шум. Туча слепящей, душащей пыли от рухнувших глинобитных стен, дождь мелких осколков, звон стекла. Из образовавшейся на месте дома груды развалин поспешно вытаскивают и отбрасывают подальше стропила, бревна, куски расщепленных рам, и путь огню прегражден.

Саперам помогают добровольцы из населения, воодушевленные появлением Кемаля. Они зацепляют углы обреченных на уничтожение легких построек длинными баграми, подрубают их топорами и рушат, как картонные домики. Рядом с нами таким образом разрушили дом, но только наполовину. Высыпались из стен кирпичи и глина, а самый остов стоит, угрожая в недалеком будущем вспыхнуть и открыть дорогу огню к новым жертвам. Десяток человек с топорами азартно подрубают столбы недоломанной постройки, на которых еще держится черепичная крыша. Согласовывать в таком аду работу нет возможности. Один из столбов, затрещав, рушится раньше других. Крыша угрожающе кренится. Град черепиц сыплется вниз. Люди с криком бросаются во все стороны, но одного рухнувшая крыша настигает и валит. Лишь через несколько минут его извлекают из-под обломков и, шатающегося, уводят куда-то с окровавленным лбом. Кровь в свете пожарища кажется темной, как вишневый сок.

Я стою неподалеку от Кемаля, который, в окружении приближенных, разговаривает с Араловым.

— Вы совершенно правы, — говорит Кемаль ему, — есть основания подозревать диверсию. Слишком многие заинтересованы в том, чтобы нас поссорить. Но вы должны знать, и я в этом даю вам слово при всех, что, пока я жив, Турция не забудет того, что для нее сделал и продолжает делать Ленин. Я еще не успел вам написать это в ответ на ваше позавчерашнее письмо, но я напишу. Я много раз об этом говорил с трибуны и еще не раз скажу. Дружбу Турции с Советской Россией я считаю краеугольным камнем нашей независимости.

Важнейший разговор бесцеремонно прерывает наш комендант. Задыхаясь от волнения, он говорит полпреду, что в одном из ближних угрожаемых домов, вверху улицы, находится несколько бочек бензину, принадлежавшего Внешторгу. О них забыли, и они могут взорваться. Час от часу не легче! Взрыв — что бы ни взорвалось — даст правым такую пищу для атак на нас и на Кемаля, что трудно предвидеть последствия. Необходимо предупредить, чтобы бочки откатили подальше! Бежать кругом? А если опоздаем? Надо напрямик, кратчайшим путем.

— Я предупрежу, Семен Иванович! — говорю я Аралову и устремляюсь вверх по совершенно пустой, с двух сторон горячей улице. От цели отделяет совсем немного, какая-нибудь сотня шагов. Но уже на половине чувствую, что, пожалуй, рискнул зря. Начинаю задыхаться. Нестерпимый белый жар кругом. Дождь искр. Что-то рушится рядом, трещит, ухает. Невыносимо больно глазам. Закрываю их руками. Вернуться? Кажется, уже больше половины. Надо нажать!

Собрав все силы, бросаюсь вперед. Спотыкаюсь о бревно, упавшее поперек улицы, и со всего разгону падаю. Обо что-то поранил правое

бедро, сорвал кожу с обеих ладоней. Ни того, ни другого, впрочем, в ту секунду не заметил. Перед глазами докрасна раскаленные и увитые гирляндами синеватых огоньков оконные рамы первого этажа. Розовато-черный дым густыми клубами стекает из окон вниз и лишь потом, точно с усилием, тяжело вздымается вверх. На его фоне совсем белой кажется кромка огня, пляшущая над резными карнизами. Таким же белым огнем горят почерневшие, скоробившиеся расписные ставни. Сквозь дым, ползущий из окон, как через сильно закопченное стекло, видны темно-багровые языки пламени внутри комнаты. Подобно искре в дыму, в сознании проносится мысль: как раз вот тут, у этого окна, стоит мой рабочий стол! Я совсем забыл о нем в суматохе, и в нем гибнут четыре объемистые тетради обстоятельных записей о Турции. Вскрываю и, спрятав лицо в смеженные локти, бегу дальше, стараясь не дышать, не дать проникнуть в легкие смертному жару и дыму.

Наконец выскакиваю из дыма и, жадно глотая живительный, ни с какой радостью несравнимый свежий воздух, врзаюсь в толпу. Найдя своих, спрашиваю о бензине. Оказывается, его уже благополучно эвакуировали в безопасное место, так что, собственно говоря, рисковать было совершенно не к чему.

Только сейчас, отдышавшись, ощущаю саднящую боль в боку и ладонях и замечаю кровь.

Возвращаюсь к пожару. Издали, с горы, оно кажется гигантской жаровней, в которой какое-то фантастическое существо вздумало посреди города плавить золото и рубины. Все так же мечутся розовые точки птиц и так же воют собаки. Вот оно, это самое существо! Как темный призрак, упираясь головой в небо, стоит над городом красновато-черный дым. Верхние слои его расплываются, плывут в стороны, и временами кажется, что это настоящая человеческая фигура, вышиной в добрую тысячу метров, с головой и руками, совершающая странные, плавные пассы. Мне вдруг становится понятно, откуда в мусульманской демонологии возник образ джина, гигантского злого духа. И... становится холодно. До того холодно, что дрожь пробирает. В Ангоре климат резко континентальный, а тут еще реакция после такого нервного напряжения. Пытаясь согреться энергичными гимнастическими телодвижениями, спускаюсь вновь к нижней части улицы, где по-прежнему стоят Аралов, военный атташе и другие. Кемаль уже уехал. Но товарищи продолжают оживленно обсуждать сказанные им слова и его сложное положение накануне решающей битвы.

Разговор прерывается давно ожидаемым финальным эффектом пожара: обрушивается наконец прогоревший дотла пол мезонина. Фонтан искр вздымается вверх. Две балки, сшибленные со своих мест, внезапно образуют посреди пламени огромный черный крест, и золотые ручки, вопреки законам природы, взбегают по ним снизу вверх. Через секунду над верхними концами креста возникают полотнища густого, красновато-рыжего пламени, и кажется, что это какие-то существа, оседлав балки, бешено перепиливают их золотыми пилами.

Огромное пожарище издыхало до позднего утра. В течение нескольких дней пепелище, к которому стекались сотни любопытных и пострадавших, курилось и дотлеvalo окончательно. Обугленные, полуразрушенные трубы высились над ним, как кладбищенские памятники. Еще больше разрушений было вокруг, в зоне кварталов, уничтоженных для преграждения пути огню. Нельзя сказать, чтобы этот способ тушения пожаров был самым экономным.

Правые (в особенности муллы) не преминули использовать пожар для клеветы на нас. Они стали усиленно распускать среди населения слухи, якобы большевики сожгли «сефарет» сами. Но эта провокация успеха не

имела. Народ быстро узнал, кто был настоящим виновником пожара. Несомненно, этому помогли сторонники Кемаля и он сам.

Верный слову, сказанному на пожаре, Мустафа Кемаль продемонстрировал дружбу с нами в самый напряженный для него момент. Ему нужно было уехать из Ангоры на фронт незаметно, чтобы об этом не знали. И он, договорившись с Араловым, дал в газете сообщение, что будет присутствовать у него на приеме, на даче. На самом же деле в день приема был уже в ставке. Это была и военная хитрость и демонстративный жест в отношении правых, которые так это и расценили.

Нашему полпредству временно предоставили неказистый дом на самом краю города, в предместье Джебджи, — тот, в котором почему-то помещен был и Фрунзе, когда жил в Ангоре.

Из окон виднелась пыльная дорога, уходящая на запад, к синим зубчатым горам. Сады. Ржавые могильные камни Простор полей. И долго еще снились мне в этом доме огненные дьяволы, перепиливающие золотыми пилами черную балку, тысячеметровый джин над Ангорой, замершей в страхе, озаренной полыхающими красными отсветами, густые розовые клубы дыма, медленно и тяжело, как тесто, стекающие на землю из горящих окон. А в ушах звучал на фоне грозного шума пожара глуховатый голос приземистого властного человека в высокой коричневой папахе:

— Пока я жив, Турция не забудет того, что для нее сделал Ленин.

Забыла ли она? Не верится, чтобы турецкий н а р о д мог это забыть! Как сказал нам в Самсуне Фрунзе: народы запоминают самое главное и надолго.



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

★

## ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Ф. КОНИ

1

**Н**едавно исполнилось тридцать лет со дня смерти Анатолия Федоровича Кони. Когда я познакомился с ним, он был почетный академик, сенатор, действительный тайный советник, член Государственного совета, кавалер самых высоких орденов. Знающие люди в ту пору учили меня, что на конвертах писем, обращенных к нему, я должен будто бы непременно писать: «Его высокопревосходительству». Я так и писал. Из всех моих тогдашних знакомых то был самый именитый сановник: «его высокопревосходительство»!

Но пришла революция, и сразу, в какой-нибудь час, все это ушло от него, и в обглоданном войной Петрограде он сделался просто Кони — таким же гражданином, как и все.

И замечательно: ему и в голову не пришло пожалеть о своем благоденственном прошлом, обидеться на революцию, лишившую его всех званий, орденов и чинов. Он не стал тратить время на то, чтобы брюзжать или жаловаться. Семидесятипятилетний старик, сгорбленный дугой, с большими ногами, он взял свои костыльки и пошел,ковыляя, по улицам, в самые дальние концы Петрограда — читать лекции красноармейцам, курсантам, рабочим в нетопленных, промозглых помещениях, которые носили громкое название клубов. Из-за гражданской войны и блокады эти клубы были так ограничены в средствах, что за двухчасовую лекцию вознаграждали его — да и то не всегда! — ржавой селедкой или микроскопическим ломтиком заплесневелого хлеба. И часто — утомленный в пути — он садился отдохнуть на ступеньки закрытых лавчонок, положив возле себя костыльки, и нисколько не обижался, когда сердобольные женщины — это бывало не раз! — покушались подать ему милостыню.

Ясность его духа изумительна. То, что он написал в своем известном письме к Луначарскому, мы, встречавшиеся с ним в эту пору, слышали от него очень часто. «Ваши цели колоссальны, — говорил он в письме. — Ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне, большому оппортунисту, который всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которую я жил, — все это кажется гигантским, головокружительным... Но если власть будет прочной, если она будет полна внимания к народным нуждам... что же, я верил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, обобран и спал».

Потому-то уже в самые первые месяцы нового, советского режима он без всяких колебаний и оглядок нашел «свое место в рабочем строю» и с поразительной скромностью встал в ряды безвестных «просвещенцев», отдавая все свои огромные знания и убогие стариковские силы делу строительства новой культуры. И так как его талант не угас, вскоре он стал одним из популярнейших лекторов в городе. Приближаясь к восьмому десятку, этот больной и переутомленный старик завоевал себе новое имя. В начале двадцатых годов в Ленинграде уже не было такого учреждения, куда не приглашали бы его выступить с лекциями. Оба университета, всевозможные техникумы, школы, курсы, научные и просветительные общества, клубы, больницы, библиотеки, музеи, дома просвещения, кружки, и Пролеткульт, и Дом искусств, и Балтфлот — всюду он выступал с величайшей охотой и с неизменным успехом. Читал о Пушкине, Льве Тол-

стом, Пирогове и, конечно, о своем любимом человеколюбце Гаазе, о воспитании детей, о перевоспитании преступников, об этике общежития — у него было великое множество тем, — но о чем бы он ни читал, всякая его лекция звучала, как моральная проповедь, всякая упорно твердила о том, как прекрасна человеческая совесть, как заманчиво и упоительно быть благородным, сколько счастья в служении добру. О чем бы он ни говорил, в каждой лекции слышался один и тот же неизменный подтекст:

Надуться юное хочется мне приклевне,  
От мрака и грязи умы и сердца уберечь.  
Быть может, средь нравственной скверны иных от паденья  
Спасет задушевная речь.

В его лекциях не было назиданий, поучений, призывов, но он с таким неподдельным восторгом рассказывал в них о русских правдолюбцах, героях, подвижниках, отдававших жизнь на служение народу, что его лекции неотразимо влияли на слушателей. Голос у него был тогда очень слабый, простуженный, но слушали его с таким благоговейным вниманием, что шепот его доходил до самых далеких рядов.

До чего любили его слушатели, видно хотя бы из того, что в 1921 году в день его рождения к нему пришла делегация от них и поднесла ему белый хлеб — драгоценность, в те годы почти легендарную. Это так растрогало и взволновало его, что он тогда же заявил с дрожью в голосе, что считает этот маленький хлебец одной из лучших наград, какие он когда-либо получал в своей жизни. С начала революции и до своей последней, предсмертной болезни Анатолий Федорович, по подсчету друзей, прочитал около тысячи лекций!

В 1921 году ему стало легче работать: по ходатайству студентов Наркомпрос представил ему (правда, ненадолго) лошадь и бричку. Кучер этой брички, послушав как-то одну из лекций своего седока, стал посещать их при всякой возможности и, по словам Кони, сказал ему как-то с высоты своих козел:

— Ты, брат, я вижу, свеча!

(Он произнес по-церковнославянски: свеща!) От того времени у меня сохранилось около сотни писем и записочек Кони, хорошо рисующих его колоссальный — воистину титанический — труд и те бытовые условия, в которых он тогда жил и работал. В это время он жил уже не на Невском, где я познакомился с ним, а на Надеждинской улице.

«Дорогой Корней Иванович!.. — писал он мне в ноябре 1925 года. — Не могу посетить Вас, ибо совсем «обезножид» и лишь сижу иногда у крыльца, причем мои домашние смеются, что я пребываю в Швейцарии (в Швейцарии, так как внизу проживал его бывший швейцар, с которым он был издавна дружен. — К. Ч.) — быть может, взглянете? 13 октября исполнилось 60 лет моей служебной, общественной и писательской деятельности. Пора бы и на боковую...»

К нему в дом незадолго до этого переехала его старая приятельница Елена Васильевна Пономарева, очень преданный ему человек. Она была когда-то богачкой, чуть ли не миллионершей и под влиянием Анатолия Федоровича пожертвовала большую часть своих денег на постройку в Харькове Народного дома. В 1913 году я был у нее вместе с Кони в ее большой квартире на Фонтанке. Кони читал тесному кругу друзей и петербургских юристов свои еще не появившиеся в то время в печати «Воспоминания о деле Веры Засулич». Тогда в Елене Васильевне я видел богатую светскую даму, хозяйку большого салона; теперь она превратилась в хлопотливую, очень подвижную старушку, всецело посвятившую себя заботам об Анатолии Федоровиче. Когда, бывало, ни подройдешь к дверям его квартиры (на втором этаже), услышишь экзерсисы и гаммы, исполняемые на разбитом пианино неумелыми детскими пальцами. Это Елена Васильевна дает уроки музыки кому-нибудь из соседских ребят — за самую мизерную плату, ради того, чтобы приобрести для Анатолия Федоровича яблоко или стакан молока. Так как у него не было телефона и он мог общаться с друзьями лишь при помощи писем, она охотно брала на себя обязанности его секретаря и рассыльного. Многие из тех писем Анатолия Федоровича, которые сейчас лежат передо мной на столе, были доставлены мне Еленой Васильевной. Я уже лет двадцать не перечитывал их, и теперь они по-новому взволновали меня.

В то время он еле дышал от болезней; в одном его письме говорится:

«Я страдаю сильнейшим бронхитом и прежними болями в старом переломе бедра...»

В другом письме:

«Мой неврит не покидает меня, и каждая поездка в Университет на Васильевский остров своего рода хождение по мукам».

И в третьем письме:

«Здоровье мое плохо. Каждый выход на лекции (а это каждый день, кроме пятницы) причиняет мне невероятную усталость и нервные боли в сломанной 19 лет назад ноге».

И в следующем письме:

«Вчера в Университете, после моей двухчасовой лекции, у меня сделался сильный сердечный припадок... Очевидно, что я переборщил в работе...»

Но отказаться от этой работы не мог — так она увлекала его — и все больше загружал себя ею. Между тем острой нужды он в то время уже не испытывал. Его бытовые условия улучшились. Но он не позволял себе и подумать о том, чтобы отказаться от лекций.

«Это, — писал он мне в конце 1921 года, — единственное утешение моей настоящей жизни, слабою нитью еще привязывающее меня к существованию вообще. Чтение лекций, духовное и непосредственное общение со слушателями, их сердечное отношение ко мне в Университете, Живом слове и других просветительных учреждениях ободряет меня, дает мне силы для работы и заставляет отвлекаться от болезненных воспоминаний... Осужденный через каждые 10 минут присаживаться в изнеможении на какой-нибудь подоконник или тумбу, я буду вынужден бросить все свои более или менее отдаленные лекции, и это нанесет мне неизлечимый нравственный удар».

— Дело в том, — объяснял он, — что я всегда мечтал о профессуре. Едва я кончил Московский университет и получил кандидатскую степень<sup>1</sup>, мне была предложена кафедра. Для двадцатилетнего юноши то была высокая честь — стать профессором в тех самых стенах, которые освящены именами Герцена, Огарева, Грановского! Но меня манила другая работа — насаждение новых судебных порядков, и я отказался. А теперь, на восьмом десятке, я могу посвятить себя любимому делу, которым я когда-то пренебрег.

В Институте живого слова он вел практические занятия со слушателями, применяя очень своеобразные методы, чтобы научить их искусству ораторской речи — тому искусству, в котором он сам в свое время был недосягаемым мастером.

Войдя в ту аудиторию, где происходили занятия, я в первую минуту подумал, что нахожусь в настоящем суде. На главном месте сидел председатель судебной палаты — шустрый юноша лет девятнадцати. Прокурором была девица с круглым, мягким, добродушным лицом. В стороне, на отлете, за столиком сидел адвокат — красивоглазый, кудрявый брюнет сильно выраженного кавказского типа. А у него за спиной на скамье подсудимых томился с тоской во взоре застенчивый, миловидный студентик с девическим выражением лица. Все это были ученики Анатолия Федоровича.

Не прошло и пяти минут, как я понял из слов прокурора, что этот студентик — ужасный злодей, так как он утопил в реке Ждановке свою законную жену для того, чтобы она не мешала ему сожительствовать с прачкой Аграфной. То есть на самом деле он не совершал никаких преступлений, но он должен был играть эту роль, так как Анатолий Федорович с педагогической целью инсценировал здесь, в аудитории, старинный судебный процесс «по делу об утоплении крестьянки Емельяновой», в котором когда-то выступал обвинителем. Видно было, что дело ведется всерьез, что участники «процесса» вошли в свои роли; девушка-прокурор, например, с такой испепеляющей ненавистью глядела на смазливую студента, словно он и в самом деле был изверг, уличенный в зверском утоплении жены. Она обрушилась на него с грозной речью, и Анатолий Федорович одобрительно кивал головой. Адвокат тоже вызвал его одобрение. Но председателем судебной палаты он остался очень недоволен, ибо тот

<sup>1</sup> За студенческую работу «О праве необходимой обороны», которая, не в пример другим студенческим работам, была тогда же напечатана (М. 1866).

не проявил никакой объективности и в своем напутственном слове, в своем резюме слишком уж явно склонял весы правосудия в сторону Сибири и каторги.

— Вы изменяете роли судьи для роли прокурора,— сердился Анатолий Федорович, словно дело происходило в настоящем суде, и негодуяюще стучал костыльком.

Столь же театрално, по Станиславскому, было разыграно учениками Анатолия Федоровича «Дело о подлоге расписки княгини Щербатовой», и как огорчился знаменитый юрист, что он не может обеспечить суду нужного комплекта присяжных. Требовалось двенадцать, а в наличии было только пять или шесть, да и те с великой неохотой исполняли эти молчаливые роли: каждому хотелось быть либо прокурором, либо адвокатом, либо — что еще лучше! — преступником, чувствующим себя центральной фигурой большого процесса, который на самом-то деле успел отгреметь около полувека назад.

После каждой такой инсценировки суда Кони подробно разбирал со своим коллективом произнесенные речи и строго распекал девятнадцатилетних ораторов, если в их речах попадались дешевые, ходовые, трескучие фразы, произнесенные с наигранным пафосом. Он требовал предельной простоты и был очень немилостив к тем, кто нарушал законы языка и так или иначе коверкал обожаемую им русскую речь.

Педагогическая ценность таких инсценировок была для меня несомненна, и я любил присутствовать на них, так как мне казалось, что методика, применяемая в этих случаях Анатолием Федоровичем, являет собой один из самых верных путей для воспитания судебных ораторов.

Впрочем, обо всем этом я говорю как профан, очень далекий от судейского мира. В суждениях о литературе я чувствовал себя более уверенным, и, должно быть, по этой причине Анатолий Федорович обращался ко мне с выражением своих чувств и мнений, имеющих отношение к писательству. У него была чудесная черта: говоря о литературных явлениях, он никогда не умел быть спокойным — они либо восхищали его, либо вызвали в нем гневные чувства.

В 1924 году Публичная библиотека в Ленинграде обнародовала хранившуюся в ее архиве рукопись гончаровской «Необыкновенной истории». В этой рукописи знаменитый писатель пробует обосновать свою ни на чем основанную уверенность в том, будто Тургенев позаимствовал у него многие образы для своего «Дворянского гнезда». То был, по выражению Кони, безумный патологический бред. Опубликование этого бреда, характеризующего болезненную неуравновешенность автора «Фрегата «Паллада», возмутило Анатолия Федоровича и вызвало его горячий протест. Он был другом Гончарова и считал своим нравственным долгом выступить в защиту его памяти. Когда же один из наших общих знакомых попробовал оправдать поступок Публичной библиотеки тем, что «Необыкновенная история» «отлично написана» и «независимо от своего содержания пленяет своей замечательной формой», он ополчился против этого мнения и написал мне, что здесь «эстетизм граничит с цинизмом» и что на этом примере очень отчетливо видно, «из каких аморальных личностей вербуются приверженцы чистой эстетики».

Так же бурно реагировал он и на такие явления литературного мира, которые были ему по душе. Прочтя статью Горького в защиту жены Льва Толстого, Анатолий Федорович написал мне в январе 1925 года:

«Если возможно, сообщите мне адрес Горького. Я в совершенном восторге от его статьи о Софье Андреевне Толстой и хочу написать ему об этом. Мы так сошлись с ним во взглядах».

Таких писем много, и нетрудно заметить, что при оценке литературных явлений Анатолий Федорович применяет, если так можно выразиться, морально-правовой, юридический, судейский критерий. То же и во всех его статьях. Хотя он отзывается в них на самые разнообразные темы: в одной он пишет об известном актере, рассказчике сцен из народного быта Иване Горбунове, в другой — о хирурге Пирогове, в третьей — о Достоевском, — но в каждой из них он остается судьей, ставящим этическое начало превыше всего. Поэтому так дорог мне тот приговор, который он — именно как юрист, как судья — вынес одной моей книжке. Книжка давно позабыта. В ней я по мере своего разума пытался разобраться в считавшихся неблагоприятными поступках Авдотьи



Панаевой, которые причинили столько тяжелых страданий ее другу, поэту Некрасову. Книжка вышла в 1921 году, я с трепетом послал ее Анатолию Федоровичу, и велика была моя нечаянная радость, когда на другой же день я получил от него такое письмо:

«18 декабря (1921)  
4 часа ночи.

Дорогой мой Корней Иванович!

Придя домой, я оставил всякую работу и принялся за Вашу книжку о жене Некрасова — и не мог оторваться от нее... Во мне говорит старый судья, и я просто восхищен Вашим чисто судейским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим «руководящим напутствием», Вашим резюме дела о подсудимых — Некрасове и его жене. Ваша книга настоящий судебный отчет и Ваше «заключительное слово» дышит «правдой и милостью». Давно не читал я ничего до такой степени удовлетворяющего нравственное чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно-доверчивым обвинениям.

Замучила меня бессонница. Лег в час и вот в четыре уже сижу за столом».

В письме была приписка, которая кажется мне и сейчас изумительной:

«Прилагаю свою книжечку. После Ваших [книг] как-то совестно стучаться с нею в Ваши двери, но уж пустите к себе бедную странницу».

Это пишет знаменитый юрист, прославленный мастер слова, у которого и Гончаров и Тургенев спрашивали литературных советов, пишет маленькому литератору, почти безыменному, по поводу его никем не признанной книжки.

Вообще дружественное внимание к людям было, так сказать, специальностью Кони. Среди его писем встречается немало таких:

«...Дочь писателя Павла Михайловича Ковалевского (сотрудника «Современника» и «Отечественных записок») Ольга Павловна, живущая в Гатчине, находится в самом тяжелом положении... Извините, что беспокою вас» и т. д., и т. д., и т. д.

«...У меня есть знакомый, сын моего старого сослуживца С. К. Гогеля, — талантливый драматический писатель, находящийся в бедственном положении вследствие туберкулеза и отсутствия средств. Я очень хотел бы помочь ему, но Союз драматических писателей сам страдает «голодной нужей», как писалось в старину. Вы знаете весь литературный мир и его учреждения. Не укажете ли мне, куда можно бы обратиться с ходатайством за бедняка» и т. д., и т. д., и т. д.

Сам больной и смертельно усталый, он, пренебрегая своей собственной болью, неумоимо хлопотал о других.

## 2

Но я боюсь, что у меня получился слишком пресный и постный образ какого-то елейного праведника, вместилища всех добродетелей, — не портрет, а скорее икона.

Спешу заверить, что Анатолий Федорович не имел ничего общего с этой утомительно скучной породой людей.

Профессиональными праведниками были в мое время толстовцы, и я так ненавижу их сектантское самодовольное упоение своею безгрешностью, что всякий раз, когда попадал в их среду, спешил убежать от них прочь, предпочитая сделаться отъявленным грешником, лишь бы не претерпевать эту благочестивую скуку.

К счастью, добродетельность Кони была совершенно иной. Чудесно сказал о нем один из его старых друзей, Александр Иванович Урусов:

«Анатолий Федорович — виртуоз добродетели. У других эта богиня скучна и банальна, а у Кони она увлекательна, остроумна и соблазнительна, как порок».

Могу подтвердить, что это было действительно так. У него было несколько неожиданных свойств, которые как будто совсем не пристали суровому судье, исправителю нравов, пекущемуся об искоренении пороков.

И первое свойство — верселесть. Не помню случая даже в годы его стариковских болезней, чтобы, придя к нему, я не услышал от него забавной истории о каком-нибудь житейском гротеске. Он был переполнен юмором, совершенно исключавшим какое бы то ни было ханжество.

Это, помнится, удивило меня при первой же нашей встрече.

Он жил тогда на Невском проспекте, против Николаевской улицы. Я шел к нему, настроившись на сумрачный лад, но не прошло и получаса, как с удивлением заметил, что беспрерывно улыбаюсь во весь рот. Меня встретил приветливый пожилой человек невысокого роста, без усов, с рыжеватой бородкой, с оживленными, моложавыми, даже чуть-чуть озорными глазами. Уже тогда он опирался на палку, при каждом шаге сильно наклоняясь вперед, по это не помешало ему очень бодро и быстро ковлять по обширному своему кабинету, показывая мне портретики, фотографии, гравюры, которыми сверху донизу, словно в музее, были увешаны все четыре стены его комнаты. Подведя меня к портрету Гончарова, он очень непринужденно, охотно рассказал несколько эпизодов из жизни писателя и, между прочим, припомнил, что Иван Александрович, получив известие о смерти Тургенева, которого он, как известно, считал хитрецом, недоверчиво произнес:

— Притворяется!

Тут Кони по-актерски изобразил Гончарова: губы его мрачно искривились, лицо выразило тяжелую мнительность, но это длилось не больше секунды, и, преодолев свой порыв к лицедейству, он со слов того же Гончарова рассказал, как русские матросы, гуляя по Лондону, добродушно потешались над шотландскими гвардейскими солдатами, охранявшими дворец королевы в своей эксцентричной национальной одежде — клетчатых юбочках выше колен.

— Что вы тут смеетесь? — спросил Гончаров.

— Да ты посмотри, ваше благородие, королева-то им штанов не дала!

Позже я замечал много раз, как свободно владеет Кони простонародною мужицкою речью. Он всегда чудесно передавал эту речь, словно заправский актер, несколько не шаржируя ее интонацией, не выпячивая ее причудливых слов.

— Только и осталось, что лечь на брюхо да спиной прикрыться.

— Он выпивши был, у нас престольный праздник, ну он и напрустолился.

Он вообще был говорлив, словоохотлив и ничем не напоминал прокурора. Не помню, по какому случаю он рассказал мне тогда же следующую небольшую историю, происшедшую когда-то в Петербурге. Туда приехала из Парижа француженка, и за ней стал ухаживать один молодой офицер. А так как она не желала до законного брака уступить его упорным домогательствам, он повел ее в русскую церковь и заказал священнику молебен — чуть ли не за здоровье царя. Француженка, не разбиравшаяся в православных церковных молитвах, приняла молебен за свадебный обряд и, вообразив себя законной женой, провела с обманувшим ее шалопаем несколько счастливейших дней долгожданного медового месяца. Но можно себе представить душевное ее потрясение, когда она — слишком поздно — узнала о своей непоправимой ошибке. Впрочем, в конце концов все обошлось превосходно: француженке посчастливилось подстеречь царя Николая во время его обычной прогулки, она бросилась к его ногам и рассказала о своей страшной беде. Царь воспылал гневом и, чтобы покарать нечестивца, приказал вопреки всем церковным уставам:

— Считать молебен бракосочетанием!

Таким образом коварный обольститель стал жертвой своего же коварства, так как утратил возможность жениться на богатой невесте, а его француженка не имела ни гроша за душой.

Все это было рассказано в тысячу раз лучше, чем здесь у меня на бумаге: живые модуляции голоса, полновесные эпитеты, паузы в нужных местах — все обличало в Анатолии Федоровиче опытного мастера подобных изустных рассказов. Их было у него великое множество. И здесь в нем открывалась другая черта, лишавшая его праведности той унылой окраски, которая издавна ассоциировалась у меня с добродетелью. Он оказался артистической натурой, с темпераментом большого художника. Если бы он не был судьей, прокурором, знаменитым оратором, он мог бы стать незаурядным актером или бытовиком-беллетристом, такой был у него аппетит к разным бытовым эпизодам, выхваченным прямо из жизни, к художественному изображению всевозможных характеров, лиц, ситуаций.

Нельзя не вспомнить, что он всю жизнь водился с актерами, дружил с Михаилом Семеновичем Щепкиным, с Марией Гавриловной Савиной, что отец его был театрал по профессии, а мать — характерная бытсовая актриса. Рассказывают, что одна молодая

женщина, слушая как очарованная его рассказы в лицах о старых актерах, московских и петербургских, воскликнула:

— Ах, Анатолий Федорович! Как жаль, что вы не сделались актером!

Кони шутливо вздохнул:

— Да, мой голубчик, я и сам часто думаю, что ошибся в своем призвании.

Это, конечно, не так. Никакой ошибки тут не было. Его подлинным призванием был суд; он был самой природой создан для практической повседневной работы в суде, для борьбы за справедливость и правду. Но эта борьба не имела бы никакого успеха, если бы его судебные речи были сухи и мертвенны, если бы они не были расцвечены юмором, если бы в них не сказывался его огромный талант беллетриста. Талант этот точно так же очень явственно выразился в его обаятельной для меня и очень своеобразной манере вести разговор: услышав от вас какую-нибудь — пусть даже самую ординарную — мысль, он тотчас же добывал из своей неисчерпаемой памяти живую иллюстрацию к вашим словам — какой-нибудь жанровый, колоритный бытовой анекдот, и у него получалась небольшая новелла, отшлифованная в каждой мельчайшей детали, с неожиданной, эффектной концовкой.

Сколько этих крохотных новелл в его книгах! Вспомните хотя бы его мемуарные очерки «Домочадцы», или «Синьор Бсляев», или «Из харьковских воспоминаний», или «Свидетели на суде», — вы увидите, что для него, как для всякого большого художника-реалиста, нет ничего интереснее человеческих личностей во всем многообразии их психологий, судеб и поступков. Оттого-то книги его так многолюдны. По ним вереницей проходят крестьяне, генералы, шантажисты, помещики, растратчики, всевозможные судебные деятели, швей, таперы, игроки, отравители, монахи, сыщики, сводники, доктора, сумасшедшие — и у каждого своя повадка, свой жест, своя характерная речь. Такого универсального житейского опыта хватило бы на десять романов. Весело, легко, без натури Кони изображает этих людей и людишек, но тут же рядом, на соседних страницах, живет в его книгах особая категория людей, о которых он выражается возвышенным слогом: «самоотверженные стражи закона», «благороднейшие правдолюбцы», «идеальные русские праведники», — ибо, помимо всего, он мастер похвального слова и его вечно влечет к дифирамбам, к прославлению благороднейших деяний и подвигов. Отсюда его статьи о Гаазе, Пирогове, Владимире Одоевском, Льве Толстом, а также о таких позабытых подвижниках, как Лямбль, Балинский, Дондукова, Еракова.

В своих любимых героях он больше всего возвеличивает их воинственность, их, как он выражался, *esprit de combativité*. По-русски это означает боевой задор, готовность к бою. У каждого из них один и тот же — для него драгоценный — девиз: *vivere est militare* — жить это значит воевать, и он восхищается ими именно потому, что они — воители. Каждый встречает на своем жизненном поприще какое-нибудь, казалось бы, непреодолимое зло, которое ему надлежит одолеть. С кем только не воюет, например, доктор Гааз! И с тюремщиками, и с попами, и с чиновниками, и с митрополитом, и с начальником московской полиции, воюет один против всех, доказывая своим жизненным подвигом, что и один в поле воин. Кони набожно заносит в свое поминание лишь тех, кто, подобно Гаазу, выходит на бой с какой-нибудь общественной кривдой. Так, в его статье о Зарудном читаем:

«Он восстал... «воевал»... «ратовал».

Вся жизнь Пирогова в изображении Кони есть сплошная война со «свинцовыми мерзостями» тогдашнего строя.

Таков же был жизненный путь самого Анатолия Федоровича; много вел он незаметных, но тяжких боев, защищая правый суд от посягательств победившей реакции. Ярче всего его боевая натура выразилась в конце семидесятых годов, когда присяжные под его председательством оправдали, к негодованию царя и министра юстиции, революционерку Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника Трепова.

Высоко цена тех (очень немногих!) своих современников, кто, так же как и он, не вступал в компромиссы с тупым и косным бюрократическим миром, Кони сделал попытку прославить их в ряде статей, юбилейных речей, некрологов. К сожалению, многие из его дифирамбов, говоря откровенно, уже не звучат для советских людей, которые вряд ли согласны ставить на такой пьедестал графа Гейдена, Кавелина, Чи-

черина, Джаншиева, Чупрова, Унковского и прочих либеральных кумиров. Все эти «жития», написанные так благолепно, в литературном отношении гораздо слабее всего, что написано Кони: иные слащавы, иные витиеваты и вычурны. Но все это, не выдержав испытания временем, уже давно, без всяких посторонних усилий, само собою ушло из сознания читателя, умерло естественной смертью и уже никогда не воскреснет.

Зато с каждым годом все выше встает перед нами светлый (действительно светлый — это нисколько не фраза) образ Анатолия Федоровича, бестрепетного судьи-гражданина, который в условиях несправедливого строя грудью бился за праведный суд и заслужил сердечную признательность советских людей, особенно судебных работников, видящих в нем одного из своих благороднейших учителей и предшественников

## 3

Государственное издательство юридической литературы наконец-то — через тридцать лет после смерти Кони — выпустило сборник его судебных речей<sup>1</sup>. Спасибо и за то. Для нынешних наших юристов эти речи — отличная школа, ибо из всех русских судебных ораторов минувшего века Кони — наиболее «советский», и его речи наиболее близки советскому правовому сознанию. Самый стиль его речей, лаконический, сдержанный, чуждый дешевых эффектов и напыщенных фраз, — стиль, где вся ставка на в н у т р е н н и й пафос, вполне отвечает тем требованиям, которые предъявляются нашим народом к речам, приносимым на суде. В кратком введении, предпосланном этому сборнику, достоинства речей А. Ф. Кони характеризуются так: «Строгая логика, всесторонняя аргументация, глубокий психологический и юридический анализ действий подсудимого и доказательств по делу» и т. д. Казалось бы, чего же еще! Сами же юристы свидетельствуют, что лучших образцов для изучения, в сущности, и желать невозможно. «Кони — наш классик!» — такое признание единогласно прозвучало в речах судебных работников, которые выступали на трех многолюдных собраниях в Москве, посвященных памяти Кони по случаю тридцатилетия со дня его смерти.

А если это так, если литературное наследие Кони представляет такую огромную ценность, читатели вправе требовать, чтобы его произведения были издаваемы с той любовью и тщательностью, с какой вообще издаются у нас произведения классиков.

Выполнено ли это законное требование? С первого взгляда может показаться, что да: предисловие к книге составлено очень корректно, подбор материала почти безупречен (дело Веры Засулич, воспоминания о Льве Толстом и т. д.)<sup>2</sup>. И все же, взглядевши внимательнее, с огорчением видишь, что это книга-калека, книга-урод и что редакторская «работа» над нею граничит с прямым издательством.

Особенно чудовищны примечания редактора. Кони пишет, например, о деятеле крестьянской реформы Якове Александровиче Соловьеве (стр. 541), а комментатор сообщает про этого Якова Александровича: «Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900) — известный философ-идеалист» (стр. 881), и его не смущает даже то обстоятельство, что в день, когда было объявлено «раскрепощение» крестьян, Владимир Соловьев был восьмилетним мальчишкой. Очевидно, он начал участвовать в подготовке реформы в возрасте от двух до пяти!

Кони говорит о каком-то Александре или Алексее Каткове, участнике судебного дела, происшедшего в 1896 году (стр. 745). Комментатор тут же спешит указать, что речь идет о реакционном публицисте Михаиле Каткове, который умер в 1887 году — и, значит, участвовал в названном деле после девятилетнего пребывания в могиле! (стр. 885).

Далее, на странице 797 Кони говорит, что в шестидесятых годах он бывал у поэта Майкова. Конечно, речь идет об известном поэте Аполлоне Николаевиче Майкове, сверстнике Некрасова, друге Достоевского. Комментатор же, верный своей постыдной

<sup>1</sup> А. Ф. Кони. Избранные произведения. Статьи и заметки. Судебные речи. Воспоминания. Редактор А. М. Яковлев. 888 стр. Государственное издательство юридической литературы. М. 1956.

<sup>2</sup> Из книги следовало бы изъять очень слабые «Советы лекторам», не имеющие никакого отношения к юриспруденции.

манере, выдает этого Аполлона Майкова за Василия Майкова, умершего еще в восемнадцатом веке (стр. 886). При этом остается неясным, как мог Анатолий Федорович, доживший до советской эпохи, посещать своих друзей и знакомых в 1760 году!

Такие же враки об Эдгаре По (стр. 878), о Каракозове (стр. 879), о поэте Хомякове (стр. 885) и прочее. Примечание о Хомякове дано к тем строкам, где Кони говорит, что было время, когда Лев Толстой ставил Хомякова выше Пушкина. Комментарий сообщает по этому поводу: «Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860), помещик». А о том, что Хомяков был поэт, — ни гу-гу.

Читаешь всю эту халтурную чушь и хочется кричать караул. Неужели в издательстве не нашлось человека, который сказал бы редактору, что невозможно приписывать Майкову известнейшие строки Некрасова (стр. 114), нельзя коверкать иностранные цитаты (стр. 728, 863 и др.), нельзя приписывать Кони такую, например, дикую дату: «С декабря 1878 года по апрель 1877» (стр. 513) и т. д., и т. д., и т. д.

Редактор даже попытки не сделал расшифровать имена, которые, в силу давно уже не существующих причин, были зашифрованы Кони. Они сохраняют загадочную букву П, там, где дело идет о «колоссальном ворище» Политковском (стр. 118). Они сохраняют инкогнито «крупного сановника», отличающегося изуверством (стр. 721), хотя им надлежало бы знать, что это был статс-секретарь Оболенский.

Внешность книги тоже весьма неказиста. Книга вышла неуклюжая, пухлая, рыхлая, на серой бумаге. Портрет Кони, нарисованный Репиным, воспроизведен так халтурно, что кажется клеветой на подлинник.

Словом: чем скорее Госюриздат заменит это неряшливое издание новым, тем скорее он загладит свою вину перед Кони и перед советским читателем.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ

## САМУИЛ МАРШАК

3 ноября 1957 года  
исполнилось 70 лет  
со дня рождения  
С. Я. Маршака.

Самуилу Яковлевичу Маршаку исполнилось семьдесят лет.

Семьдесят лет — срок большой и малый. Большой, если заглянуть в биографическую справку, где перечислен длинный ряд названий и дат, где говорится, что уже шесть десятилетий назад стихи Маршака читал и оценивал В. В. Стасов, что молодой Горький был одним из первых литературных учителей Маршака... Но чаще, чем в биографические справки, читатель заглядывает в книжки стихов. Он рисует свой образ поэта, читая и перечитывая полюбившиеся стихотворные строчки. А стихи Маршака всегда подкупают своей молодостью. В них живет радость познания мира. И эту радость он делит в стихах для детей с ребенком, который впервые познает и открывает для себя окружающий мир во всей его первоначальной свежести.

Семьдесят лет — очень малый срок для такого неутомимого труженика, как Маршак. Ведь он и сам недавно писал в стихотворении «Память детства»:

Да и нынче борюсь я с дремотой  
И ложусь до сих пор с неохотой,  
И покою ночному не рад,  
Как две трети столетья назад.

Те, кто хоть немного знаком с распорядком рабочего дня поэта, хорошо знают, что в этих строках нет ни капли вымысла. Праздность для Маршака по-прежнему невыносимее всего.

За годы своей творческой деятельности Маршак сделал много, очень много, как детский поэт и драматург, переводчик и критик, автор проникновенной «Лирической тетради», колючих сатирических стихов и эпиграмм. Его произведения изданы более чем сорокаmillionным тиражом и переведены на семьдесят языков народов мира. У такого разностороннего поэта и круг читателей, конечно, должен быть разнообразный. Для взрослых читателей он переводит Бернса, Шекспира, Блейка. Для школьников написал «Быль-небылицу». А те, что сами еще не научились читать, слушают, как старшие читают им «Мастера-ломастера» и «Сказку о глупом мышонке».

И так же, как нынешний читатель «Глупого мышонка», когда-нибудь впервые прочитав в переводах Маршака сонеты Шекспира, найдет в них для себя целый мир мыслей и чувств, так и читатель сонетов, заново перечитывая хорошо знакомые ему с детства сказки и песенки Маршака, откроет в них новый, более глубокий смысл, потому что и в эти веселые истории для самых маленьких щедро вложены мастерство и талант.

Маршак — признанный мастер русской советской поэзии. Его вклад в нашу литературу трудно переоценить.

Редакция журнала «Новый мир» от своего имени и от имени читателей журнала поздравляет Самуила Яковлевича Маршака с юбилеем и желает ему новых успехов во всей его разносторонней творческой деятельности.

## АНДРЕЙ УПИТ

5 декабря 1957 года  
исполняется 80 лет  
со дня рождения  
А. М. Упита.

Шестьдесят пять лет тому назад в латышской газете «Домашний гость» («Маяс внесне») были напечатаны небольшие зарисовки из деревенской жизни, написанные сыном крестьянина-испольщика, проживавшего в Скриверской волости, близ светлой реки Даугавы.

Автору зарисовок было тогда пятнадцать лет. Звался он — Андрей Упит.

Ныне, пятого декабря 1957 года, вся многонациональная советская литература и вместе с нею миллионы советских читателей горжественно отмечают восьмидесятилетие со дня рождения и шестидесятипятилетие творческой деятельности Андрея Упита, крупнейшего писателя свободной социалистической Латвии, чьи книги переведены на многие языки мира и могут по праву быть названы энциклопедией жизни латышского народа на протяжении последнего века.

Андрей Упит писал лирические и сатирические стихи. Из-под его пера выходили комедии и драмы. Перечень названий всех его книг, начиная от сборника новелл «Верноподданные», изданного в 1907 году, занял бы не одну журнальную страницу. Но наибольшей силы Андрей Упит достиг именно в тех книгах, где он с поистине эпической широтой изображает жизнь народа, жизнь латышских крестьян и становление латышского рабочего класса; где он позволяет читателю ощутить рост революционного самосознания в самых глубинных недрах народа, где вся картина, им нарисованная, показывает закономерность и неизбежность победы революции над обреченным эксплуататорским обществом.

Таким эпическим полотном явилась трилогия «Робежниeki», начатая в 1908 году романом «Новые родники» и оконченная романом «Свежий ветер» в 1921 году. А затем, после нескольких примыкающих к этой трилогии романов, А. Упит создал еще более грандиозное эпическое полотно, включающее романы «Земля зеленая» (1944) и «Просвет в тучах» (1951) и охватывающее жизнь хуторских земледельцев и молодого рижского пролетариата на протяжении двух последних десятилетий прошлого века, вплоть до дней восстания 1899 года, когда рабочие на несколько дней захватили власть в Риге в свои руки.

Тема Упита — тема назревающей и побеждающей революции.

Оружие Упита — метод социалистического реализма. И он действительно помогает всей советской литературе оттачивать это боевое оружие, не только пользуясь им как художник, но и последовательно разрабатывая проблематику социалистического реализма в ряде своих трудов по литературоведению и теории литературы.

Писатель-боец, писатель-труженик, не оставляющий пера ни на один день в течение всех шестидесяти пяти лет, отданных им литературному труду, — таким переходит за грань своего восьмидесятилетия Андрей Упит. И все его собратья по литературе, все благодарные ему читатели желают Андрею Упиту еще многих и многих лет такого же плодотворного труда.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОЗЕРОВ



## БОЕВОЕ ОРУЖИЕ

**В** советской литературе прочно утвердились традиции, творческие принципы, определяющие главный путь ее развития. Ясное представление о существовании метода социалистического реализма, о партийности советской литературы, о ее единой направленности при богатстве художественных индивидуальностей возникло не «вдруг», не по наитию «свыше». Оно выработано в самой литературной практике и опирается на многолетний опыт советского искусства. Это опыт большого коллектива, он вбирает в себя творчество и теоретические высказывания основоположника социалистической литературы Горького, в него вложены усилия таких крупных мастеров, как Маяковский, Алексей Толстой, Фурманов, Серафимович, Шолохов, Фадеев и другие. И когда сейчас читаешь сборник избранных статей, речей и писем А. Фадеева «За тридцать лет», выпущенный «Советским писателем», перед мысленным взором оживает тридцатилетняя история борьбы за боевое реалистическое искусство, искусство высоких идей, больших обобщений. Талантливейший художник и видный общественный деятель. Александр Фадеев внес серьезный вклад в эту борьбу, его книга — итог кипучей и целеустремленной деятельности.

В нашей стране сложился новый тип писателя. Писателем какого типа был и Фадеев, всей душой отдался он делу революции, всю жизнь беззаветно служил ему и как художник, и как деятель партии, и как руководитель писательской организации, и, наконец, просто как человек, чувствующий себя лично ответственным за все, что происходит в стране. В его лице органически соединялись художник, трибун и теоретик, его творческая программа была своеобразным выражением его политической и эстетической программы, а эстетические взгля-

ды питались непосредственно его творческим опытом. Фадеев ненавидел позицию литературного «мэтра», стоящего в стороне от бурь жизни, от живого литературного процесса; он считал необходимым активно вмешиваться в его развитие, обобщать закономерности этого развития, горячо поддерживать все, что соответствует интересам партии, и непримиримо бороться против всего, что расходится с ними. Боевой, наступательный дух в постановке идеологических вопросов счастливо соединялся при этом с тонким пониманием специфики литературы, с влюбленным отношением к искусству. Отсюда общественная целенаправленность всех литературно-критических работ Фадеева, особое их обаяние.

На страницах книги оживает общественно-литературная атмосфера 1926—1956 годов, атмосфера того тридцатилетия, в которое развилась и окрепла советская литература, сформировались и восторжествовали ее главные принципы. Знакомясь с ранними и позднейшими статьями и выступлениями Фадеева, читатель чувствует своеобразие этого времени, задумывается о его характерных чертах, достижениях, трудностях, неудачах. Слово воочию следишь за творческим ростом нашей литературы, за исканиями эстетической мысли. Видишь рост идейно-художественных воззрений Фадеева, отражающий общий рост советского общества и литературы. Сравнивая статьи и речи Фадеева конца двадцатых — начала тридцатых годов, когда он высказывал некоторые ошибочные, близкие рапповским теориям взгляды, и его работы, скажем, послевоенного периода, видишь, как отличаются они и по глубине постановки вопроса и по общему философскому, научному уровню. Нельзя не заметить и другого. Каждое его выступление отмечено печатью свое-



го времени — оно связано с конкретными событиями, произведениями, теориями, со-звучно шедшим тогда спорам и дискуссиям, выявляет авторское отношение к тем или иным людям или событиям.

Среди работ по общим вопросам разви-тия литературы и искусства, представлен-ных в первом разделе сборника, есть и та-кие, которые содержат незрелые, а то и просто ошибочные суждения. В статьях и выступлениях «Столбовая дорога пролетар-ской литературы», «Долой Шиллера!», «За художника материалиста-диалектика» и не-которых других встречается целый ряд по-ложений, от которых автор впоследствии отказался. Это — немарксистская по суще-ству трактовка художественного метода нашей литературы как метода диалектиче-ского материализма, механическое отожде-ствление материализма с реализмом, а идеализма с романтизмом. Это — равнов-ское отношение к некоторым явлениям ми-рового искусства, в частности к романтике, и связанный с этим грубо ошибочный ло-зунг «Долой Шиллера!». Наконец, это пуганые, тоже близкие рапповским тео-риям, формулировки насчет «живого чело-века», «срывания всех и всяческих масок» и т. д. Правда, А. Фадеев дает свою интерпретацию этих теорий, не совпадаю-щую с тем, что вкладывали правоверные рапповцы в понятие «живого человека», и с той реализацией, которую получала эта теория в их сочинениях, где «психоанализ» противопоставлялся общественной практике людей.

Впрочем, в сборнике опубликованы да-леко не все статьи и выступления Фадеева раннего периода, а лишь те, которые были для него «эталпами» и без которых его путь в литературе выглядел бы упрощен-ным и облегченным. Многие свои положе-ния он уточняет и исправляет в последу-ющих статьях. А в целом все это реальная история литературного развития, которую нельзя ни «улучшать», ни «ухудшать». Нужно не приглаживать действительную кар-тину развития литературы, а верно, прин-ципиально объяснять ее и оценивать. Этой цели могла бы послужить развернутая ста-тья о Фадееве — критике и теоретике искусства, которая, к сожалению, в сборни-ке отсутствует, хотя некоторые вопросы затронуты в выступлениях от редактора-со-ставителя. Правда, ряд нужных объяснений сделан самим Фадеевым при доработке от-дельных статей и выступлений. Поправки в

тексте и развернутые примечания, уточня-ющие те или иные положения, — пример от-ветственного отношения к своему труду, подлинной большевистской самокритично-сти. Жаль, что автор не успел завершить всю намеченную им работу по подготовке сборника к печати.

Однако его авторская воля, различные пожелания по составу сборника и редакти-рованию материалов осуществлены с ис-ключительной точностью и добросовестно-стью, и в этом большая заслуга редактора-составителя книги С. Н. Преображенского. Полнота сборника, тщательная подготовка текстов к печати делают эту книгу первым фундаментальным изданием литератур-но-критических трудов одного из круп-нейших мастеров нашей литературы. И это тем более отрадно, что книгу Фадеева с ин-тересом читает не только тот, кому хо-чется глубже понять историю советской литературы, но и тот, кого прежде всего интересуют ее сегодняшние проблемы.

Материал сборника весьма разнообразен и разнообразен. В нем содержатся статьи, публичные выступления, письма пи-сателя; приведены его высказывания о рус-ской и зарубежной литературе, о класси-ках и современниках, заметки о специфике художественного труда и об организацион-ных вопросах литературной жизни. В оби-линь мыслей, оценок, наблюдений, очень ин-тересных, сохраняющих свое значение. встречаются и чрезвычайно спорные, крайне субъективные замечания. Не всегда вполне взвешены и объективны отзывы об отдель-ных книгах и писателях. Но важно под-черкнуть, что сборник в целом дает пред-ставление о системе идейно-художес-ственных воззрений Фадеева и о тех глав-нейших эстетических вопросах, к которым он постоянно возвращался, углубляя, раз-вивая, пересматривая их в свете новых требований жизни, нового состояния науки. Большинство этих вопросов ни в чем не утратило своей актуальности, поэтому кни-га «За тридцать лет» будет активно уча-ствовать в той борьбе за марксистскую идеологию, за социалистический реализм, против ревизионистов разных рангов и ма-стей, которая ведется сейчас нашим ис-кусством.

Всей своей литературно-критической дея-тельностью А. Фадеев утверждал немерк-нувшие ценности советской литературы, победоносную силу творческого метода со-циалистического реализма. Он не устал

напоминать о новаторской роли нашей литературы, о необходимости осмыслить ее характерные особенности. «Нам первым, — говорил Фадеев о своем поколении писателей, — выпало на долю счастье рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастье — детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один, даже самый крупный, из художников прошлого». Фадеев много размышлял о существе происшедших в литературе изменений, и том, что ее связывает с классической и что делает литературой социалистического реализма.

Нигилисты и «ниспровергатели» советской литературы отрицают самый метод социалистического реализма как якобы единолично «выдуманный» и навязанный советской литературе «сверху». Злобная и невежественная ложь, опровергаемая всем ходом литературного развития! Почитайте одну за другой статьи и речи Фадеева в их хронологической последовательности. На наших глазах формируются и уточняются его представления о творческом методе советского искусства, они пополняются новыми соображениями, становятся полнее и шире. Углубляя свои определения социалистического реализма, Фадеев не просто переходит от формулы к формуле, он стремится как можно точнее определить жизненные истоки нашей литературы и значение ее идейных позиций. Такой подход к проблеме единственно правилен. Иногда критики, характеризуя метод социалистического реализма, ограничиваются указанием на новый жизненный материал, забывая о позиции художника; тогда возникает подмена социалистического реализма как метода понятием «реализма социалистической эпохи». Есть и другая крайность — упор берется только на теоретическую сторону, и тогда художественный метод отождествляется с мировоззрением. Показательно, что уже в 1932 году в статье «О социалистическом реализме» Фадеев отстаивал определение, в которое и сегодня стоит вдуматься нашим критикам и писателям.

«Господствующим течением советской литературы, — писал Фадеев, — является социалистический реализм. Почему? Потому, что в марксистско-ленинском понимании подлинный художественный реализм есть такое творчество, которое наиболее близко

к исторической правде, в состоянии показать, в большей или меньшей степени, тенденцию развития действительности в ее борьбе с силами старого. Почему такой подлинный реализм в наши дни есть именно социалистический реализм? Потому, что наша страна есть страна победоносного социализма, потому, что современный художник, правдиво изображающий действительность в свете основной тенденции нашей эпохи, изображает эту действительность с позиций социализма».

Решительно и наступательно утверждал Фадеев основополагающие принципы советской литературы и в своих статьях теоретического характера, и в выступлениях перед различной аудиторией, и в повседневной практике. Страстность, с которой он вел полемику, характеризует Фадеева как стойкого и непримиримого бойца за идеи партии. Он всегда видел своего противника, называл его и вступал с ним в решительный бой. Сборник «За тридцать лет» рассказывает о борьбе советской литературы против декадентов и формалистов, националистов и космополитов, либерально-буржуазного литературоведения, всех форм эстетства и аполитичности.

В этой борьбе Фадеев неизменно обращался к ленинскому учению о партийности литературы и неутомимо пропагандировал его как живую душу нашего искусства. Современных защитников безыдейности он высмеивает с убийственной иронией, убедительнейшим образом он развенчивает примитивные уверения, будто партийность — что-то внешнее, привносное, ограничивающее художника, а не является его убеждениями, идейной позицией; его внутренней потребностью служить народу и партии, как это есть на самом деле.

В выступлениях Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» указано, что художнику, который живет интересами народа, «не нужно приносить себя, принуждать себя, правильное освещение жизни с позиций коммунистической партийности является потребностью его души; он прочно стоит на этих позициях, отстаивает и защищает их в своем творчестве». Слова партийного документа являются глубокоим выражением самой сущности художественного труда в наших условиях, обобщением всего развития советского искусства. И убедительное тому доказательство — свидетельства самих

художников. С широко известными словами М. Шолохова о том, что советские писатели пишут по указке сердца, а сердца их принадлежат народу и партии, переключаются многие высказывания А. Фадеева, опубликованные в сборнике «За тридцать лет». Писатель резко выступает против попыток отрицать необходимость партийного руководства искусством, он взволнованно говорит о единстве целей, которые преследуют и партия и литература. Все великое, правдивое, честное в нашей жизни порождено интересами народа, интересами партии, а раз так, то художник, отстаивающий правду, высокие идеалы свободы, не может не идти вместе с народом, с партией. Советские писатели свободны в своем творчестве, потому что они сверяют свою совесть с народной совестью и идут в первых рядах борцов за интересы народа.

Отвечая на вопросы корреспондента французского журнала «Эспри», Фадеев так сформулировал свои взгляды: «Почему же, как следует из вашего вопроса, некоторых людей в Западной Европе удивляет, что партия большевиков занимается вопросами искусства? Партия выражает в нашей стране самые глубокие и высшие интересы народа. Но именно к лучшему выражению интересов народа стремится и всякий советский писатель, начиная с великого Горького, родоначальника советской литературы, и кончая самым малым среди нас. У советской литературы общие цели с партией и народом. Сущим пустяком является представление, будто бы партия вмешивается в индивидуальное творчество и чуть ли не навязывает темы, образы, художественную форму. Нет, партия прежде всего раскрывает перед писателями широкие горизонты творчества, прививает советским писателям чувство ответственности и долга перед народом. Ибо только на этом пути может быть создано подлинно великое в искусстве. И только на этом пути художник может проявить самые лучшие стороны своей творческой индивидуальности. В то же время партия прямо и открыто говорит о тех явлениях в искусстве, которые могут увести людей творчества (особенно молодых представителей его) с великого пути. Так было в известных решениях партии о литературе, о музыке. «Самовлюбленные нарциссы» не есть «индивидуальности». Не они создали искусство, живущее в веках. Искусство создано могучими творческими индивидуальностями, умевшими подчинить

весь свой разум и волю единой цели творчества — интересам развития и прогресса. К этой великой цели и зовет советских писателей партия».

Малейшие отступления от политики партии встречали решительный отпор со стороны Фадеева, он призывал писателей быть бдительными к пронкам врагов, нетерпимыми к попыткам увести литературу в болото безыдейности и обывательщины. Преодолев мешавшие ему самому заблуждения «рапповского периода», Фадеев объявил жестокую войну вульгаризаторам и догматикам, искажающим принцип партийности литературы. Он требовал творческого усвоения марксизма-ленинизма, понимания духа этого великого учения, а не простого жонглирования цитатами, к чему так привыкли иные теоретики-догматики. «Идея социализма должна входить в произведение не как нечто внешнее, а являться самой сущностью произведения, воплощенной в образах».

Искусству социалистического реализма, считал Фадеев, противопоставлена всякая узость, оно широко и многообразно, как сама жизнь. Читатель книги «За тридцать лет» сможет проследить проходящую через многие статьи и выступления мысль о богатстве и творческом разнообразии советской литературы. В статьях «Социалистический реализм — основной метод советской литературы», «Задачи советской литературы», «Заметки о литературе», в отдельных высказываниях, выписках из записных книжек неоднократно подчеркивается, что социалистический реализм есть, помимо всего прочего, богатство художественных индивидуальностей. Фадеев не ограничивается общей декларацией, в своих суждениях он опирается на конкретные произведения искусства, сравнивая их, выявляя художественное своеобразие каждого. Благодаря предметности разговора он кажется особенно ясным и убедительным. В самом деле, что общего в области формы, например, между «Василием Теркиным» А. Твардовского, «Сыном» П. Антокольского, «Пулковским меридианом» В. Инбер, или — если взять прозу — между «Двумя капитанами» В. Каверина и романами В. Катаева «Белеет парус одинокий», «Сын полка»?

Реальный опыт реального искусства подтверждает не только необходимость развивать писательские индивидуальности, но и недопустимость канонизировать какие-нибудь формы. В последние годы своей жизни

ни А. Фадеев снова и снова выдвигал мысль, что социалистический реализм в поэзии вполне допускает и форму «романтическую» и даже «символическую» — лишь бы за этим стояла правда. Фадеев никогда не изменял своему убеждению о неправильности какими бы то ни было канонами и личными вкусами ограничивать возможности социалистического реализма. Этот творческий метод, считал он, «включает в себя эпос, лирику, драму, трагедию и комедию, сатиру и юмор, многотомный роман и очерк, поэму и эпиграмму, психологический роман и роман приключений, страстную революционную мечту и беспощадное «срывание всех и всяческих масок» с врага, мощный революционный пафос и трезвый анализ, борец страстей и веселый смех, величайшую жизненность и бесстрашный полет фантазии».

Последняя крупная работа А. Фадеева, «Заметки о литературе», при некоторой ее беглости и обзорности привлекает как раз широтой подхода к различным явлениям литературы, принципиальностью суждений по важнейшим литературным проблемам. В ней особо выделена мысль, что многообразие искусства — это отнюдь не «всеядность», что оно возможно лишь на основе единой идейно-художественной направленности нашего искусства.

Общий взгляд на литературу, анализ отдельных произведений всегда сочетались у Фадеева с особым интересом к некоторым важным вопросам социалистического реализма. Одни из них он развивал, исправляя допущенные в свое время ошибки и неточности, как это было с вопросом об овладении классическим наследием; до конца своих дней Фадеев пропагандировал опыт великих мастеров прошлого, призывал к неустанной учебе у этих мастеров. Другие проблемы, при правильной в целом постановке, не нашли, однако, исчерпывающего верного решения; так обстояло с вопросом о противоречиях между мировоззрением и творчеством художника, который Фадеев затем заменил малоаргументированными выводами о противоречиях в самом творчестве. Но, несомненно, больше всего думал автор книги «За тридцать лет» о месте романтики в социалистическом реализме и о положительном герое советской литературы.

«Если в одном слове,— говорил однажды Фадеев,— объединить все мои размышления и поиски на протяжении истекших...

лет, то они сведутся, в общем, к попыткам определить роль, значение и место романтизма в социалистическом реализме и в собственном творчестве».

Было время, когда Фадеев серьезно недооценивал романтическое начало в искусстве. Однако самый процесс развития советской литературы позволял ощутить растущую силу присущего ей жизнеутверждающего пафоса, открытость лучших ее образов. Эти черты властно вторглись и в произведения самого Фадеева. От статьи к статье, от выступления к выступлению Фадеев стал все глубже осмысливать вопрос о революционной романтике. Он пришел к убеждению, что социалистическому реализму органически присуща революционная романтика, взгляд в будущее, умение видеть вещи в их развитии, что у нас, может быть впервые в истории мировой литературы, реализм органически слит с романтикой. Но порой Фадеев чрезмерно увлекался привлекавшими его вопросами и впадал в крайности. Так случилось и на этот раз: в большой статье «Задачи литературной теории и критики» и в ряде других работ 1946—1950 годов романтика объективно отождествлялась с изображением положительных явлений жизни. Поэтому и функция реализма могла быть понята превратно — как изображение преимущественно отрицательных сторон действительности.

Эта постановка вопроса подверглась критике, и, к чести А. Фадеева, надо напомнить, что он отказался от неправильных формулировок. В развернутом авторском примечании к статье «О постановлениях Центрального Комитета партии по вопросам литературы и искусства», написанному специально для сборника «За тридцать лет», не только признается ошибочность старых формулировок, но и разъяснено истинное понимание Фадеевым проблемы романтики в искусстве социалистического реализма. «Под романтикой в литературе надо понимать художественное выражение или воплощение желаемого, должного, мечты художника. В тех случаях, когда желаемое и должное — мечта — не уводит от жизни, а вытекают из правдивого изображения самих явлений жизни, эта романтика выступает как необходимый и важнейший элемент всякого большого, подлинного, «крылатого» реализма».

И это определение тоже требует развития, уточнений, может вызвать споры, но

насколько оно глубже и точнее предыдущих высказываний Фадеева! Вообще же можно пожалеть, что после горячих и долгих споров вокруг проблемы романтики в многочисленных устных и печатных дискуссиях наши критики почти совсем перестали интересоваться этой проблемой. Это особенно досадно потому, что в последние годы у некоторых писателей появилось увлечение мелочами жизни, ее темными сторонами, поэтизацией быденщины, заурядности. Между тем революционная романтика расширяет творческие горизонты художника, требует масштабности образов, перспективности изображения. В одном из своих выступлений в 1952 году Фадеев заявил:

«...Главный недостаток наших романов в том, что они лишены настоящих, больших крыльев, способных поднять человека так, чтобы у него дух замер и, как Гоголь сказал, «стало видно на все стороны света».

Эти слова не имеют ничего общего с «теориями» некоторых критиков о «приподнятии» героев над жизнью. Фадеев звал к широким обобщениям, изображению ведущих конфликтов эпохи, типичных героев нашего времени. Постоянно возвращаясь к проблеме положительного героя, он ставил ее не абстрактно, не академически, но искал наивернейший подход к раскрытию характера творца и создателя новой жизни. Перед Фадеевым неизменно стояла самая главная цель — во весь рост, ярко и влюбленно нарисовать нового советского человека в величии и драматичности его дел и побуждений. Задача большая, трудная, требующая особого подхода к жизни и людям, особых красок. И, раздумывая над ней, Фадеев снова приходил к заключению о необходимости подчеркнутого внимания к новому, лучшему в советском человеке, о романтическом освещении его героической жизни и борьбы.

Взгляды Фадеева на эту проблему тоже углублялись и совершенствовались со временем. В упоминавшемся примечании к статье «О постановлениях Центрального Комитета партии по вопросам литературы и искусства» пересмотрены неточные формулировки насчет того, что классики якобы не видели положительного героя. Здесь четко определено новаторство Горького. «Великая историческая роль Горького, — пишет Фадеев, — состоит не только в том, что он увидел и изобразил нового героя истории, а и в том, что он увидел и изо-

бразил его глазами социалистического пролетариата. Это и сделало Горького родоначальником социалистического реализма». Творчество Горького — высокий и непревзойденный образец для всех советских писателей. Суметь правдиво и художественно показать советского человека с его прекрасными духовными качествами — это значит, считал Фадеев, разрешить девять десятых стоящей перед литературой задачи. Остро и современно звучит утверждение Фадеева, что жалок тот писатель, который не понимает советского человека, показывает серым, неинтересным, сухим истинного героя современности, совершившего величайшую революцию, построившего социалистическое государство, победившего в труднейшей войне с фашизмом и одерживающего все новые и новые победы.

В работах Фадеева содержится ответ и тем современным скептикам, которые считают, что яркое изображение нового человека есть его идеализация. Нет, если герой раскрыт в борьбе, в преодолении трудностей, то это есть только полное выявление его характера, характера советского человека. В таком «ключе» и написаны романы Фадеева.

В своих теоретических высказываниях писатель также стремится не обходить никаких сложностей и противоречий жизни, раскрывать главный конфликт эпохи — конфликт нового, социалистического со всеми проявлениями старого, отживающего. Но вот что особенно важно иметь в виду и чего никак не хотят понять сторонники «обличительного» направления в литературе: писатель должен понимать содержание и характер изображаемого конфликта, видеть силы, разрешающие его, быть хозяином конфликта. Не только теоретическое, но и прямое практическое значение для развития сегодняшней литературы имеет следующее замечание Фадеева:

«В изображении старого, то есть «зла», если говорить условно, имеются все же большие традиции, чем в изображении нового. Но пока писатель не владеет новым, то есть положительным, как может он разрешить этот конфликт в своем произведении? Он — раб конфликта. А нужно быть его хозяином, господином. Только тот, кто находится во всеоружии современного положительного начала и смотрит вперед, только тот может во всю силу показать и

величие, и напряжение, и трудности борьбы в конфликте эпохи».

О сказанном стоило бы всерьез задуматься литераторам, смотрящим на жизнь со стороны и не понимающим ее ведущих начал, главного для нашего искусства пафоса утверждения социалистической действительности. Есть о чем поразмыслить и тем писателям, которые всячески размазывают частные, узко личные, внутрисемейные недоразумения и отворачиваются от коренных конфликтов эпохи, связанных с общественной деятельностью, повседневным трудом советских людей. О правдивом изображении творческого труда советского человека Фадеев особенно много писал и говорил в послевоенные годы. Большой интерес представляет его выступление на Втором съезде писателей Украины в 1948 году, напечатанное под заголовком «Показать человека в его труде». Многие ошибки в нашей драматургии Фадеев объясняет прежде всего тем, что авторы не нашли новую природу конфликта и не показали своего героя в самом главном проявлении его сущности — в труде, в деянии. Вне труда нельзя верно изобразить советского человека; ибо природа новых конфликтов именно в новом отношении к труду, к деянию. Социалистический гуманизм отстраняет не абстрактную человеческую личность; но человека — труженика и борца. «...Наш социалистический гуманизм говорит о том, что для нас человек, который не проявляет себя в деянии, даже и не человек».

Теория была для Фадеева компасом в текущей творческой работе, руководством в оценке различных литературных явлений. Осмысливая общие задачи литературы, писатель проверял ими и собственное творчество. Нелегко и непросто было понять ошибки и недостатки первой редакции «Молодой гвардии», но Фадеев сумел это сделать. Характерно, что автор «Молодой гвардии» не только признал правильность критики, но и сумел проанализировать корни допущенных ошибок. Он увидел политические просчеты первой редакции, отступления от собственных эстетических принципов, в частности то, что большевики в романе не показаны в работе, они только декларируют хорошие мысли.

Столь же последовательным был Фадеев и в ряде других случаев. В сборнике опубликовано очень интересное письмо т. Дыбову об «Оттепели» И. Эрен-

бурга. Эта повесть, вызвав множество споров, не получила, однако, всесторонней критической оценки, а ее вторая часть вообще не разбиралась в печати. А поговорить здесь есть о чем; касаясь «Оттепели», Фадеев отчетливо выявляет и общий ее замысел и основные недостатки. Ему представляется правильной главная мысль повести — о необходимости всестороннего воспитания человека, воспитания социалистических чувств, без чего получаются «люди-полуфабрикаты» типа Журавлева, Пухова. Чем же объясняется неудовлетворенность многих читателей книгой? Тем, по мнению Фадеева, что автор при решении такого большого вопроса ограничивается комнатной жизнью своих героев, их личными переживаниями и обходит всю сферу их труда и общественной деятельности, не говорит о коллективных, общественных формах нашей жизни. «По взятой Эренбургом теме можно и должно было бы показать не только лучшие стороны, но и недостатки нашей общественной жизни. Однако нельзя изображать советскую жизнь таким образом, будто этих организаций и этой общественной жизни, от которой в наше время так много зависит личная жизнь и даже личное счастье советского человека, будто этой общественной жизни у нас вовсе не существует, а существует только жизнь семей и людей-одиночек в комнатах и квартирах, где они и решают все свои жизненные вопросы».

Этот пример — один из многих, показывающих неотделимость в работах Фадеева проблемности и конкретной критики. В таком сочетании — «секрет» их долготелетия, современного звучания большинства из того, что говорилось или писалось годы и десятилетия назад. Второй раздел сборника, где помещены высказывания об отдельных писателях и произведениях, не менее актуален, чем раздел по общим вопросам развития советской литературы, литературной теории и критики. Цикл статей о Горьком, доклад о Маяковском, переписка с Николаем Островским, с Андреем Упитом, отзывы о «Хождении по мукам» А. Толстого, «Севастополе» А. Малышкина, «Испанском дневнике» М. Кольцова и другие работы характеризуют удивительную широту и многообразие интересов Фадеева. Это проявилось и в той жаждности, с которой он следил за книжными новинками, в той отзывчивости, с которой брался писать «внутренние рецензии» на рукописи, и, наконец,

в переписке с множеством опытных и начинающих литераторов. Читатель сборника «За тридцать лет» найдет здесь отклики на такие произведения, как «Золотая карета» Л. Леонова, «Дни нашей жизни» В. Кетлинской, на стихи С. Наровчатова, Расула Гамзатова, Маро Маркарян и т. д. Под рубрикой «По страницам изданных и неизданных рукописей» объединены отзывы на многие ныне популярные книги, рекомендованные когда-то Фадеевым к печати. В их числе «С фронтовым приветом» В. Овечкина, «Спутники» В. Пановой, «Сыр-Дарья» Сабита Муканова, «Бессмертные» А. Югова, «Хирург» Н. Емельяновой, «Товарищ Анна» А. Коптяевой и многие-многие другие.

Говоря о широком круге литературных явлений, привлекавших внимание Фадеева, следует напомнить, что в поле его зрения была не одна только русская литература. Он ставил общие вопросы развития нашего многонационального искусства, пристально следил за творчеством художников братских республик, охотно высказывался в печати и устно о классиках, скажем, о Давиде Гурамишвили, о Коста Хетагурове, и о современных, совсем молодых поэтах, прозаиках, драматургах. Для Фадеева — общественного деятеля, борца за мир характерны и частично опубликованные в сборнике статьи и речи в защиту мировой культуры, о литературе ряда стран. Он выступает с вдохновенным словом о всемирном значении китайской литературы, о связях русской и итальянской литератур, о литературе Чехословакии, об единении славянских народов, о всечеловеческом значении культуры стран Востока, отвечает на вопросы иностранных писателей, рассказывает зарубежным друзьям о нашей литературной жизни.

Такое многообразие интересов, знаний, запросов — признак высокой внутренней культуры человека. Она проявилась и в том, как много читал Фадеев и как глубоко обдумывал прочитанное. В «Субъективных заметках» встречаются любопытнейшие записи о классиках русской литературы, о Стендале, Флобере, Золя и других зарубежных писателях. Их книги заново прочтены Фадеевым и служат поводом для содержательных, хотя нередко и спорных, размышлений о творческом методе данного писателя, его месте в истории литературы, его значении для современности. Читая заметки о Чехове или Тургеневе, понимаешь,

как правильно сделал автор, назвав их субъективными, — многое тут остается, как говорится, на его совести. И вместе с тем поражаешься глубине сделанных наблюдений и оригинальной трактовке темы. Так или иначе, но все, о чем пишет Фадеев, в определенной мере связано с основными проблемами творчества, которые он постоянно ставил и решал в своих работах. Обращение к классикам помогает ему конкретизировать еще один вопрос, тоже неизменно присутствующий в его высказываниях, — о совершенстве художественной формы, о здумчивой учебе у великих мастеров.

О чем бы ни говорил Фадеев, он требовал раскрытия любой темы художественно, специфическими средствами искусства. Овладение высоким мастерством, отличавшим классиков, всегда оставалось для него первостепенной целью; неумелая и небрежная работа, нежелание учиться получали самую резкую отповедь. Статьи о творческом опыте самого Фадеева рассказывают не только о его собственных художественных находках, но и о неукротимом стремлении осваивать драгоценную сокровищницу изобразительного искусства, полученную нами в наследство от прошлых времен. Благодаря этому работы Фадеева знаменуют верность традициям и подлинное новаторство, неразрывную связь этих понятий. В то же время статьи «Мой литературный опыт — начинающему автору», «Работа над романом «Молодая гвардия», «Литература и язык» и другие материалы четвертого, заключительного раздела сборника — школа зыскательного труда писателя над словом, образом, сюжетом его произведений, над совершенствованием художественной формы.

В литературно-критических работах Фадеева нет так часто мешающего нашим критикам разрыва между анализом содержания и формы, постановкой вопросов идейности и вопросов мастерства. Он измерял ценность произведения искусства его соответствием жизни, но соглашался с реализацией темы лишь в том случае, если раскрыта она художественно убедительно, в живых, полнокровных образах. Показательный для Фадеева подход к явлениям литературы отчетливо проявился, например, в статье «Идти прямо в жизнь — любить жизнь!»

«Перед нашей советской литературой сейчас стоят две самые важные и самые

большие задачи. Первая задача — не отстать от жизни, познать и понять наиболее характерные для нашей жизни явления и написать о них хорошие книги. И не только не остаться позади, но понять и художественно отобразить эти явления так, чтобы они помогли нашему дальнейшему развитию, нашему пути вперед. Вторая задача — учиться, повышать художественные и идейные качества своей работы».

Сказанное шесть лет назад звучит как живой завет нашей сегодняшней литературе. Так обстоит дело и в большинстве других случаев, и остается сожалеть, что рамки журнальной статьи не дают возможности сделать всесторонний обзор сборника.

Впрочем, это и не так просто — перед нами объемистый том, насчитывающий почти тысячу страниц. И — что очень приятно отметить в заключение — издан он с большим вкусом, любовно, хорошо оформлен и снабжен большим количеством оригинальных фотографий.

Плоды тридцатилетних раздумий крупного советского писателя о путях развития литературы, о писательском мастерстве, о формировании метода социалистического реализма, собранные в этом томе, представляют собой нержавеющее боевое оружие в идейной борьбе, которую ведет наша литература, совершенствуясь и продвигаясь вперед.





# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Марьямов.** Весна над Днепром.— **В. Рымашевский.** Возвращенное счастье.— **Б. Сарнов.** Для маленьких и больших — Доктор филологических наук **Ю. Оксман.** Новая книга о Достоевском.— **Игорь Поступальский.** Стихи **Ф. Тютчева** в болгарском переводе.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Е. Успенская.** Право на счастье.— **Р. Катанян.** Жизнь, отданная революции.— Кандидат исторических наук **А. Ионов.** Воспоминания старого большевика.— **М. Леснов.** Чехословакия на стройке.— **М. Цебенко.** Величайший мыслитель Франции.

## Литература и искусство

### Весна над Днепром

**К**иев весной.

Он написан тонкой и щедрой кистью, которая позволяет увидеть и прозрачный воздух над Днепром, и клейкую зелень первых весенних листьев, и дымку урюченного тумана над обрывами киевских парков.

Своеобразной краской ложится на этот пейзаж песня.

Впрочем, песни не только дополняют пейзаж. Они помогают нам также ощутить время. Мы слышим в этих песнях революционный порыв рабочей окраины, взлет раскрепощенного украинского слова, слышим и затаенную реставраторскую надежду монархической юнкерской казармы, и вздох пленного галичанина из-за колючей проволоки лагеря для австро-германских военнопленных, и пока еще несмело пропетый гимн украинских националистов... Встречающиеся в весеннем воздухе песни как бы датируют увиденную нами весну: апрель семнадцатого года — первый апрель после Февральской революции.

И в этот весенний день празднуют свою свадьбу молодой слесарь завода «Арсенал» Данила Брыль и дочь старого арсенальца Тося Колиберда. Но как же праздновать

свадьбу в пору весеннего ледолома, когда только что рушилась трехсотлетняя империя и самый воздух словно полнится предчувствием еще неясных, но близких и неизбежных революционных свершений? В церкви? Но церковь в сознании не только молодых, но и старых Брыля и Колиберды нераздельно сопрягается с монархией, которую только что смела первая волна революции. В маленьком окраинном дворе задумывается новый обряд: пусть благословит молодых на счастливую и долгую жизнь революционное знамя арсенальского большевистского заводского комитета...

Так начинается первая книга нового романа украинского писателя Юрия Смолича «Мир хижинам, война дворцам», только что опубликованная в четырех книгах журнала «Вітчизна».

Время действия этой книги — весна и лето 1917 года, канун Октября. Место действия — Киев, украинское село. Юго-Западный фронт первой мировой войны. Несколько страниц переносят читателя в Петроград июльских дней. Герои вводятся в ткань романа с необычайной щедростью, портреты их пишутся выразительно — то сочными мазками, позволяющими сочетать на полотне героинку и добрый народный юмор (так бывает, когда перед нами предстают старые потомственные арсенальцы с их семьями или дядько Оксентий Не-

**Юрий Смолич.** Мир хижинам, война дворцам. Роман. Книга первая: Мир хижинам. «Вітчизна» №№ 8, 9, 10, 11 за 1957 год.

чипорук из села Бородянки), то мягкой лирической пастелью (таковы образы юных героев книги), то лаконично и строго (большевики — недавние подпольщики: слесарь Андрей Иванов, портной Смирнов-Ласточкин, железнодорожник Василий Боженко, солдат Федор Королевич, Юрий Коцюбинский), то, наконец, резким, изобретательно острым карандашом сатирика-памфлетиста (в галерее откровенно издевательских карикатур, где проходят перед нами Керенский и Грушевский, Винниченко и Петлюра, анархические «вожди» и «деятели» Центральной рады, дипломаты Антанты и монархисты-белогвардейцы).

Юрий Смолич всегда умел искусно строить сюжет в своих книгах. Недаром еще лет тридцать тому назад, вступая в литературу, он колебался между неторопливой повествовательностью полуавтобиографического «Театра неизвестного актера» и острой сюжетностью приключенческо-фантастического «Хозяйства доктора Гальванеску». В широко известной трилогии, излагающей историю молодого человека, сформировавшегося в годы гражданской войны («Детство», «Восемнадцатилетние» и «Наши тайны»), оба качества прочно и благоприятно слились воедино. В романе «Рассвет над морем» к этому сплаву добавился третий элемент: та самая памфлетность, которая так щедро вошла и в ткань нового, только что опубликованного Смоlichem романа. Однако, пожалуй, впервые в этом романе обычный для Смолича прочно построенный сюжет так умело подчинен поставленной автором перед собой политической задаче. Здесь каждая деталь, каждый сюжетный поворот верно направлены к одной цели: они помогают показать сложную расстановку социальных сил и созревание в среде украинского пролетариата и бедняцкого крестьянства тех настроений, которые к Октябрю 1917 года привели авангард народа Украины под ленинское знамя партии большевиков.

Серьезная, вдумчивая работа над историческим материалом позволила Ю. Смоличу верно, дифференцированно показать обстановку, сложившуюся в это время в Киевском городском комитете большевистской партии, где такие закаленные ленинцы, как Иванов, Смирнов, Коцюбинский, Леонид Пятаков и другие, должны были противостоять фракционеру Юрию Пятакову, расхажившему с Лениным в ряде пунктов, выраженных в исторических

Апрельских тезисах, и, в частности, по национальному вопросу. Между тем национальный вопрос требовал от украинских коммунистов особой чуткости и ясного понимания перспективы в условиях, когда буржуазно-националистическое движение обещаниями национальной независимости и фальшивыми лозунгами внеклассового единения украинцев вербовало под желто-голубые знамена все политически незрелые элементы нации, чтобы заставить их служить интересам помещиков, фабрикантов и кулачества.

Владимир Ильич Ленин еще в 1916 году неоднократно предостерегал Ю. Пятакова от нигилизма в национальном вопросе. Лозунг самоопределения наций, разрушающий тюрьму народов, созданную русским царизмом, был одним из краеугольных камней, заложенных Лениным в фундамент социалистического государства.

Победа ленинской национальной политики, нарастание в недрах самого народа, в сознании рабочих, крестьян, возвращающихся с фронта солдат-украинцев той воли к подлинному национальному и социальному освобождению, которая обусловила провозглашение Украины советской социалистической республикой 24 декабря 1917 года, — вот тема романа Юрия Смолича.

Первая книга романа заканчивается такой сценой.

Июль семнадцатого года.

Группа солдат за призыв к прекращению войны арестована по приказу Керенского, доставлена в Киев и брошена в каземат Косого капонира киевской цитадели.

Здесь, в тюремной камере, солдат Демьян Нечипорук вступает в партию большевиков.

Находящийся в том же каземате арестованный прапорщик Крыленко берет слово на этом необычном партийном собрании:

— Товарища Демьяна Нечипорука рекомендую в партию большевиков тюрьма. Если товарищ решил идти в партию под тюремными сводами, то он, наверное, знает, куда он идет и зачем. Все!

И сам Демьян, выступая, завершает затем ту же мысль:

— Сегодня — я, а завтра еще кто-нибудь: всем нам, пока живы, путь один — в партию пролетариата и бедного крестьянина. Чтоб, значит, совершить революцию. Революция тут, правда, говорят, уже была — в феврале, когда мы воевали на фронте. Кто его знает, может и вправду была — красные флаги видели, слушали ораторов

в порядке прений... а революции... не приметили. Что до меня, так я полагаю — революцию еще надо делать. Прошу принять меня в партию большевиков, чтоб сделать революцию...

И о том, как Демьян и такие же, как он, сыны Украины будут делать «взаправдаш-

ную» революцию, Смолич намерен рассказать во второй книге своего романа.

Первая книга этого романа обещает читателю, что большая и серьезная задача может быть решена автором широко и крупно.

А. МАРЬЯМОВ.

★

## Возвращенное счастье

Случается так: человек идет искать свое счастье, а оно — рядом. И все же путь к нему никогда не бывает легким, проторенным. Особенно если тебе двадцать лет и ты только вступаешь в жизнь. Не сразу ведь отличишь правду от фальши, верного друга от лицемера, подлинное счастье, большое и радостное, от крохотного мещанского благополучия.

Об этом думаешь, читая повесть В. Логинова «Дашка из Садовниц». Два года назад в журнале «Нева» было напечатано его первое произведение — «Начало пути», получившее положительную оценку на Третьем Всесоюзном совещании молодых писателей. Чувствовалось, что автору свойственна живая непосредственность изображения, что он ищет яркие характеры, острые жизненные конфликты. Запомнился Алексей Блинчиков — юный журналист, комсомолец, мужающий в единоборстве с формалистом и рутинером Косовым. Запомнился и вывод, завершающий «Начало пути»: Блинчикову еще не раз придется столкнуться с Косовым, потому что новое, передовое не может победить вне борьбы со старым, косным, отвергаемым действительностью.

И вот писатель продолжает разговор. Правда, Дарья Савченко, или просто Дашка из Садовниц, как зовут ее в колхозе, — боевая, задиристая, — вовсе не похожа на скромного, застенчивого Блинчикова. Но это лишь внешнее различие.

Чем дальше знакомишься с судьбой героини повести В. Логинова, тем больше убеждаешься, что в характере Дарьи автору дороги прежде всего качества, которыми он наделил ранее Алексея Блинчикова, — страстная, подчас даже излишне резкая прямота в каждом поступке и жгучая неприязнь ко всему пошлому, нечестному.

В. Логинов. Дашка из Садовниц. Повесть. «Нева» № 5 за 1957 год.

Нет, не зря обладает Савченко грубоватой смелостью и постоянным стремлением к справедливости. Не будь этого, Дарья, вероятно, удовольствовалась бы «счастьем, сладким, как патока», что поселилось после замужества «на окраине города в маленьком домике с голубыми ставнями, с палисадником и увядающими цветами в нем». Мечтает же о таком счастье ее подруга Таисья!

У Дарьи Савченко все складывается иначе — сложнее, противоречивее; так, собственно, и происходит в жизни, когда человек не лишен горячего, деятельного чувства, помогающего ему обрести свое призвание.

Почему же, однако, Дашка, а не Дарья? Автор, несомненно, симпатизирует Савченко не менее, чем Блинчикову, но он в то же время и строго порицает ее. Поначалу «стремление к справедливости» оборачивается у Савченко бездумным озорством, своевольничаньем. Не понравилось району «начальство» — нагрубил; встретились трудности в колхозе — уехала в город.

Пройдут три долгих года, пока Дарья поймет, что была неправа, думая о себе одной, что самое близкое для нее на свете — колхозная семья, что трудиться по влечению сердца и есть заветное счастье. Поймет и чутко воспримет слова Зубцова: «Иногда мы свои ошибки принимаем за неправду по отношению к нам. Сами ошибаемся, сами виноваты, а виним других в своих бедах... Хотим видеть правду в каком-то чистом виде, как золото, скажем, а если она заплевана разными негодьями, мы уже кричим: «Нет правды, нет справедливости!» Иногда правду сначала надо отмыть, засучив рукава, чтобы потом наслаждаться ею!»

А Зубцов имел право говорить так. За плечами у него суровая жизнь: война, плен, трудная партизанская жизнь, личная трагедия. Но он не утратил главного — ве-

ры в человека, в ясную коммунистическую правду, за которую надо драться, «засучив рукава». И не в одиночку, а вместе со всем народом, — чувствуя рядом плечо товарища.

Дашка из Садовниц и та Дарья Савченко, что вернулась обратно в колхоз и села, растерянная, на чемодан «посредине усыпанного свежими соломинками двора» (как-то встретят односельчане, простят ли ее проступок?), — разные люди. Дарья выросла духовно, сделав неизбежный выбор между счастьем и счастьем.

Могло ли быть по-другому? Конечно. Но не с Дарьей. Подобно Алексею Блинчикову, Савченко отличается цельностью характера; она может искренне заблуждаться, но не способна кривить душой, обманывать себя. Как глубоко возмущает ее поведение Таисьи, которая «любовничает» с женатым мужчиной. Разве это не так же страшно, как воровать на улице? — думает, негодуя, Дарья.

Новая повесть В. Логинова написана намного лучше, чем «Начало пути». Авторский почерк стал своеобразнее, выразительнее; не только основные герои, но и третьестепенные персонажи, вроде «непутевого внука» бабки Васены, выписаны четко, рельефно.

Будто зная не зная старую Васену Карповну этот близкий родственник — писать забыл, не то что наведаться или помочь чем-нибудь. А умерла — тотчас пожаловал: за наследством. Ему не отведено и десятка строк, но тип благовоспитанного корыстолюбца схвачен метко: «На другое же утро приехал из Ростова ее внук, тщательно выбритый, холеный мужчина с университетским значком на лацкане модного пиджака.

— Вы кто, квартирантка? — мельком взглянув на покойницу, строго спросил он

Дашку. — Сегодня же освободите помещение: я продаю дом».

В повести «Начало пути» В. Логинов допустил явный — художественный и жизненный — просчет, оставив Алексея Блинчикова в одиночестве и, наоборот, окружив Косова множеством личностей под стать ему.

В новой повести Таисье, Баринину, неблагодарному «внуку» противостоит не столько сама Дарья, сколько те, чью поддержку ощущает в трудную минуту заплутавшаяся Савченко, — Зубцов, Люба, председатель колхоза Яков Лукич Кочетков, «не по годам серьезный хлопчик» Иван Палыч. Они живут на страницах произведения каждый по-своему, но все вместе как бы озаряют его поэзией труда, радостью коллективного созидания.

Рассказ о настоящем постоянно переплетается в повести с рассказом о прошлом. Все время создается контраст между сегодняшней жизнью Дашки и тем, что произошло раньше, — контраст не грубый, не навязчивый, а, напротив, очень мягкий и убеждающий. Такое построенное повести — не композиционный трюк. Оно вызвано характером и биографией главной героини. Дело в том, что все Дашкино нынешнее жестко зависит от ее прошлого. Оно для Дашки своеобразное оружие и способ проверки себя в сегодняшней жизни, в сегодняшней борьбе, «Прошлое было неотделимо от сегодняшнего дня. Дашка еще и еще раз возвращалась к нему, повторяя пройденное и проверяя себя».

Повесть Логинова не щадит того, кто, завидев препятствия на пути к общей цели, норовит свернуть на гладкую окольную тропку, заботясь лишь о собственном преуспеянии.

**В. РЫМАШЕВСКИЙ.**

★

## Для маленьких и больших

Борис Заходер не так давно выпустил две книжки: «На задней парте» (Детгиз, 1955 год) и «Мартышкино завтра» (Детгиз, 1956 год). На обороте каждой из них написано: «Для младшего школьного возраста». А в журнале «Юность» № 1 за этот год мы прочли цикл его стихов — «В зоо-

парке». Журнал не без оснований предлагает эти стихи вниманию своих уже довольно взрослых читателей. А между тем они как будто ничуть не «взрослее» тех стихов Заходера, которые выходили в Детгизе, или тех, которые в прошлом году печатались в той же «Юности» под рубрикой «Для младших братьев и сестер».

Вот одно из этих маленьких стихотворений — «Почему Еж колючий»:

**Б. Заходер. В зоопарке. «Юность» № 1 са 1957 год.**

— Что ж ты, Еж, такой колочий?  
 — Это я на всякий случай!  
 Знаешь, кто мои соседи?  
 Лисы, Волки да Медведи!

Или вот стихотворение «Буква «Я». Впервые оно увидело свет тоже совсем не в детском издании.

Это стихотворение рассказывает о том, как однажды в азбуке взбунтовалась буква «Я». Она потребовала, чтобы ее всюду и везде ставили первой. Буквы исполошились. Каждая реагирует на эту наглую выходку сообразно своему характеру. Слабохарактерный Мягкий знак требует, чтобы к взбунтовавшейся букве был «подход особый». Твердый знак, наоборот, проявляет необходимую твердость и т. п. В конце концов буквы порешили удовлетворить просьбу буквы «Я», если она сумеет «в одиночку написать хотя бы строчку». Разумеется, из этой затеи ничего не выходит, и глупая самонадеянность зазнавшейся буквы посрамлена:

Как зальется буква «Х»:  
 — Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!  
 «О»  
 От смеху покатилося.  
 «А»  
 За голову схватилося.  
 «Б»  
 Схватилося за живот...  
 Буква «Я»  
 Сперва крепилася,  
 А потом как заревет...

Б. Заходер любит подновлять, оживлять потускневший смысл стершихся слов и оборотов. Вот он разрушает метафору, реализует ее, придавая ей прямой, буквальный смысл:

«О»  
 От смеху  
 Покатилося...

Так и видишь, как круглое «О» покатилося, словно обруч.

Это один из самых излюбленных приемов поэта.

Вот, например, стихотворение о мальчике, который на уроке дремлет, а во время большой перемены, что называется, «ходит на голове». Неужели это он? — удивленно спрашивает автор.

Если он, то, несомненно,  
 С ним бо-ольшая перемена!..

Слову «перемена», знакомому каждому школьнику в значении «перерыв между уроками», вдруг возвращен его первоначальный прямой смысл.

Или вот веселая шуточная сказка про мартышку, которая собиралась строить дом, пригласила всех зверей на новоселье, а дом так и не построила («Мартышкино завтра»). Пришлось гостям уйти несолоно хлебавши:

Прозвучал сердитый  
 Голос Бегемота:  
 — По домам, ребята!  
 Ну ее в болото!

Обычное разговорное «Ну ее в болото» звучит здесь неожиданно юмористически. В устах бегемота это пожелание тоже приобретает значение едва ли не буквальное.

Стихотворение «Птичья школа». В лесу обучают маленьких птенцов:

Сидит смиреннее голубей  
 На ветках молодежь.  
 Учитель — Старый Воробей,  
 Его не проведешь!

Или:

Но тут звонок раздался.  
 — Попрыгайте пока.  
 А кто проголодался —  
 Заморит червячка.

Привычные идиоматические обороты и выражения — «старый воробей», «заморить червячка» — звучат здесь совершенно неожиданно, потому что учитель, о котором идет речь, это действительно взъерошенный и сердитый старый воробей — вот он нарисован на картинке, а «заморить червячка» значит здесь не просто «закусить перед сытным обедом», но закусить именно червяком: разве может быть более естественная и обычная закуска для птичьего клюва?

Какова природа наслаждения, которое испытывает маленький читатель, ощущая вдруг условность того или иного словопотребления, постигая ускользающий обычно от него первоначальный, буквальный смысл примелькавшихся оборотов и словосочетаний?

Ребенок, или подросток, или даже взрослый человек, вполне хорошо владеющий родным языком, но владеющий им безотчетно, неосознанно, испытывает наслаждение от игры, заставляющей его на мгновение ощутить это безотчетное чувство языка как знание. Эту радость читателя очень точно объясняет фраза К. Чуковского, сказанная им по другому поводу. «За каждым «не так», — говорит он, — ребенок живо ощущает «так».

Горький писал в известной своей статье «Человек, уши которого заткнуты ватой»: «Ребенок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически закономерно. Он хочет играть, он играет всем и познает окружающий его мир прежде всего и легче всего в игре, игрой. Он играет и словом и в слове. Именно на игре словом ребенок учится тонкостям родного языка, усваивает музыку его и то, что филологи называют «духом языка».

Есть у Б. Заходера одно маленькое стихотворение, словно нарочно созданное для удовлетворения органического стремления маленького читателя, говоря словами Горького, «на игре словом учиться тонкостям родного языка». Это — стихотворение «Про сома», про то, как «все приходится сому с детства делать самому»:

Сам  
Еду  
Себе найди,  
Сам  
В беду  
Не попади...  
Не пожалуешься маме!  
Сам  
Справляйся —  
Сам  
С усами!  
. . . . .  
Но зато уж  
Взрослый сом  
Не ударит в грязь лицом.  
Он лежит себе  
На дне  
Самостоятельный  
Вполне!

Игра здесь построена не только на разрушении идиоматических оборотов — «Сам с усами» и «Не ударить в грязь лицом». Она основана и на том, что разница в произнесении слов «сом» и «сам» скрадывается, если на них не падает ударение. Именно на этом и основан весь юмор эпитета «самостоятельный» в применении к сому: он может восприниматься, как «сомостоятельный».

Стихотворение «Про сома», помимо всего прочего, представляет собой очень точное описание. Так и видишь крошечного «соменка», который — «сам с усами» — ускользает от прозорливой щуки, видишь огромного ленивого сома, важно разлегшегося на илистом дне.

Это очень точная характеристика, сделанная под несколько неожиданным углом зрения. Таких точных и остроумных миниатюр у Б. Заходера немало.

Но есть среди его стихов и другие, в которых за характеристикой того или иного животного встает совершенно определенный сатирический образ.

Вот, например, «Уж»:

— Я,  
Конечно,  
Пресмыкаюсь,  
Но несколько в том не каюсь —  
Ибо тот, кто пресмыкается,  
Никогда  
Не спотыкается...

Или, например, «Попугай»:

— Если сможешь,  
Угадай,  
Что нам скажет Попугай?  
— То и скажет,  
Полагаю,  
Что вдолбили  
Попугаю!..

Конечно, сатирическая направленность этого коротенького стихотворения понятна только взрослому читателю. Но и детям, думается, не противопоказаны такие стихи. В них прежде всего содержатся очень точные характеристики. «Герой» стихотворения берется не как условный образ, не как аллегория, а как вполне реальное существо в его, так сказать, основной функции: уж пресмыкается, попугай повторяет то, что ему вдолбили, и т. п. Эти стихи, по сути дела, не имеют ничего общего с басней. Басня — это, как правило, чистая аллегория. Что касается этих коротеньких стихотворений, то они на грани точного, конкретного, локального образа и аллегории. Б. Заходер никогда не переходит эту грань.

Некоторые из новых стихов Б. Заходера о зверях — эти маленькие, живые, острые сатирические зарисовки — печатались в «Юности», некоторые — в «Мурзилке» (цикл «Звери разных стран», № 6 за 1957 год). Большинство передавалось по радио. Хочется как можно скорее увидеть их изданными отдельной книгой. Думается, что это будет по-настоящему хорошая книга, способная доставить удовольствие самым разным читателям — маленьким и большим.

**Б. САРНОВ.**

## Новая книга о Достоевском

«За и против» — это, как известно, название одной из частей «Братьев Карамазовых», последнего романа Достоевского, романа, задуманного как литературное и политическое завещание писателя, как самое широкое образное обобщение его мыслей о родной стране, о ее людях и о том «новом слове», которое ими (и только ими) будет сказано всему миру. В своей книге Достоевский рассчитывал также дать открытый бой отвергаемым им принципам революционно-материалистической идеологии, носителем которых был некогда и он сам как член кружка Петрашевского, как революционер-подпольщик и как политкаторжанин конца сороковых и начала пятидесятых годов.

Широко задуманная эпопея не была, однако, доведена до конца — и не только потому, что окончанию романа помешала смерть Достоевского. Крушение начального замысла «Братьев Карамазовых» ясно обозначилось уже в тех частях романа, которые вышли в свет. Голос старца Зосимы, рупора авторских реакционных идей, в живом и действенном повествовании оказался заглушенным более сильными голосами других персонажей романа. «Вместо утверждения, — как показывает в своей новой книге В. Шкловский, — произошел спор... — и голоса бунтарей убедительнее голосов защитников... В споре с богом выигрывает обвинитель — Иван (Карамазов. — Ю. О.)... То, что сказано против, отрицание — в романе сильнее религиозных утверждений романа. Черт и Иван говорят убедительнее. То, что говорит Достоевский «против», сильнее того, что сказано «за».

В. Шкловский не «уничтожает» и не «возвеличивает» Достоевского — он исследует и показывает со всей свободой большого разговора о больших вещах круг интересов великого писателя, своеобразие внутренней и внешней структуры его романов, их генезис, специфику и масштабы новаторства, когда Достоевским разрушались одни приемы письма и создавались другие.

С подлинным художественным мастерством, лаконично и без нажимов, но эмоционально убедительно дает Шкловский и

черты живого образа Достоевского, его движения и роста.

В книге семь глав, не считая введения и эпилога. Одни из этих глав более касаются идеологической и литературно-биографической стороны творчества («О «Бедных людях», «Через Цепной мост», «За и против»), другие носят теоретико-литературный характер («Новое художественное единство»), третьи сочетают в себе элементы и первого и второго ряда, но с большим интересом к фактам творческой истории, к проблемам жанра и языка («Двойники и о «Двойнике», «Записки из подполья», «Преступление и наказание»).

Особенно свежи и выразительны главы о «Бедных людях», «Двойнике», «Записках из Мертвого дома», «Преступлении и наказании». Так, например, исследуя образную систему и язык «Бедных людей», Шкловский впервые в литературе о Достоевском убедительно расшифровывает все сложные взаимоотношения героев его первой повести, нарочито затемненные автоцензурой, без которой «Бедные люди» не могли бы увидеть свет в условиях сороковых годов.

В «Бедных людях», в этом первом русском социальном романе, персонажи, как устанавливает Шкловский, «не говорят, а проговариваются. Доброселова, нехотя и сама не понимая до конца, говорит о том, как мать Покровского была продана Анной Федоровной помещику Быкову; брак с Покровским был фиктивный... Через рассказ о Покровском становится яснее фигура Быкова. Быков — это судьба Вареньки. Он висит над бедными людьми и делает с ними что хочет. Намеком дано, что двоюродная сестра Вареньки, Саша, тоже как-то досталась Быкову... Схематичность истории преодолена тем, что она дана в пересказе человека (самой Вареньки. — Ю. О.), неясно представляющего истинные взаимоотношения окружающих людей».

Не менее значимо и новое понимание «Двойника»: «Достоевский не хочет перedelывать мир Голядкина. Он этот мир хочет уничтожить. Гоголевская интонация, которую сохраняет и усиливает Достоевский, существует для показа трагической бессмысленности. Голядкин затерт. Торжествующие враги посылают его в сумасшедший дом, в котором ему будет не о чем бредить».

Виктор Шкловский. За и против. Заметки о Достоевском. Редактор Е. В. Старинова. 258 стр. «Советский писатель». М. 1957.

Анализируя формы сказа и композиции «Записок из Мертвого дома», В. Шкловский показывает, как Достоевский устанавливает новые линии отношений между страшным предметом повествования и подчеркнута спокойным способом расказа о нем. С начала и до конца в «Записках из Мертвого дома» речь идет об уже раздавленном человеке, Благополучие развязки — мнимое благополучие. Героя освобождают из тюрьмы, но раскован и выходит на волю не полноценный человек, а мертвец.

По-новому освещена в книге и тема Петербурга в творчестве Достоевского, тема капиталистического города, города волюющих социальных контрастов, города «угнетения и неравенства». Вписывая в свою записную книжку стих Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье», Достоевский признается: «Виноват, не люблю его». В «Подростке» он писал: «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город». В тончайшем идейно-тематическом разборе романа «Преступление и наказание» Шкловский уделяет много места анализу городских «маршрутов» Раскольниковца, не привлекавших до сих пор внимания исследователей. Между тем в рукописной редакции романа в исповеди Раскольникова были следующие строки: «Я пошел потом по Сенатской площади... Грустное и тяжелое место. Отчего на всем свете я никогда ничего не находил тоскливее и тяжелее вида этой огромной площади?» Как замечает Шкловский, «ощущение Раскольникова, вероятно, связано с тем, что Сенатская площадь — место, где были разбиты декабристы. В окончательном тексте Достоевский заменил маршрут Раскольникова. Он говорит, что Раскольников ходил из университета домой всегда через Николаевский мост. Этот маршрут невероятен для каждого человека, который знает Петербург... Понадобился он (этот маршрут. — Ю. О.) для того, чтобы затуманить то обобщенье, стоящее за образом города-врага».

Интересно, хотя и без надлежащей мобилизации всего относящегося к этой проблеме идейно-тематического материала, ставится в книге Шкловского и вопрос о влиянии Достоевского на писателей-демократов шестидесятых годов. Так, например, нам представляются весьма убедительными

соображения исследователя о том, что сюжетное строение «Очерков бурсы» Помяловского, часть которых печаталась в журнале братьев Достоевских «Время», сложилось под воздействием только что появившихся тогда «Записок из Мертвого дома» — те же методы циклизации, тот же свод новелл с разными героями, причем герой, появившийся в начале, потом становится только проходным.

Книга В. Шкловского вводит в наш литературный оборот много новых, живых и плодотворных мыслей о мастерстве Достоевского, о его традициях, исканиях и достижениях. Было бы, однако, большой ошибкой рассматривать эту книгу как монографию, претендующую на охват всего литературного наследия писателя, всех этапов его творческого пути. Книга не случайно имеет подзаголовок «Заметки о Достоевском», формально снимающий с ее автора ответственность за неполноту материала.

Самый жанр «Заметок» как будто бы позволял их автору не мотивировать включение в круг своих наблюдений одних произведений и исключение других. И все же читателю трудно примириться с тем, что в новой работе о Достоевском почти ничего не говорится ни об «Униженных и оскорбленных», ни о «Бесах», ни об «Идиоте». Отказавшись от рассмотрения этих романов, исследователь потерял, разумеется, право и на установление тех или иных закономерностей всей литературной эволюции Достоевского.

В сравнении с этим органическим, так сказать, дефектом книги все прочие ее недочеты менее значительны. Отметим, однако, что характеристика общественно-политических позиций петрашевцев и их тактики как революционеров, «веривших в поддержку народа», явно ошибочна и никак не вытекает из указываемых В. Шкловским материалов книги О. Миллера о Достоевском.

Более широкой аргументации требует и предлагаемое исследователем толкование полемики Достоевского с Л. Толстым по поводу «Анны Карениной»: «Достоевский понимает неустроенность мира Толстого, но хочет думать, что это неустроенность интеллигента, барина. Ему кажется, что он не согласен с Толстым именно потому, что тот барин, а он был не согласен потому, что Толстой выражал крестьянскую сущность тогда надвигающейся революции».



В книге В. Шкловского много ценных наблюдений и гипотез, много острых дискуссионных страниц. Но исследователь борется за свое понимание Достоевского, опираясь на большой фактический материал, невзирая на лица и не замалчивая достижений своих предшественников. В деле изучения Достоевского у нас было немало неудач, немало прорывов. Но нельзя забывать, что именно советские исследователи создали прочную базу для изучения Достоевского (первое критическое издание его сочинений, первое полное собрание его писем, летопись его жиз-

ни, научное описание его рукописей), что в трудах Л. Гроссмана, А. Долиннина, В. Комаровича, В. Виноградова, М. Бахтина, В. Ермилова, С. Боршевского и других творчество Достоевского получило в основном правильное и широко документированное историко-литературное осмысление и что вся без исключения зарубежная литература о нем (количественные показатели ее очень велики) не может идти ни в какое сравнение с тем, что уже сделано и делается советскими литературоведами.

*Доктор филологических наук*  
Ю. ОКСМАН.

★

### Стихи Ф. Тютчева в болгарском переводе

Поэзия Ф. Тютчева — достояние не только русской, даже не только общеславянской поэзии, но и поэзии мировой. Медленно, но неуклонно растет количество переводов его стихов на самые различные языки. Это тем показательнее, что лирика Ф. Тютчева, одного из самых сосредоточенных и художественно-утонченных русских поэтов, нелегко поддается переложению.

Болгарский перевод тютчевской лирики достоин самого пристального внимания.

Конечно, не без опасений любой искушенный читатель (все равно, болгарский или русский) раскроет эту небольшую, изящно изданную книжку. Ведь еще Фет подчеркивал весомость поэзии Тютчева:

...муза, правду соблюдая,  
Глядит, а на весах у ней  
Вот эта книжка небольшая  
Томов премногих тяжелей.

Но опасения, с которыми начинаешь чтение переводов Йордана Ковачева, рассеиваются после ознакомления с несколькими первыми страницами книги.

С бесспорным пониманием мира переводимого поэта, с правильным представлением о формальных свойствах тютчевского стиха, упорно преодолевая те специфические трудности, которые создает не столько расхождение болгарского языка с русским,

сколько близость их друг к другу, наконец, с немалым поэтическим талантом решил свою сложную задачу болгарский поэт-переводчик.

Раскроем «Избранные стихотворения» наудачу. Вот одна из первых страниц в книге Йордана Ковачева — знакомое всем нам с детских лет тютчевское стихотворение «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая»). Можно сразу же установить, что в двух-трех случаях поэт-переводчик допустил несколько смелых (для педанта спорных) перестановок строк. Но тон всего поэтического переложения поразительно верен, подлинная художественность, смысловая точность тут несомненны.

Уже одно это стихотворение внушает доверие к переводческому искусству Йордана Ковачева — доверие, которое по мере чтения книги только возрастает.

Это не значит, разумеется, что детальный анализ труда Йордана Ковачева не обнаружит его отдельных неудач. Так, иногда при переводе происходит некоторое обеднение тютчевского текста. Например, при передаче лирической миниатюры «Песок сыпучий по колени» Йордан Ковачев не сумел сохранить чудесного места —

Ночь хмурая, как зверь стокий  
Глядит из каждого куста!—

и у него получилось всего-навсего:

...и дебне като звяр ноцта!

Вмещенное Ф. Тютчевым в одну строку афористическое утверждение «мысль изреченная есть ложь» превратилось под

Ф. И. Тютчев. Избрани стихотворения. Преведе от руски Йордан Ковачев. 146 стр. «Народна култура». София. 1956 (Ф. И. Тютчев. Избранные стихотворения. Перевод с русского Йордана Ковачева. 146 стр. «Народная култура». София. 1956).

пером Йордана Ковачева в часть двустрочной в опросительной фразы:

Ще схване ли с какво си жив,  
щом всяка реч е звук лъжлив?

Оскудел в передаче Йордана Ковачева стих «о смертной мысли водомет». Конечно, «о водоскок на мисълта...» — это еще не вся тютчевская мысль. Пропали у Йордана Ковачева и многозначительные «демоны глухонемые», вместо них появились просто нехитрые «демоны прикрити». Однако наряду с несколькими подобными промахами многие чеканные изречения и проникновенные образы Ф. Тютчева воссозданы Йорданом Ковачевым превосходно.

Пожалуй, недочеты переводческого мастерства Йордана Ковачева скорее всего формальные. Болгарский стих у него, порой без особых оснований, отказывается следовать законам соприродного русского стиха — и тогда, допустим, вместо присущих подлиннику женских рифм возникают рифмы дактилические. Изредка появляются и созвучия типа «залезе—чезне», «бръз—чъст», «вечер—вече», «смърт—редът» — со всем, конечно, не тютчевские.

Однако и в области передачи тютчевской формы (в самом широком смысле слова) Йордан Ковачев гораздо чаще успешно справляется со своим нелегким делом.

Валерий Брюсов давно подметил, что Тютчев «...с величайшей заботливостью применял к своей поэзии все те вторичные средства изобразительности, которые были хорошо знакомы поэтам античным, но которыми пренебрегают многие из выдающихся современных поэтов». Действительно, повышенное внимание к звуковой стороне стиха крайне характерно для лучших стихотворений Ф. Тютчева. Одним из шедевров поэта в этом отношении является, несомненно, «Осенней поздней порою», стихотворение, в котором пластически ясная образность сочетается с тончайшей музыкальностью. Вспомним это произведение полностью и особенно прислушаемся к выделенным строкам:

Осенней поздней порою  
Люблю я царскосельский сад,  
Когда он тихой полумглою  
Как бы дремотою объят.  
И белокрылые виденья  
На тусклом озера стекле  
В какой-то неге онемения  
Коснеют в этой полумгле...  
И на порфирные ступени  
Екатерининских дворцов  
Ложатся сумрачные тени  
Октябрьских ранних вечеров.  
И сад желтеет, как дуброва,  
И при звездах из тьмы ночной,  
Как отблеск славного былого,  
Выходит купол золотой.

Нелегко, конечно, переводить обработанные в такой мере лирические произведения, если стремиться к подлинной адекватности, а не к приблизительному воспроизведению. Но Йордан Ковачев не отступил перед трудностью. Допустив некоторые отклонения от принципа — все переводить «стих в стих» (правило, которое не всегда практически осуществимо и вообще не бесспорно), Йордан Ковачев тонко передал не только смысловые и образные стороны подлинника, но и свойственную ему музыкальную обработку.

Высокохудожественных переводов много в книге Йордана Ковачева, и нет никакой необходимости перечислять их поочередно.

Труд Йордана Ковачева — крупный успех болгарской переводной поэзии.

Досадно, что Йордан Ковачев перевел не все лучшие тютчевские стихотворения (хотя нашлось место для нескольких средних вещей поэта). Нет, скажем, такого характерного для Тютчева стихотворения, как «Цицерон» («Оратор римский говорил...») с его знаменитыми строками:

Счастлив, кто посетил сей мир  
в его минуты роковые...

Книгу переводов Йордана Ковачева предваряет переведенная с русского статья К. Пигарева. Думается, что эта статья — одна из лучших среди современных работ о Тютчеве.

**Игорь ПОСТУПАЛЬСКИЙ.**

## Политика и наука

### Право на счастье

Впервые я задумалась над тем, что такое наша Конституция, когда повздорила с дочкой. Она пришла из школы и, рассказывая о школьных новостях, с какой-то снижительно-удивленной интонацией упомянула о том, что сегодня был первый урок по Конституции.

— Ну и как? — спросила я.

— Не понимаю, что тут учить: «право на труд», «право на отдых» — все же это давно знают.

Мое удивление разбилось о ясный голубой взгляд. И, может быть, только в эту минуту я поняла, что девочка действительно не понимает, что же тут учить. Ведь каждый наш закон — это воздух, которым она дышит, солнце, которое встает для нее по утрам, ее жизнь, привычная, понятная, непоколебимая, и ни разу за всю эту свою коротенькую жизнь она не допустила даже мысли, что на свете что-нибудь может быть иначе. Конечно, ей рассказывали, что там, в капиталистических странах, все иначе, но вряд ли она когда-нибудь конкретно, хоть на минуту, могла себе это представить.

И тогда я вспомнила один уже свой собственный разговор. Это было во время войны. Старик, попыхивая черной, как уголек, трубочкой, сказал мне:

— Вы, молодые, как росли? Под солнушком...

Я, помню, тогда оборвала разговор и, признаться, даже немного обиделась на этого старика. Это было в годы войны, в теплушке, я ехала в командировку, усталая, невыспавшаяся, с весьма скромным запасом дорожного продовольствия. А в Москве у меня оставалось двое детей, тогда еще очень маленьких, но они знали и бомбежки, и недоедание, и болезни. Я помню: тогда старик показался мне несправедливым. В моей жизни было много трудного, и работать приходилось очень много, и пережить много утрат, а он говорит: «под солнушком». Кроме того, я немного обиделась тогда на старика еще и за то, что он назвал меня молодой (в ту пору я еще обиделась на это). Но прошло немало лет, по-

ка я поняла, что действительно была молодой и не понимала, что даже в страшных условиях войны я не испытала самого страшного человеческого горя: чувства одиночества. Да, мне было трудно. Но мне было трудно вместе со всеми, так же, как всем, — общим большим горем. И я поняла, что все время в самые трудные годы войны я знала, я была убеждена, что большие, усталые, заботливые руки моего народа помогут мне, что моих детей увезут из-под бомбежки, что для них сберегут каждый кусочек масла, каждое яблоко, что целый народ думает об их жизни и здоровье, что целый народ защищает их и мое счастье.

Вероятно, вот так, только когда из поколения в поколение мы говорим о таких вещах, я — с дочкой, а старик — со мной, мы можем по-настоящему глубоко понять, что же такое страна, в которой мы живем.

«Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники... являются... всенародным достоянием».

Эти слова, простые и мудрые, как стихи, нашему поколению — ровесникам Октября — нужно прочесть много раз, для того чтобы по-настоящему понять, что же они значат. И вот только тогда, когда действительно поймешь их, уж не обидишься на старика, который жил еще тогда, когда не было ни этих слов, ни тех законов, которые их осуществляют.

Предо мной толстая книга. В ней больше тысячи страниц. Это только документы. «История Советской Конституции» с 1917 года по 1956 год — с первых декретов Советской власти, с первых ее законов, с первых ее свершений. И слово за словом, шаг за шагом читаешь в этой книге о том, как создавалось первое в мире справедливое государство, как рождались его законы, как рождалась одна статья нашей Конституции за другой. И сколько жизней, мужественных, отважных, рано угасших и долго прожитых в служении народу, отдано за эти скупые строки самой человечной Конституции в истории.

Человек очень легко привыкает, особенно к хорошему. И ко многому мы привыкли так, что нам действительно показалось бы нелепым, если бы наши дети не могли учиться в школе, а к больному не пришел бы врач.

История Советской Конституции (в документах) 1917—1956. Предисловие и общая редакция проф. С. С. Студеникина. 1646 стр. Приложение на 16 стр. Юридическое издательство. М. 1957.

И только в минуты какой-то глубокой сосредоточенности или особенно острого ощущения контраста между тем, что происходит в нашей стране и в капиталистических странах, понимаешь, что же действительно сделал наш народ за сорок лет, чего он достиг. И понимаешь, что наша жизнь, которая порой некоторым из нас хоть на минуту покажется будничной, эта самая жизнь — первая настоящая жизнь в ис-

тории человечества, жизнь, которой еще никогда не было на земле. И тогда скупые, деловые строки Конституции звучат, как музыка. Они, как музыка, наполняют душу, улицу города, по которой идешь, высокое небо, светящееся над головой. Потому что в этих строках — единственно справедливые законы, право человечества на счастье, светлое право человека на свободную и достойную жизнь.

Е. УСПЕНСКАЯ.

★

### Жизнь, отданная революции

В первом номере «Искры» в статье «Насущные задачи нашего движения» В. И. Ленин требовал «подготавливать людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь...»

Степан Георгиевич Шаумян принадлежал к славной плеяде профессиональных революционеров-ленинцев, отдавших всю свою жизнь борьбе за освобождение рабочих и крестьян от капиталистического рабства, борьбе за торжество великих ленинских идей.

Я вспоминаю давнопрошедшие времена и вижу перед собой красивого юношу Степко, рисовавшего нам, его товарищам и сверстникам, картины прекрасного будущего свободной Армении. Какой замечательный жизненный путь суждено было пройти этому юноше — беззаветному борцу за народное счастье!

С. Калтахчян описывает жизнь и деятельность Шаумяна на общем фоне развития революционного движения в России.

Со школьных лет Шаумян принимал деятельное участие в подпольной ученической организации, редактируя и печатая на гектографе журнал «Циациан» («Радуга»). Обучаясь позднее в Рижском политехникуме, он за организацию забастовки студентов высылается на Кавказ. Здесь молодой Шаумян сближается с высланными в конце девяностых годов в Тифлис марксистами. В 1899 году он организует первый в Армении марксистский кружок, а через три года вместе с группой товарищей создает «Союз армянских социал-демократов», вошедший в состав РСДРП, и приступает к изданию «Пролетариата» — нелегальной

большевистской газеты. Преследуемый жандармами, Шаумян эмигрирует в Германию, где устанавливает связь с виднейшими деятелями международного рабочего движения — Бебелем, Мерингом, левыми социал-демократами.

В 1903 году Шаумян знакомится с В. И. Лениным. Эта встреча имела решающее значение для всей дальнейшей деятельности Шаумяна. Вернувшись в Россию, он редактирует большевистские издания, страстно пропагандирует ленинские идеи.

Шаумян вел решительную и бескомпромиссную борьбу с антипролетарскими, националистическими буржуазными и мелкобуржуазными течениями и взглядами. Воспитанный на трудах Маркса, Энгельса, Ленина, а также Плеханова, он наносил удар за ударом по врагам на теоретическом фронте, идейно вооружал пролетариат Закавказья. Творчески применяя положения ленинизма к условиям Армении и всего Закавказья, Шаумян подверг уничтожающей критике реакционные теории дашнаков, мусавитов, либералов, меньшевиков и других апологетов капитализма. Один из крупных теоретиков-марксистов по национальному вопросу, последовательный интернационалист, Шаумян неуклонно боролся за осуществление программы и политики Коммунистической партии по национальному вопросу. Он решительно разоблачал националистов всех видов и особенно партию «Дашнакцутюн». Впоследствии ее эмигрантские остатки прислуживали фашистской Германии в годы второй мировой войны, а сейчас тесно связаны с англо-американскими империалистами.

За рубежом и на родине, в ссылке и на свободе, в годы мира и во время войны — всегда и везде Шаумян оставался пламенным революционером, убежденным ленинцем, несгибаемым вожаком рабочих. Он

С. Т. Калтахчян. Борьба С. Г. Шаумяна за теорию и тактику ленинизма. Редактор Л. Князева. 224 стр. Госполитиздат. М. 1956.

был членом Российской организационной комиссии по подготовке Пражской конференции. Под его непосредственным руководством летом 1914 года проходила всеобщая бакинская забастовка и политическая демонстрация.

Наступили великие дни революции. Шаумян — председатель Бакинского Совета, чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, председатель Бакинского Совнаркома. Он организует вооруженные силы, которые стойко защищают дело революции, наносят тяжелые поражения мусаватистам, имаму Гоцинскому.

Народная власть приступает к экономическим преобразованиям: национализации нефтяной промышленности, банков, крупных домовладений, реорганизации судебных органов, народного образования. В Бакинском Совете преобладали большевики. Они вели ожесточенную борьбу на два фронта — против интервентов и внутренних врагов: меньшевиков, дашнаков, мусаватистов. Деятельность Совета, руководимого Шаумяном, была высоко оценена Лениным. В телеграмме на имя Шаумяна Владимир Ильич писал: «Мы в восторге от вашей твердой и решительной политики».

Последние страницы книги рисуют английскую интервенцию в Баку, героизм коммунистов, руководимых пламенным Шаумяном. Английские империалисты и их эсеровская агентура готовили расправу над руководителями революционного движения. Опасаясь вспышки народного гнева, они тайно совершили одно из самых гнусных преступлений, какое знала история: 20 сентября 1918 года английские и эсеровские палачи расстреляли бакинских комиссаров.

Контрреволюционный листок «Голос Средней Азии» с садистской жестокостью писал:

«Судьба нам снова улыбнулась. К нам в руки попали бывшие вершители судеб в Баку... Среди нашей добычи находится один из знаменитых героев — Шаумян, которого давно окрестили «Кавказским Лениным»... Они в наших руках. Мы живем в эпоху варварства. Так будем же пользоваться его законами... Мы не остановимся даже перед причинением ужасных мук, до голодной смерти и четвертования включительно».

Вот он, язык убийц-интервентов, вот подлинное лицо английских колонизаторов и их подручных, без суда и следствия казнивших в закаспийских песках выдающихся деятелей пролетарского движения.

— Мы умирем за коммунизм! Да здравствует коммунизм! — таковы последние слова незабвенного Шаумяна и его героических сподвижников.

Книга С. Калтахчяна, сочетающая рассказ о жизненном пути одного из выдающихся революционеров нашей страны с характеристикой его борьбы за теорию и тактику ленинизма, найдет широкий круг читателей. Написанная доходчиво и ясно, она будет особенно полезна для молодежи, которая учится на героической истории нашей партии.

Мы, старые большевики, лично знавшие Степана Шаумяна, так же как и миллионы советских людей, знакомых с его жизнью и деятельностью по литературным источникам, всегда будем произносить его имя с глубоким уважением, волнением и любовью.

Р. КАТАНЯН.

★

## Воспоминания старого большевика

Четвертого мая 1913 года в «Правде» появилась статья Г. И. Петровского, описывающая первомайские события в Петербурге. Есть в этой статье такие строки: «Между 3 и 4 часами дня против Гостиного двора группа рабочих соединилась в небольшую толпу человек в 100 и запела рабочую песнь. Был выкинут красный флаг. Сейчас же налетела конная и пешая поли-

ция и принялась расталкивать и разгонять собравшихся».

Наше внимание привлекла группа городских, избивавших одного демонстранта. Волоча его по панели, они щедро наделяли его ударами кулаков и шашек... В участке избитый назвался Цветковым. На наш вопрос околоточному и городовому: «Почему его так сильно избивали?» — нам заявили, что он, Цветков, бил городского, а в околоточного обещался стрелять... При избивании мы с членом Государственной Думы Бадаевым протестовали, но на это полицейские чины не обратили внимания».

А. К. Цветков-Просвещенский.  
Между двумя революциями (1907—1916 гг.).  
Редактор И. Ильина. 164 стр. Госполитиздат.  
М. 1957.

Большой жизненный путь прошел старый большевик А. Цветков-Просвещенский, активный участник революционного движения, стойкий борец за дело рабочего класса. Воспоминания, опубликованные им, относятся к периоду 1907—1916 годов, который недостаточно полно отражен в нашей исторической литературе. Опираясь на архивные источники, живо передавая все пережитое, автор пополняет наши представления об описываемой эпохе, обогащает новыми сведениями о деятельности партии в период между двумя революционными бурями.

Большой интерес представляет описание деятельности легальных культурно-просветительных рабочих обществ и профессиональных союзов в Петербурге. Конкретно, зримо рисует автор огромную работу, проводившуюся большевиками в этих организациях. Они пробуждали в массах классовое самосознание, поднимали питерских рабочих на борьбу с царизмом и капитализмом, зажигали людские сердца верой в грядущую победу революции. Называя культурно-просветительные и профессиональные объединения «легальными», А. Цветков-Просвещенский в то же время показывает, как пристально следили за их деятельностью полицейские и шпики, присутствовавшие на всех собраниях. Какого большого пропагандистского искусства требовала от большевиков эта сложная обстановка, с каким большим риском было связано каждое их выступление, направленное против самодержавно-капиталистического строя!

Довольно подробно автор рисует деятельность большевиков в заводских больничных кассах. Используя все возможности для усиления своего влияния в массах, большевики защищали кровные интересы рабочих, сплачивали трудящихся на борьбу за свое освобождение от социального гнета. Материалы, в частности цифровые, о работе заводских больничных касс, приведенные в книге, имеют тем большую ценность, что они освещались историками революционного движения очень скупо.

Яркие страницы воспоминаний А. Цветкова-Просвещенского связаны с деятельностью нелегальных кружков, с первыми выступлениями петербургских рабочих в 1912 году, нарастанием революционного движения. Живо рассказано о борьбе большевистской фракции в Государственной думе за дело народа.

В книге правдиво воссоздана обстановка, в которой пришлось действовать русским революционерам. Обыски, аресты, ссылка, каторга — всю машину зверского подавления революционного движения царское правительство использовало до предела. Отдельные разделы воспоминаний старого большевика так и называются: «Арест. Тюрьма», «Второй арест», «Третий арест и ссылка в Сибирь», «Этап». Главы книги, посвященные сибирской ссылке, дают живое представление о быте и жизни политических ссыльных, продолжавших в далеком Приангарье, в краю тайги и тундры, держать связь с рабочими организациями, готовиться к новым схваткам с самодержавием.

Описывая события 1915 года в сибирской ссылке, автор подчеркивает: «Массовый наплыв ссыльных в Приангарье прекратился еще со второй половины зимы, а прибытие новых партий было теперь редким явлением. Начиная с июня ссылка стала постепенно пустеть». К сожалению, автор не дал объяснения этому, на первый взгляд, странному факту. Известно, что с 1915 года деятельность партийных организаций в Петербурге и по всей России значительно усилилась. Полиция и наемные провокаторы с новой силой обрушились на революционеров. Шли массовые аресты. В годы первой мировой войны один лишь Петербургский комитет многократно арестовывался. И в то же время, как это и подтверждает А. Цветков-Просвещенский, «ссылка пустела». В чем же дело?

Автору следовало рассказать, что война стоила царской армии огромных жертв. Это заставило правительство 7 февраля 1916 года издать секретный указ о направлении в армию заключенных и ссыльных, находящихся под надзором полиции. «Исключение» делалось лишь для каторжан и приговоренных к смертной казни. Этим указом фактически отменялась статья Устава воинской повинности, запрещающая призыв в армию «политически неблагонадежных».

Из тюрем и ссылки началась переброска людей на фронт. Вот почему опустели тюремные камеры и ссыльные районы, а тысячи большевиков попали в ряды армии. Закаленные в битвах с царизмом, прошедшие суровую школу революционной борьбы и ссылки, они понесли в солдатские массы революционные идеи и сыграли большую роль в событиях 1917 года.

Но это — частное замечание. В целом же события, предшествовавшие Февральской революции, описаны автором ярко и точно. Последние строки книги посвящены возвращению ссыльных в Петроград.

«В Петроград мы приехали в последних числах марта. Из тюрем, ссылок и эмиграции возвращались большевики. Разгромленные в начале войны большевистские организации вновь становились грозной силой... Царизм пал, но осталась буржуазия... Нужно было продолжать борьбу в новых, небывалых доселе исторических условиях».

Книгу с интересом прочтет и опытный историк и юноша, вступающий в жизнь. Перед читателем проходят события далекого прошлого, которые помогают еще больше ценить настоящее. И еще: перед нами проходит жизнь одного из рядовых старой

большевистской гвардии, начиная с 1907 года, когда он шестнадцатилетним мальчиком работал по забивке свай на берегу реки Тверцы, и до 1917 года, который он встретил закаленным большевиком.

В заключение нам хотелось бы внести одно предложение. Автор книги проделал большую научно-исследовательскую работу, и, по нашему мнению, Высшей аттестационной комиссии следовало бы обсудить вопрос о возможности присвоения Александру Кузьмичу Цветкову-Просвещенскому ученой степени кандидата исторических наук. Это послужило бы хорошим стимулом для ряда наших старых большевиков при их работе над своими ценными воспоминаниями.

*Кандидат исторических наук*  
**А. ИОНОВ.**

★

## Чехословакия на стройке

За последние годы у нас издано множество самых разнообразных книг о странах народной демократии — от солидных монографий до журналистских путевых зарисовок. Книга «Вопросы строительства социалистической экономики Чехословакии» не совсем обычная: это сборник, содержащий статьи из чехословацкой периодической печати.

Спокойные по тону, с часто встречающимися цифровыми выкладками, статьи по сути полны страстного полемического накала: они камнями на камне не оставляют от одной из распространенных «теорий» буржуазных экономистов. Сущность этой, с позволения сказать, «теории» заключается в том, что социализм-де если и имеет какой-то смысл, то только для экономически отсталых, аграрных стран. Что же касается индустриально развитых государств, то им, по уверениям ученых апологетов капитализма, социализм противопоказан, так как он означает «экономическую деградацию».

Казалось бы, эта «теория» должна целиком и полностью оправдаться на примере Чехословакии, индустриально развитой страны, вступившей на путь строитель-

ства социализма. Перед второй мировой войной буржуазная Чехословакия, занимая по размерам территории четырнадцатое, а по численности населения десятое место в Европе, по своему промышленному потенциалу стояла на пятом-шестом месте.

Что же произошло с экономикой Чехословакии после победы народно-демократического строя? На этот вопрос и дает точный и ясный ответ рецензируемая книга.

Вы читаете статьи, включенные в сборник, — о проблемах социалистической индустриализации страны, о техническом прогрессе в народном хозяйстве, о борьбе за повышение производительности труда, о социалистической перестройке сельского хозяйства, — и перед вами встает сама историческая правда: опыт Чехословакии неопровержимо свидетельствует, что чем более развита в экономическом отношении страна, тем быстрее движется она по пути социализма, тем выше темпы роста ее производительных сил и жизненного уровня народа.

Нет возможности пересказать и десятую долю приведенных в сборнике замечательных фактов, свидетельствующих о бурном развитии социалистической экономики Чехословакии. Эти факты — в каждой статье, на каждой странице. Приведем лишь несколько цифр. В 1955 году валовое промышленное производство возросло по сравнению с 1937 годом почти в два с поло-

Вопросы строительства социалистической экономики Чехословакии. Сборник материалов. Перевод с чешского и словацкого. Редакторы И. С. Латышева, Л. Н. Лебединская. 292 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1957.

виной раз. В четыре раза увеличилось производство электроэнергии, вдвое — добыча угля, выплавка чугуна и стали. Больше чем вдвое увеличился объем производства предметов потребления.

Ведущей отраслью индустрии стало машиностроение. Заводы освоили выпуск множества новых важнейших изделий. По темпам роста производства реактивных двигателей Чехословакия обогнала самые развитые капиталистические страны, в том числе и США.

Авторы сборника не рисуют подъем экономики страны и завоевание ею новых индустриальных высот как легкий и плавный процесс. Народу надо было преодолеть многие трудности, оставшиеся в наследие от буржуазной Чехословакии: неравномерность развития отдельных отраслей производства, нерациональное географическое размещение индустриальных центров. В ходе развития социалистической экономики возникла диспропорция между промышленностью и сельским хозяйством, между быстро развивающейся обрабатывающей промышленностью и ее топливно-энергетической базой и т. д. Но в том-то и сила планового социалистического хозяйства, что оно всегда давало ключ к преодолению затруднений и к мощному экономическому подъему.

Сознательное творчество масс, руководимых Коммунистической партией, являет подлинное чудо. Это отчетливо видно на примере ранее отсталой, аграрной Словакии. Ей посвящено в книге немало места.

В условиях буржуазной Чехословакии тысячи словаков, гонимых голодом, вынуждены были покидать родную страну в поисках заработка. И вот за одно лишь десятилетие этот обширный край неузнаваемо изменил свой облик. П. Турчан и другие авторы сборника рассказывают о стремительном индустриальном росте Словакии, который стал возможен только в условиях социализма. За короткий срок на словацкой земле выросло сто двадцать пять новых заводов. По производству промышленной продукции на душу населения Словакия превзошла довоенный уровень Чехии.

Подробно освещена в сборнике такая важная проблема, как экономические связи Чехословакии со странами социалистического лагеря. Перед читателем встают картины бескорыстного содружества наро-

дов, какого еще не знала человеческая история. Какие богатейшие перспективы открывает эта честная, чистая дружба перед каждым из государств, строящих социализм! Индустриально развитая Чехословакия деятельно помогает промышленному подъему других стран народной демократии и сама получает от них большую помощь для дальнейшего развития своей экономики. Четвертая часть промышленной продукции Чехословакии идет на экспорт, главным образом в народно-демократические государства. В обмен она получает жизненно необходимые ей виды сырья. Поставки из Советского Союза полностью ликвидировали прежнюю сырьевую зависимость чехословацких предприятий от капиталистических монополий.

Великая дружба социалистических стран питает живительными соками всю чехословацкую экономику. В будущем народное хозяйство страны, отмечает в своей статье В. Кайгл, «может пропорционально развиваться только как составная часть расширенного воспроизводства во всей мировой социалистической системе хозяйства». Эта черта экономического развития свойственна любой стране, строящей социалистическое общество.

Статьи, включенные в сборник, воочию показывают, что побеждающий социализм — это не только устремленная вверх кривая выработки электроэнергии и выплавки стали. Это и непрерывный рост реальной заработной платы рабочих, подъем благосостояния крестьян, расцвет науки и культуры. И справедливо подчеркивается в книге, что путь Чехословакии к социализму наряду с опытом других стран, строящих новое общество, является «весьма поучительным для прогрессивных сил в развитых капиталистических государствах Западной Европы и вызывает большой интерес у народов всех стран».

Выражая мысли и чувства всего чехословацкого народа, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии Антонин Новотный сказал: «Путь, по которому мы идем, является путем, указанным всем народам Великим Октябрем».

Этот ленинский путь ведет к бурному экономическому подъему, культурному процветанию, к истинному народному счастью.

**М. ЛЕСНОВ.**



## Величайший мыслитель Франции

Книга В. Ф. Асмуса «Декарт» посвящена научной и философской деятельности одного из наиболее выдающихся ученых и философов не только XVII века, но и всего нового времени. Ренэ Декарт (1596—1650) вместе с Гассенди является основоположником материалистической традиции во Франции. Вслед за Бэконом он открыл первые страницы в развитии опытного естествознания, сделал огромный вклад в математику и физику.

В советской философской литературе труд В. Асмуса в известной мере заполняет значительный пробел, имеющийся у нас до сих пор в исследовании истории материализма и его борьбы с идеализмом в XVII веке.

Мировоззрение Декарта полно глубоких противоречий. В историю философии мыслитель вошел как представитель дуализма. Он утверждал существование двух первооснов мира, двух субстанций — материальной и духовной, созданных третьей, высшей субстанцией — богом. В своей физике Декарт исходил из материи и движения в объяснении всей неживой и живой природы. Но он идеалистически рассматривал сознание человека как проявление самостоятельной, отделенной от материи духовной субстанции. Философия Декарта, его материалистическая физика сыграли выдающуюся роль в последующей истории материализма, оказав огромное влияние на Спинозу, на французских материалистов XVIII века. В то же время идеалистические стороны его мировоззрения явились опорой для развития идеализма в последующие столетия.

Философия Декарта еще при его жизни, а также и впоследствии подвергалась критике как справа — со стороны идеалистов, теологов, так и слева — со стороны материалистов (Гоббс, Гассенди, Спиноза и другие).

Более трех столетий идет борьба между материалистами и различными направлениями идеализма вокруг наследства Декарта. Эта борьба с большой остротой развернулась и в современной Франции. Коммунистическая партия Франции отстаивает от фальсификаторов и нигилистов прогрессивное наследие национальной культуры прошлого, в котором Декарту принадлежит одно

из первых мест. Роль Декарта как одного из национальных гениев Франции высоко оценена в трудах и выступлениях Мориса Тореза, в произведениях французских философов-марксистов.

Вполне понятен интерес советских читателей к философскому и естественнонаучному наследию Декарта, стремление понять причины противоречивости его философии, уяснить ее дальнейшую судьбу и современное значение. Этому и должна помочь книга В. Асмуса, написанная с глубокой симпатией к Декарту — мыслителю и человеку.

Ренэ Декарт жил и творил в очень сложных условиях. Идеологическая диктатура церкви, господство религиозного мировоззрения, фанатично защищаемого реакционными силами, чрезвычайно затрудняли деятельность новаторов в науке, представителей прогрессивного мировоззрения. Не только в феодальной Франции первой половины XVII века, но и в достигшей тогда расцвета буржуазной Голландии (куда укрылся более чем на два десятка лет Декарт в поисках лучших условий для научных занятий) еще была очень сильна власть религиозного мировоззрения, предрассудков, средневекового догматизма.

Если Декарт — борец за новое, прогрессивное мировоззрение, которое он утверждал своей материалистической физикой, естественнонаучными открытиями, экспериментами и т. д., — не всегда был последователен и не шел на открытое столкновение с католической церковью, то это явилось результатом исторических условий и недостаточной зрелости прогрессивных сил Франции. После осуждения Галилея инквизицией Декарт отказался от мысли опубликовать свое уже подготовленное для печати произведение — трактат «Мир», так как краеугольным камнем его также было учение Коперника, преследуемое церковью.

«Решив, что прямая, открытая борьба в области принципов философии и космогонии безнадежна, — пишет В. Асмус, — Декарт не хотел отказаться от работ, в которых он мог показать образцы применения своего метода к отдельным отраслям научного исследования. Отступившись от изложения принципов своего учения, он тем более дорожил возможностью труда, исследования, изобретения, основанного на этих принципах. Эта позиция, занятая Декартом

в борьбе его века за передовые идеи астрономии и физики, придала всей его деятельности и его нравственному характеру печать двойственности и противоречия».

В книге раскрывается творческое содержание философии Декарта, его дуализм, а также механистическая ограниченность его материалистической физики. Но главное внимание автор сосредоточивает на том огромном вкладе, который сделан мыслителем в развитие материализма. Впервые в новое время Декарт, обобщив в своей материалистической физике данные естествознания XVI и начала XVII века, предпринял грандиозную попытку дать целостную картину мира, представить всю природу как гигантский механизм.

Автор показал, что исторически прогрессивным, при всей его ограниченности, был и рационалистический метод Декарта. Мыслитель утверждал силу разума, его способность познать истину, законы природы и поставить ее силы на службу человеку.

Анализ научных и философских работ Декарта рисует его как страстного противника схоластики и омертвленного, оторванного от жизни и практики знания, как борца за подлинную науку, открывающую человеку власть над природой.

Есть в работе В. Асмуса и некоторые недостатки. Основной из них связан с заключительной главой книги — «Влияние идей Декарта на науку и философию XVII—XIX веков». Схематично написанная, она не дает глубокого и ясного освещения вопроса. Жаль также, что в этой главе автор не обратился к более поздним временам и не показал значения воззрений Декарта для развития философской мысли XX века, не проанализировал борьбу, которая ведется в современной Франции вокруг наследия выдающегося ученого.

Можно упрекнуть автора и в том, что, обращаясь к идеалистическим положениям Декарта, он иногда смягчает критику, стремится найти положительные элементы в явно теологических сторонах учения великого французского философа. Книга, несомненно, выиграла бы, если бы в ней нашлось место для обобщения марксистской и основной современной буржуазной литературы о Декарте.

В целом же работа В. Асмуса является ценным вкладом в нашу историко-философскую литературу. Язык книги — ясный, точный, автор обладает умением доступно излагать самые сложные положения.

**М. ЦЕБЕНКО.**



# ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

## ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ ПИСЬМА ВОРОВСКОГО К ОЛЬМИНСКОМУ

В годы столыпинской реакции выдающийся критик-большевик Вацлав Вацлавович Воровский по заданию партии работал в подполье Одессы. Одновременно он активно сотрудничал в легальной демократической прессе, проводя марксистско-ленинские идеи в массы.

Это сотрудничество стало возможным потому, что осенью 1907 года в обстановке нараставшей реакции, когда легальная большевистская печать была придушена, на четвертой конференции РСДРП партия вынесла специальное решение «Об участии в буржуазной прессе». В этом решении, подчеркивая общую установку на нежелательность участия в непартийной прессе, партия разрешала в отдельных случаях при определенных условиях участвовать в либеральной печати. Эти условия сводились к тому, чтобы литераторы-партийцы старались проводить на страницах буржуазных газет и журналов свою партийную линию.

Литературное творчество В. Воровского тех лет — образец претворения в жизнь ленинского принципа партийности литературы. Не только в своих статьях критик-большевик проводил ленинские указания, но и в письмах к товарищам литераторам он старался пропагандировать эстетические взгляды Ленина на искусство. В связи с этим большой интерес представляют два неизвестных письма В. Воровского к М. Ольминскому, хранящиеся в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Эти письма, отрывки из которых здесь приводятся, характеризуют В. Воровского как поборника ленинского принципа партийности, как борца за идейность русской литературы.

В 1911 году группа литераторов-большевиков была приглашена в журнал «Современник», направление которого В. И. Ленин определил как помесь народничества с

марксизмом. Приглашение было передано через М. Ольминского, находившегося тогда в Петербурге. М. Ольминский известил об этом В. Воровского. Хотя приглашение и было за-

манчиво, В. Воровский отнесся к нему с большой осторожностью. В письме к М. Ольминскому от 9 июня 1911 года он сообщал условия, на которых можно было «грех на душу брать». «Дело с «Современником» представляется мне так, — писал, он, — с одной стороны нельзя не сознаться, с другой следует признаться... Конечно, сотрудничество с протоплазмами типа Василья Васильевича<sup>1</sup> или с наездниками вроде мусью Амфитеатрова<sup>2</sup> мало соблазнительно. Это Вы и сами, чай, понимаете (небось, читали М. Ольм. в «Звезде»<sup>3</sup>). Но, с другой стороны, очень уж соблазнительно забраться в толстый журнал, раз предоставляют право писать то, что хочешь, а не то, что хозяин велит. Как-никак, а сейчас ведь совсем нет своей прессы: «Мысль»<sup>4</sup> отдыхает, да и вообще она тесна для нас, дальше политики не в силах идти; ну, а иметь дело с проходимцами вроде господина Иорданского<sup>5</sup> — благодарю покорно, не особенное удовольствие своим горбом создавать капиталец для этих субъектов.

Так что видите, я в некотором роде оппортунистом стал — применительно к «обстоятельствам». Но, разумеется, надо принять меры, а именно: 1) войти туда группкой, обязательно солидарной, чтобы не дать себя слопать, и 2) выговорить себе право свободно высказываться без оговорок, кроме, конечно, необходимых цензурных многоотчий. Если это нам гарантируют (а раз они сами просят нас оспасти, то, думаю,

<sup>1</sup> В. В. Водовозов — буржуазный журналист.

<sup>2</sup> А. В. Амфитеатров — буржуазный журналист, писатель, редактор журнала «Современник».

<sup>3</sup> Воровский имеет в виду письмо М. Ольминского в газете «Звезда» (№ 21, 20 мая 1911 года), в котором содержался ответ на вопрос: «могут ли марксисты идти в общую редакцию с представителями других демократических течений...»

<sup>4</sup> Журнал «Мысль» (1910—1911) — орган большевиков, выходил в Москве.

<sup>5</sup> Н. И. Иорданский — в те годы меньшевик, был редактором журнала «Современный мир».

пойдут на эти условия), тогда почему бы и не воспользоваться благоприятным моментом.

Вообще, конечно, в этом есть грехопадение, а уж если грешить, то, по-моему, грешить основательно (ведь я б-к!): это значит войти «постоянным» сотрудником, т. е. обязательно давать в каждый (или приблизительно каждый) номер статьи. Ибо если наши статьи будут итти разрозненно — то один даст, то другой, а то и никто, тогда не стоит грех на душу брать. Вы понимаете мою мысль? Нужно, чтобы все видели, что мы не случайные гости, получающие из любезности пристанище, а сохозяева, высказывающиеся в своем, а не чужом органе. Это тем более важно, что «Современник» имеет уже круг читателей, и нужно, чтобы они понимали, что происходит. Самое лучшее, конечно, было бы, если бы можно было захватить в свое пользование определенные отделы».

Вторым крупным вопросом, занимавшим Воровского в переписке с Ольминским, был вопрос об идейной полемике. Меньшевики обвиняли большевиков, Ленина в том, что те, мол, в критике допускают слишком резкий тон и таким образом якобы помогают врагам пролетариата. Это, дескать, подрывает единство РСДРП. Известно, что В. И. Ленин в докладе V съезду специально остановился на видах полемики, допускаемых среди разных партий и между членами одной организации. В. И. Ленин отмечал корректный способ борьбы «посредством убеждения внутри организации» и способ «борьбы посредством раскола, т. е. разрушением враждебной организации, путем возбуждения в массе ненависти, отвращения, презрения к ней»<sup>1</sup>. К меньшевикам, как к партии, чуждой большевикам, Ленин считал необходимым применять последний вид полемики. Однако среди литераторов-большевиков были и такие (например, М. Ольминский), которые полагали, что внутри одной организации, между ее членами идейную полемику вообще вести не нужно. В. И. Ленин был решительно не согласен с этой точкой зрения.

В 1910 году М. Ольминский выпустил книгу «Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России». В. И. Ленин отнесся к ней отрицательно. Об этом он писал в газете «Звезда». Главную ошибку

В. И. Ленин усматривал в том, что в книге предавалась забвению громадная самостоятельность и независимость «бюрократии».

Более детальный разбор книги по поручению В. И. Ленина сделал В. Воровский. Он поместил в большевистском журнале «Просвещение» (1912) обстоятельную рецензию, в которой подверг книгу Ольминского резкой, но справедливой критике. Однако еще раньше, до опубликования рецензии, Воровский сообщил своему другу М. Ольминскому замечания по его книге.

М. Ольминский несколько болезненно воспринял критику в свой адрес и выразил Воровскому недовольство. В письме к М. Ольминскому В. Воровский разъяснил свою позицию в этом вопросе и указывал, что намеревается даже послать ему свою рецензию. Письмо это без даты, но, судя по его характеру, можно предположить, что оно написано во второй половине 1911 года, когда рецензия Воровского была уже написана (она предназначалась для «Мысли», но в 1911 году «Мысль» была закрыта).

«Неужели Вы думаете,— писал Воровский,— что полемика с автором есть уже личная полемика. Ничего подобного. Я могу самым искренним образом уважать и любить автора и все-таки горячо спорить против его сочинений. Вы говорите: надо спорить с идеями. Это, голубчик, ведь общее место, не более. Идеи, к сожалению, не бегают по белу свету на своих ножках, а всегда обязательно появляются в ипостаси конкретного автора. Это, конечно, технический недостаток, но ничего не поделаешь. Споря с идеей, по необходимости споришь с носителем ее. И ничего в этом нет скверного: и Вы напрасно бичуете себя за полемику с Р-вым<sup>1</sup> и пр. Очень хорошо делали, что полемизировали, раз были не согласны с их взглядами. И еще лучше сделаете, если сбросите свое непротивленское настроение и дальше будете полемизировать.

Другое дело, если полемика против автора ведется не в круге идей, а в сфере личных выпадов, передержек, подсиживания и т. д. Это, разумеется, не может

<sup>1</sup> Н. А. Рожков — в годы первой русской революции большевик. Во время столыпинской реакции он начал постепенно отходить от большевизма.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 12, стр. 385.

иметь ценности (Прошу не смешивать с личной полемикой резкую идейную полемику).

Теперь, что касается вопроса о подчеркивании пунктов согласия, умалчивая о разногласиях, то я по-прежнему продолжаю негодовать. Ведь так мы выродимся в общество взаимного обожания. Я уже не говорю о психологической невозможности умолчания, когда видишь ошибочные суждения. Оставить их без возражения мог бы только человек, равнодушный к теории и ее судьбам. Но и помимо этого, во что мы превратимся. Я буду выуживать «пункты согласия» в Ваших статьях, Вы в моих, X. в статьях У. и т. д. Получится какой-то компендиум пунктов согласия, набор общих бесспорных мест, трюизмов, того, что свободно можно вынести за скобки.

Индивидуальности авторов, их частные суждения, их личные исследования,— все то, что способно двигать вперед теорию, и все это сотрется, сойдет на нет. Получится марксизм в издании для институтов благородных девиц. Упаси господи от сего благополучия.

Вы ошибочно толкуете мою готовность послать Вам рукопись. Я именно хочу послать ее для возражений и избежания мор-

добоя по недоразумению. Только за этим. Меня слишком живо и серьезно интересует самая тема Вашей книги, чтобы я не предпринял все меры к устранению недоразуменного мордобоя. И именно в силу этого искреннего интереса я и не думаю претендовать на прелести неожиданного нападения, которое так по душе нашему брату бумагомараке. Однако, должен заметить: то, что Вами написано и напечатано,— есть уже совершившийся факт. Возможно, что теперь Вы многие положения смягчаете, толкуете несколько иначе (сейчас ведь у Вас несколько другое настроение). Поэтому не будьте в претензии, если Ваши объяснения покажутся мне не соответствующими тому, что имеется в печати черным по белому: ибо я имею дело не с Вами, а с книгой под заглавием «А. Б.». А вообще не обижайтесь на мои письма. По Вашему письму видно, что Вы сердитесь».

Из отрывка этого письма следует, что в полемике с товарищами Воровский придерживался принципиальной ленинской позиции. Он не мог молчать, когда кто-либо ошибался, будь это его близкий друг или товарищ. Соображения Воровского о полемике не потеряли своего значения и для нас, советских литераторов.

Ник. ПИЯШЕВ.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Сочинения. Издание четвертое. Том 37. Письма к родным. 1893—1922. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 654 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Н. С. Хрущев.** Сорок лет Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета СССР 6 ноября 1957 года. 80 стр. Цена 75 к.

**Аграрные преобразования в народно-демократических странах Азии.** Сборник. 232 стр. Цена 6 р. 50 к.

**М. Айрапетян, П. Кабанов.** Ленинские принципы внешней политики Советского государства. 224 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Арабы в борьбе за независимость.** 416 стр. Цена 7 р.

**С. М. Григорьян.** Народный сектор — основа экономики Германской Демократической Республики (1945—1955). 216 стр. Цена 3 р.

**Л. В. Жигарев.** Год 1960-й... 176 стр. Цена 2 р.

**Г. Забродский.** Мирозрение Д. И. Менделеева. К пятидесятилетию со дня смерти. 200 стр. Цена 2 р. 60 к.

**За коммунистическую идейность литературы и искусства.** Сборник статей. 240 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Зарубежные страны.** Политико-экономический справочник. 992 стр. Цена 20 р.

**Ф. В. Константинов.** Марксизм-ленинизм в высшей школе. 88 стр. Цена 1 р.

**С. Найда.** Триумфальное шествие Советской власти. 128 стр. Цена 1 р. 45 к.

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

**Юбилейная сессия Верховного Совета СССР четвертого созыва, посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции (6 ноября 1957 г.).** Стенографический отчет. Цена 4 р. 50 к.

Стенографический отчет издается на языках: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Волович.** Год на полюсе. 276 стр. Цена 5 р. 35 к.

**М. Гарцман.** Я люблю тебя, жизнь. Перевод с еврейского. 152 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Л. Гурунц.** Горы высокие. Роман. 296 стр. Цена 9 р. 10 к.

**А. Зарицкий.** Поэмы. Перевод с белорусского. 152 стр. Цена 3 р. 25 к.

**Н. Мацуев.** Советская художественная литература и критика. (1954—1955). 416 стр. Цена 16 р. 25 к.

**П. Нилин.** Знаменитый Павлюк. Повести и рассказы. 648 стр. Цена 12 р. 40 к.

**В. Померанцев.** Зрелость пришла. Повесть. 308 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Ф. Тютчев.** Полное собрание стихотворений. 427 стр. Цена 7 р. 95 к.

**К. Федин.** Писатель, искусство, время. 524 стр. Цена 11 р. 80 к.

**Л. Шпорта.** Стихотворения. Перевод с украинского. 104 стр. Цена 1 р. 80 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**И. Бабель.** Избранное. 375 стр. Цена 7 р. 40 к.

**Георг Веерт.** Избранные произведения. Перевод с немецкого. Том I. 334 стр. Цена 7 р. 85 к. Том II. 572 стр. Цена 11 р.

**Н. Г. Гарин-Михайловский.** Собрание сочинений. В пяти томах. Том I. 522 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Иосиф Гришавили.** Стихи. Перевод с грузинского. 295 стр. Цена 4 р.

**Чарльз Диккенс.** Собрание сочинений в 30 томах. Перевод с английского. Том I. 754 стр. Цена 11 р.

**Осип Маковей.** Избранные рассказы и очерки. Перевод с украинского. 392 стр. Цена 6 р. 55 к.

**Генрих Манн.** Сочинения в восьми томах. Перевод с немецкого. Том I. 623 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Рассказы русских советских писателей.** В трех томах (1917—1957). Том I. 602 стр. Цена 12 р. 90 к. Том II. 567 стр. Цена 12 р. 35 к. Том III. 539 стр. Цена 11 р. 85 к.

### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**С. Антонов.** Деревенские повести. 392 стр. Цена 6 р. 30 к.

**С. Васильев, Н. Отген.** В дни Октября. Киноповесть. 144 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Е. Немировский, Б. Горбачевский.** Рождение книги. 232 стр. Цена 8 р. 40 к.

**Одноактные пьесы.** Сборник пьес советских писателей. 240 стр. Цена 3 р. 50 к.



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

за 1957 год

**Н. Хрущев.** За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа. IX—3.  
**Передовая.** Главная линия. X—3.

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ЗАПИСКИ

**Нора Адамян.** У синих гор. Повесть. I—29.

**Александр Былинов.** Рота уходит с песней. Повесть. VII—56; VIII—47.

**Софья Виноградская.** Первые годы. Рассказы: Комплект «Правды»; «Первая леди»; Сестры; Котиковая шубка; Третья весна; Начало; В январскую ночь. X—26.

**Макс-Луи Галло.** Горькая молодость. Фрагменты из романа. Перевод с французского М. Кудинова. VIII—131.

**Анатолий Глебов.** Из прошлого. XII—144.

**Е. Дабкина.** Котелок. Из рассказов о днях революции: Там, в Смольном...; Рассказ о неизвестном красногвардейце; Ночь перед рождеством; «Сгущение науки»; Наша взяла!; Двойная итальянская...; Котелок; «Товарищи, к оружию!»; Летний сад. X—139.

**Михаил Козаков.** Петроградские дни. Повесть. XI—113; XII—108.

**Павло Оровецкий.** Сердце солдата. Повесть. Перевел с украинского И. Карабутенко. XII—12.

**П. Павленко.** Кавказская повесть. II—60; III—58; IV—80.

**Вл. Павлов.** Проводник. Рассказ. IX—51.

**Сергей Снегов.** В полярной ночи. Роман. IV—32; V—21; VI—34; VII—114.

**Вл. Солоухин.** Владимирские проселки. IX—82; X—75.

**Николай Тихонов.** Рассказы о Бетале Калмыкове. VII—31.

**Л. Шейнин.** Записки следователя (Из второй книги). I—94.

### ПОЭМЫ И СТИХИ

**Ираклий Абашидзе.** Из индийской тетради: Поэтам Индии; По следам Руставели. Стихи. Перевел с грузинского М. Максимова. XII—4.

**М. Алигер.** Двое. Стихи. IV—79.

**Николай Асеев.** Ракета. Стихи. XII—3.

**Константин Ваншенкин.** Городские костры. Стихи. VIII—43.

**Константин Ваншенкин.** Октябрь. Стихи. XI—190.

**С. Галкин.** Четыре стихотворения: Первый снег; Слово свято; К зодчему; Мне звезда отраднa эта... Перевели с еврейского С. Маршак, И. Гуревич, А. Ахматова. XII—140.

**Энвер Давыдов.** Открытое море; Женщинам; О величественности; Я уже надоел вам...; О любви; Ус крашенный, загоревшийся прядкой... Стихи. Перевели с татарского Мих. Луконин, Я. Смеляков, Евг. Евтушенко. V—106.

**Николай Дамдинов.** Песнь степей. Стихи. Перевод с бурят-монгольского Юрия Левицкого. I—25.

**М. Демин.** Магистраль. Стихи. VIII—39.

**Абдусалом Дехоти.** Большой снег. Стихи. Перевод с таджикского С. Липкина. IV—26.

**Евг. Евтушенко.** Утренние стихи; Какое наступает отрезвление...; Со мною вот что происходит... Стихи. IV—75.

**Евг. Евтушенко.** Россия. Стихи. XII—95.

**Василий Журавлев.** Из казахстанской тетради: Район Мендыгары; Забытая землянка. Стихи. IX—80.

**Н. Заболоцкий.** Лирика: Вечер на Оке; Над морем; Казбек; Гомборский лес. XII—137.

**Вера Звягинцева.** Моему молодому другу; Осень и человек. Стихи. II—46.

**Из стихов таджикских поэтов.** Народные четверостишия. Перевод Н. Гребнева. IV—28.

**Аттила Йожеф.** Из стихов разных лет: Здесь дерево, там дерево...; Хор рабочих; Поток; Гнев; Скамья, булыжник — все равно...; Мой подарок. Перевели с венгерского Вл. Корнилов, Марк Шехтер, Александр Големба, Эм. Александрова. V—100.

**Алим Кешоков.** Мой край; Мама; Девочка с косичками; Улыбка. Стихи. Перевели с кабардинского Я. Козловский и С. Липкин. VI—26.

**Павел Коган.** Из стихов разных лет: Есть в наших днях...; Гроза; Письмо; Ракета; Из романа в стихах. II—52.

**Александр Коренев.** Истоки. Стихи: Свежа; Енисейские волны; Почтовый ящик. X—135.

**Николай Корнеев.** Венгерская Гренада. Стихи. V—105.

**Кайсын Кулиев.** Россия; В землях многих...; Журавли; Горная баллада. Стихи. Перевели с балкарского Вера Звягинцева, Николай Тихонов, Е. Елисеев, Н. Коржавин. VI—29.

**Георгий Леонидзе.** Два стихотворения: Иней...; Весна в Кахетии. Перевел с грузинского Н. Гребнев. XII—136.

**Инна Лиснянская.** Начало: Гордость; В опере; Картошка; Дочери. Стихи. VIII—44.

**Владимир Луговской.** Майская ночь. Стихи. IX—77.

**Георге Майореску.** Возвращение (Из поэмы). Перевел с румынского Д. Самойлов. VII—105.

**Марк Максимов.** Здравствуй, юность моя! — В армию; Кто идет?; О потомках; Чужой голос. Стихи. II—48.

**Алексей Марков.** Молодость. Стихи. VII—28.

**Леонид Мартынов.** Три стихотворения: Начало; Шаг; Нет... IV—22.

**Леонид Мартынов.** Птенец голубки. Стихи. IX—50.

**Аширмат Назаров.** Чабан. Стихи. Перевод с таджикского С. Липкина. IV—27.

**Витезслав Незвал.** Из стихов разных лет: Эдисон (Из поэмы); Драма; Безработный; Просьба к художнику; С богом!.; Дорога; В честь весны; Бродячие музыканты; Вдох; Сонет в честь «ТУ-104». Переводы с чешского Д. Самойлова, В. Николаева, Леонида Мартынова. VIII—125.

**Платон Ойунский** (1893—1939). Стихи разных лет: Железный конь; Харачас; Власть Советам!; Бокал; Жаворонок пел...; Мимоза; Море; Прощай. Перевели с якутского Ал. Лаврик, Ив. Дремов, Ник. Сидоренко. XII—97.

**Алексис Парнис.** В Москву, на фестиваль (Из поэмы). Перевел с греческого Д. Давыдов. VII—29.

**Юрий Полухин.** Суд идет. Стихи. IV—24.

**Жак Превр.** Три стихотворения: Потерянное время; Семейное; Париж ночью. Перевел с французского М. Кудинов. IX—142.

**Александр Прокофьев.** Мои реки. Стихи. VI—104.

**Бадави Рамазанов.** Девочка, разбившая кувшин. Стихи. Перевод с лакского Я. Козловского. II—58.

**Борис Рахманин.** Военные слова. Стихи. V—112.

**Абульхасан Рудаки.** Стихотворения: Просителей иные не выносят...; Все то, что мир творит...; Я славлю бога моего...; Не для того свои седины...; Всегда дружу...; На мир взгляни...; Каждый день...; Увидев лисью шкуру... Перевел с таджикского С. Липкин. IV—30.

**М. Рыльский.** Черемуха после дождя. Стихи. Перевел с украинского Бор. Ирнин. VI—109.

**Паруйр Севак.** Октябрю, юноше в день рождения! Стихи. Перевел с армянского Р. Рождественский. XI—192.

**Борис Слуцкий.** Как меня принимали в партию; Говорит политрук; Я не любил стола и лампы...; Агитация среди войск противника; Осенний лес. Стихи. VII—162.

**Ярослав Смеляков.** В Будапеште. Стихи. I—3.

**Ярослав Смеляков.** Призывник; Земляника. Стихи. V—98.

**Ярослав Смеляков.** Три стихотворения: Шестидюймовка «Авроры»; Даешы; Безбилетный. XI—186.

**Иржи Тауфер.** Когда. Стихи. Перевел с чешского Мих. Луконин. XI—195.

**Зубер Тхагазитов.** Сердце. Стихи. Перевел с кабардинского Дм. Голубков. VI—32.

**Виктор Урин.** Из сибирской тетради: Так огромны пространства...; Кто побывал в сибирском море...; Храмцовский разрез; Пускай они законно славятся... V—114.

**Виктор Урин.** Два эшелона; Омск. Стихи. XII—8.

**Хо Ун Пэ.** Робкая Наташа; Как я изучал русский язык; Детский са. Стихи. Перевод с корейского Ярослава Смелякова. IV—116.

**Мих. Шестериков.** Огонек моей юности. Лирическая поэма. X—63.

**Вадим Шеффер.** Стихи о Васильевском острове. VI—105.

**Хабас Шогенов.** Ошхамахо. Стихи. Перевел с кабардинского Дм. Голубков. VI—33.

**Степан Щипачев.** Два стихотворения: Шелковая нить; В Сокольниках. I—86.

**Степан Щипачев.** Ты знаешь сам... Стихи. IX—79.

**Степан Щипачев.** Два стихотворения: Снова думы мои об одном...; Допустим — богом... X—158.

**Лев Яшин.** О любви к Родине. Стихи. VI—108.

#### СОРОК ОКТЯБРЕЙ — СОРОК СТИХОТВОРЕНИЙ...

Великая Октябрьская революция в стихах русских советских поэтов.

1917 год. Владимир Маяковский. Ешь ананасы.—1918 год. Николай Полетаев. Красная площадь.—1919 год. Сергей Есенин. Кантата.—1920 год. Валерий Брюсов. Я выросал в глухое время...—1921 год. Демьян Бедный. В тумане.—1922 год. Николай Асеев. Новая Кремлевская стена.—1923 год. Эдуард Багрицкий. Освобождение.—1924 год. Александр Жаров. Седьмой Октябрь.—1925 год. Виссарион Саянов. Современники.—1926 год. Владимир Маяковский. Не юбилей! — 1927 год. Александр Безыменский. В те дни.—1928 год. Сергей Городецкий. Одиннадцатый год.—1929 год. Иван Молчанов. Наш путь.—1930 год. Иосиф Уткин. Октябрьская тревога.—1931 год. Виктор Гусев. Октябрьский смотр.—1932 год. Владимир Луговской. Октябрьские стихи.—1933 год. Юрий Инге. Придет пора...—1934 год. Александр Твардовский. Хозяин.—1935 год. Александр Гитович. Ущелье. Костра красноватые ключья...—1936 год. Семен Кирсанов. Встреча с Октябрем — 1937 год. Павел Антокольский. Октябрьские стихи.—1938 год. Михаил Голодный. Октябрь в Екатеринославе.—1939 год. Владимир Замятин. Счастье — 1940 год. Михаил Трицкий. Вечер перед Октябрем.—1941 год. Николай Тихонов. Седьмое ноября 1941 го-



да.— 1942 год. Степан Щипачев. 1917—1942.— 1943 год. Михаил Светлов. 7 ноября.— 1944 год. Михаил Исаковский. Слово о России.— 1945 год. Александр Твардовский. Отчизне.— 1946 год. Александр Яшин. Красный флаг.— 1947 год. Маргарита Алигер. Счастье.— 1948 год. Анатолий Софронов. Прекраснее нет.— 1949 год. Александр Прокофьев. Слово о Родине.— 1950 год. Бронислав Кежун. Слово о рабочем знамени.— 1951 год. Евгений Долматовский. Земля расцветет.— 1952 год. Николай Грибачев. Когда ударит гром салюта...— 1953 год. Вера Инбер. Разлив.— 1954 год. Сергей Орлов. Первая годовщина.— 1955 год. Сергей Смирнов. Накануне.— 1956 год. Алексей Сурков. В канун Октября. XI—52.

### НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Генри Лоусон. Стихи разных лет: Красный флаг; Новый Джон Буль; Те, кем могли б мы стать; Мой пес; ...Вы думаете, я не знаю?; Если брюки разорвались; Стихи, посвященные Джиму. Перевод с английского Н. Разговорова. I—87.

С. Маршак. ИЗ РОБЕРТА БРАУНИНГА: Флейтист из Гаммельна. ИЗ ГЕЙНЕ: Кто влюбился без надежды...; В почтовом возке...; Как из пены вол...; С надлежащим уважением...; Твои глаза...; Они мои дни омрачали...; Прекрасный старинный замок...; К плечу белоснежному милой...; Трубят голубые гусары...; Бог Аполлон (отрывок). VI—110.

### НЕСОКРУШИМО ЛЕНИНСКОЕ ЕДИНСТВО!

Несокрушимо ленинское единство! VIII—3.

Иван Макарьев. О самом главном. VIII—6.

Борис Лавренев. Страницы из дневника. VIII—9.

Лев Никулин. Возвращаясь на родину. VIII—14.

Лев Ошанин. Сила и мудрость партии. VIII—17.

### РАЗМЫШЛЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ОБ ОКТЯБРЕ

Борис Лавренев. Моему юному другу... XI—4.

Борис Полевой. О самом заветном. XI—8.

Петр Вершигора. Эстафета поколений. XI—11.

Аниа Караваева. Что питает таланты. XI—13.

Владимир Солоухин. Несколько слов о собственной жизни. XI—16.

Сергей Залыгин. Высокая цель. XI—18.

Лев Никулин. Образы прошлого. XI—21.

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Мухтар Ауэзов. Так рождался «Туркестан». Перевод с казахского, II—19.

Леонид Иванов. Сибирские встречи. Из записок журналиста. III—3.

Елена Микулина. Тридцатитысячник. II—3.

Е. Померанцева. В Брянске (Заметки о культуре). IV—3.

Я. Тавров. Люди, план, резервы. I—5.

### НА СОРОКОВОМ ГОДУ

М. Белкина. Удэ. VIII—20.

Игнатий Дворецкий. Сторона сибирская. IX—23.

Анатолий Злобин. Совнархоз приступил к работе... VII—3.

Владимир Курочкин. Снова в Сормове. VI—3.

А. Литвак. Смысл усилий. V—3.

Я. Тавров. Имени Владимира Ильича. XI—25.

А. Хавин. Новая география научного творчества. X—10.

### СОРОК ЛЕТ НАЗАД

Апрель, 1917 год... IV—120.

Май, 1917 год... V—179.

Июнь, 1917 год... VI—161.

Июль, 1917 год... VII—166.

Август, 1917 год... VIII—158.

Сентябрь, 1917 год... IX—144.

Октябрь, 1917 год... X—159.

В. Алексеева, член КПСС с 1914 года. На Апрельской конференции. IV—136.

А. Антонов, член КПСС с 1914 года. Именем Военно-революционного комитета. X—160.

Р. Борисова, член КПСС с 1912 года. Донбасское лето. VII—178.

Р. Борисова, член КПСС с 1912 года. У волгарей. X—166.

А. Братальский, член КПСС с 1915 года. В Белгороде. X—170.

М. Гоberman, член КПСС с 1911 года. В Россию... IV—121.

Д. Гразкин, член КПСС с 1909 года. Солдатская газета. V—198.

И. Гронский, член КПСС с 1918 года. «Левое плечо вперед!» V—191.

И. Гронский, член КПСС с 1918 года. У фронтовиков. VIII—163.

И. Гусанов, член КПСС с 1917 года. Ташкент в сентябре. IX—154.

И. Еремеев, член КПСС с 1917 года. В апрельские дни. IV—127.

И. Еремеев, член КПСС с 1917 года. Ленину у путиловцев. V—189.

П. Зайцев, член КПСС с 1918 года. В Кронштадте. VII—167.

И. Зейликович, член КПСС с 1910 года. В городе Грозном. IX—157.

Из документов тех дней: IV—140; V—205; VI—184; VII—186; VIII—172; IX—166; X—183; XI—245.

А. Карандасов, член КПСС с 1917 года. Голос рабочей Москвы. IX—145.

А. Кучкин, член КПСС с 1912 года. Крестьянский съезд (Заметки делегата). V—180.

**М. Лацис.** В Петрограде (Из дневника агитатора). VII—175.

**Я. Лебедев,** член КПСС с 1917 года. Москва протестует. VIII—159.

**К. Лихачев,** член КПСС с 1918 года. Карпаты. Фронт. VI—180.

**Н. РаSTOPчин,** член КПСС с 1903 года. На Шестом съезде. VII—181.

**Я. Рудник,** член КПСС с 1917 года. Слышны раскаты Октября. VI—171.

**С. Стривская,** член КПСС с 1915 года. В новом ВЦИКе. X—178.

**М. Сулимова,** член КПСС с 1905 года. «Это будет последний и решительный бой». VI—175.

**Н. Танхилевич-Богословская,** член КПСС с 1916 года. Знамя. VII—172.

**С. Ходакова,** член КПСС с 1912 года. Живая вода революции. IV—182.

**С. Шульга,** член КПСС с 1916 года. «Есть такая партия!» VI—162.

**М. Щедрин,** член КПСС с 1919 года. В «дикий дивизион». VIII—171.

**Б. Этингоф,** член КПСС с 1903 года. Начало новой эры. X—172.

**Ф. Яблуковский.** В молдавских селах. IX—148.

**Я. Ядров,** член КПСС с 1917 года. Красногвардейцы Одессы. IX—161.

ПЕТРОГРАД, 24—25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА. XI—198.

#### ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

**П. Федотов,** член КПСС с 1912 года. Семь дней в огне. XI—219.

**А. Дижбит,** член КПСС с 1912 года. Среди латышских стрелков. XI—224.

**И. Чуев,** член КПСС с 1915 года. В борьбе с контрреволюцией. XI—225.

**А. Писарев,** член КПСС с 1905 года. Вся власть Советам! XI—226.

**Ф. Мингалев,** член КПСС с 1917 года. Первые дни. XI—227.

**В. Каменников,** член КПСС с 1917 года. ...И грянул гром. XI—228.

**С. Симкин,** член КПСС с 1917 года. Без единого выстрела. XI—231.

**К. Васильковский,** член КПСС с 1917 года. Три месяца борьбы. XI—232.

**Н. Левченко,** член КПСС с 1917 года. У железнодорожников. XI—236.

**А. Ковалев,** член КПСС с 1919 года. Вражеская вылазка. XI—237.

**Я. Шумяцкий,** член КПСС с 1908 года. Октябрь — декабрь. XI—238.

**М. Губельман,** член КПСС с 1902 года. Во Владивостоке. XI—241.

#### ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «СЕПТЕМВРИ»

**Иван Руж.** «Септември» и болгарская литература. II—120.

**Елисавета Багряна.** Письмо. Стихи (Из цикла «Советские люди»). Перевод с болгарского Вл. Соколова. II—123.

**Ламар.** Старая водяная мельница; Дятел. Стихи. Перевел с болгарского С. Маршак. II—124.

**Людмил Стоянов.** Стамбулов пал (Главы из первой части романа «Детство, юность и война»). Перевод с болгарского Т. Рузской. II—125.

**Ангел Тодоров.** Народная песня. Стихи. Перевод с болгарского Вл. Соколова. II—138.

**Божидар Божилов.** Бай Стамен. Стихи. Перевод с болгарского Евг. Евтушенко. II—139.

**Веселин Ханчев.** В осенний час. Стихи. Перевод с болгарского Гр. Поженяна. Воспоминание. Стихи. Перевод с болгарского Вл. Соколова. II—141.

**Блага Димитрова.** Перед весной. Стихи. Перевод с болгарского Вл. Соколова. II—142.

**Банчо Банов.** Канарейка и кошка. Стихи. Перевод с болгарского Сергея Михалкова. II—143.

**Лиляна Стефанова.** Разговор с морем. Стихи. Перевод с болгарского Евг. Винокурова. II—143.

**Орлин Орлинов.** Болгарин. Стихи. Перевод с болгарского Мих. Луконина. II—144.

**П. Незнакомов.** Случай с Пенлеве. Рассказ. Перевод с болгарского М. Клягиной-Кондратьевой. II—145.

#### В КАНУН VI ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В МОСКВЕ

##### СЛОВО К МОЛОДЕЖИ

**Г. Кржижановский,** Герой Социалистического Труда, академик. Мечты и борьба. VII—19.

**Н. Семенов,** лауреат Нобелевской премии, академик. Дерзание в творчестве. VII—20.

**Галина Уланова,** лауреат Ленинской премии, народная артистка СССР. Мир, добро, красота. VII—20.

**К. Юон,** народный художник СССР. Жизнь «на людях»! VII—22.

**Шон О'Кейси,** ирландский писатель. Роза юности. VII—23.

**Людмил Стоянов,** болгарский писатель, академик. Сознание своей силы. VII—25.

**Джон Д. Бернал,** профессор, английский ученый. Пробуждение мира. VII—27.

##### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

**Евг. Долматовский.** В Венгрии весной 1957 года (Из дневника). IX—174.

**С. Залыгин.** В стране наших друзей. V—118; VI—122.

**Милан Юнгман.** Единение писателей с народом (Письмо из Праги). II—159.

##### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

**В. Борисов.** Съезд в Дамаске. Ливан. «Аль-Адаб» («Литература»), ежемесячный журнал по вопросам литературы, культуры и политики. №№ 10 и 11. 1956. I—246.

**Мих. Лифшиц.** По поводу статьи И. Видмара «Из дневника». Югославия. «Дело», ежемесячный литературно-критический журнал. № 5. 1956. IX—202.

**Александр Марьямов.** «Нет» и «да». К польским литературным спорам. Польша. «Нова культура» («Новая культура»), еженедельник. № 50. 1956. «Пшеглонд культуральный» («Культурное обозрение»), еженедельник. № 49. 1956. «Жице литератцке» («Литературная жизнь»), еженедельник. № 50. 1956. «Творчостъ» («Творчество»), ежемесячный журнал Союза польских писателей. № 11. 1956. 1—238.

**Т. Мотылева.** По следам полемики. ГДР. «Зоннтаг» («Воскресник»), еженедельник по вопросам культуры. №№ 49, 51 за 1956 и №№ 2, 4 и 6 за 1957 гг. III—206.

**Р. Орлова.** «Обет» молчания. США. «Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), еженедельник по вопросам литературы. 22 декабря. 1956. № 51. III—217.

**Вл. Рубин.** Тревоги и заблуждения. Англия. «Лондон мэгэзин» («Лондонский журнал»), ежемесячный литературный журнал. Январь. 1957. III—212.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

**Ф. Арие.** Записки лектора. VII—200.  
**Г. Борисовский.** Архитектура и быт. V—226.

**А. Леонидов.** Заговор душителей революции. X—195.

**Н. Михайлов,** министр культуры СССР. Праздник мира и дружбы. X—188.

**Г. Ровинский,** инженер. Мысли об автомобиле. VIII—202.

**Корней Чуковский.** Воспоминания об А. Ф. Кони. XII—172.

#### ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

**А. Маркин.** Стратегия великих работ (Заметки инженера). I—225.

#### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

**Е. Бродский,** кандидат исторических наук. БСВ. VIII—188.

**Н. Вержбицкий.** В те годы (Записки старого газетчика). V—211.

**Вера Дридзо.** Надежда Константиновна. II—162.

**Матъ Залка** — генерал Лукач. VI—209.

**М. Залка.** Новогоднее слово. Челюскинская эпопея как литературная тема. VI—209.

**Из жизни семьи Ульяновых в Казани и Самаре.** IV—145.

**Лев Любимов.** На чужбине. II—177; III—135; IV—153.

**Первые комиссары.** Из истории Военно-революционного комитета. VII—194.

**Борис Смирнов.** Испанский ветер. Из воспоминаний добровольца. I—133.

**Матвей Фролов.** Ленинградцы. VI—191.

**Клара Цветкин.** Искусство и пролетариат. VIII—180.

**Алексей Эйсер.** Смерть генерала Лукача (Из воспоминаний). VI—211.

#### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ

**Семидесятилетие Самуила Маршака.** XII—181.

**Восьмидесятилетие Андрея Упита.** XII—182.

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Борис Агапов.** О хорошем и о плохом (Из заметок об очерке). II—241.

**Евгений Волошко.** «Искры свободного искусства...» Стихи и песни предреволюционного Донбасса. VII—237.

**Валерия Герасимова.** Живое единство. I—250.

**В. Гоффеншефер.** Революционная диалектика поэтического правосудия. VIII—216.

**В. Днепров.** Идеальный образ и образ типический (О формах художественного общения). VII—218.

**Е. Добин.** Богатырское племя. XI—270.

**Л. Жуховицкий.** Долг поколению. V—236.

**За идейную чистоту нашей литературы и искусства!** (Новые материалы из литературного наследия А. А. Фадеева). X—236.

**Александр Исбах.** На линии огня (Луи Арагон в боях за социалистический реализм). IX—245.

**А. Караганов.** Черты творческого метода. XI—250.

**В. Озеров.** Красота нового человека. VI—222.

**В. Озеров.** Ум, честь и совесть нашей эпохи. X—213.

**В. Озеров.** Боевое оружие. XII—183.

**З. Паперный.** Маяковский сегодня. IV—222.

**Вл. Пименов.** Разговор о драматургии (Заметки консультанта). VIII—225.

**По поводу статьи Л. Денисовой и В. Жданова «Модернизация и произвол в освещении прошлого».** II—251.

**Геннадий Фиш.** На переднем крае (Заметки писателя). IV—195.

**Марк Щегляев.** Верность деталей. I—258.

#### РОЖДЕННЫЕ ОКТЯБРЕМ

**Б. Брайнина.** Предисловие. IX—226.

**Петрусь Бровка.** В глухой белорусской деревне. IX—230.

**Аркадий Гайдар.** Четырнадцатилетний командир. IX—231.

**Федор Гладков.** По долгу сердца. IX—232.

**Джамбул.** Сила песни. IX—233.

**Всеволод Иванов.** Этого не забудешь. IX—233.

**Лев Квитко.** Свет революции. IX—234.

**Берды Кербабаяв.** Только с народом. IX—235.

**Ю. Либединский.** По военным дорогам... IX—235.

**Вл. Луговской.** Песня о ветре. IX—237.

**Кави Наджми.** Заветы Горького. IX—238.

**Б. Полевой.** Глаз журналиста. IX—239.

**Ник. Тихонов.** Меня сделал поэтом Октябры! IX—239.

- А. Фадеев.** Наш общий путь. IX—240.  
**К. Федин.** Романтика борьбы. IX—241.  
**Дм. Фурманов.** Твердое решение. IX—242.  
**М. Шолохов.** Первые ростки. IX—243.  
**С. Шипачев.** Я стал партийным парнем... IX—243.

#### ПЕРЕЧИТЫВАЯ КНИГИ...

- А. Берзер.** Победа Мишки Додонова. IX—255.  
**Ю. Либединский.** Песнь о битве народной. X—246.  
**Е. Старикова.** «Виринея» Л. Сейфуллиной. VIII—212.

#### Трибуна писателя

- Ю. Либединский.** Серго. VII—211.  
**Константин Симонов.** О социалистическом реализме. III—222.

#### Из писательского архива

- Александр Фадеев.** Субъективные заметки. Высказывания о литературе и искусстве (Из записных книжек). II—207.

#### Письма из редакции

- Павел Нилин.** По поводу романа Ф. Тауряна «Ангара». I—272.

#### Книжное обозрение

##### Литература и искусство

- Всеволод Азаров.** Земное сердце (Всеволод Рождественский, Стихотворения. 1920—1955). IX—269.  
**М. Алексеев.** Драматизм простого рассказа (П. Нилин, Жестокость, Повесть). II—260.  
**Н. Бабин.** Китайские записи Б. Полевого (Борис Полевой. 30 000 ли по Китаю). VII—244.  
**Вл. Баскаков.** Судьбы народные (М. Стельмах. Кровь людская — не водичка. Авторизованный перевод с украинского Вл. Россельса). X—254.  
**А. Берзер.** Конь в яблоках... (А. Довженко. Зачарованная Десна). IV—248.  
**Д. Благой.** О казусах и ляпсухах (И. В. Гуторов. О десятой главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Ученые Записки Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Выпуск XXVII. Серия филологическая). II—256.  
**И. Борисова.** Герои и события (Михаил Козаков. Крушение империи. Роман в четырех частях). II—264.  
**Г. Брейтбурд.** Новый роман Альберто Моравиа (Alberto Moravia. Ciociara). Альберто Моравиа Чьочара). X—265.  
**И. Вайсфельд.** Шаг сделан... (С. М. Эйзенштейн. Избранные статьи). I—280.  
**Ф. Вигдорова.** В трудные дни (О. Хавкин. Моя Чалдонка. Повесть). IV—251.  
**Ф. Вигдорова.** Мир, увиденный впервые (Фридеберт Туглас. Маленький Иллимар. Перевод с эстонского Л. Тоом). IX—271.

- С. Востокова.** Пробуждение гражданина Бриха (Ян Отчешек. Гражданин Брих. Перевод с чешского Т. и Ю. Аксель, В. Чехихиной, Н. Аросевой). I—290.  
**Б. Галанов.** Люди, будьте бдительны! (Михаил Кольцов. Испанский дневник). IX—265.  
**В. Герасимова.** Неизбежная победа (Александр Лебедеико. Лицом к лицу). XI—284.  
**Н. Грибачев.** История капитана Кирибеева (П. Сажин. Капитан Кирибеев). VIII—236.  
**А. Дирингерова.** Пьеса Леона Кручковского (Л. Кручковский. Посещение. Авторизованный перевод с польского А. Горского). I—288.  
**А. Дирингерова.** Две повести о Фрунзе (Н. Вигилянский. Повесть о Фрунае. Арк. Васильев. Смело, товарищи, в ногу...). VII—247.  
**Владимир Дягилев.** Первая книга (В. Максимов. Не забывая встреч). VIII—238.  
**Е. Елагина.** Песни бури и гнева («Немецкая демократическая поэзия 1914—1953 гг.» Составление, редакция переводов, вступительная статья и комментарии И. Фрадкина). II—273.  
**Л. Зонина.** Как формируется характер (Armand Lapoux. Le commandant Watrin. Roman. Арман Лану. Майор Ватрен. Роман). IX—276.  
**И. Зыков.** Земля и хлеб (Геннадий Фиш. Земля и хлеб. Очерки). VII—251.  
**Александр Ивич.** Портрет планеты (Н. Михайлов. Иду по меридиану). VI—244.  
**А. Илупина.** Хмелев-режиссер (В. Комиссаржевский. Хмелев за режиссерским столом). IV—256.  
**А. Илупина.** Гордость русского балета («Анна Павлова»). VIII—242.  
**Л. Исарова.** Бедняки, игрушки и шенок Кнопка (Джанни Родари. Путешествие Голубой Стрелы. Повесть. Перевел с итальянского Ю. Ермаченко). V—256.  
**Мухамеджан Каратаев.** Первая казахская эпопея (М. Ауэзов. Путь Абая. Книга вторая). IX—260.  
**Алим Кешоков.** Вторая жизнь поэзии (Семен Липкин. Кабардинская эпическая поэзия. Избранные переводы). V—252.  
**Е. Книпович.** Дыхание времени (Н. Тихонов. Возвращение. Рассказ). IV—246.  
**Л. Копелев.** Мысль и сердце ученого (В. Р. Гриб. Избранные работы). III—249.  
**С. Коротная.** Строители новых дорог (Джузеппе Де Сантис, Элио Петри, Джанни Пуччини. Дорога длиною в год. Киноповесть. Перевод с итальянского Г. Брейтбурда и Э. Вольф). I—284.  
**Н. Кузьмин.** Древнерусское искусство (Художественные памятники Московского Кремля. Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве). VI—255.  
**Л. Лазарев.** С добрым чувством (Ал. Ионов Борис Горбатов. Очерк жизни и творчества. Воспоминания). II—267.

**Л. Лазарев.** Живой опыт литературы (Е. Добиш. Жизненный материал и художественный сюжет). VI—252.

**Александр Лаиц.** О щедрости и соразмерности (Салих Баттал. Тем, кто помог... Избранные стихи и поэмы. Перевод с татарского). IX—272.

**А. Лебедев.** Рыбы глаза (Ганс Шерфиг. Пропавший чиновник. Перевод с датского И. А. Горкина и Р. А. Розенталя). III—255.

**Г. Ленобль.** Жанр — роман-памфлет (Л. Лагин. Старик Хоттабыч. Повесть. Патент АВ. Роман. Остров Разочарования. Роман. Л. Лагин. Атавия Проксима. Фантастический роман). III—238.

**А. Липелис.** Пристрастие к общим местам (Г. Ершов, В. Тельпугов. Сергей Михалков. Критико-биографический очерк). III—252.

**Сергей Львов.** Книга критика (Вера Смирнова. О литературе и театре. Статьи). III—245.

**С. Макашин.** Встреча с Достоевским (Михаил Никитин. Здесь жил Достоевский). Повесть из тридцати трех сцен). I—276.

**А. Марьямов.** Весна над Днепром (Юрий Смолич. Мир хижинам, война дворцам. Роман. Книга первая: Мир хижинам). XII—192.

**А. Наркевич.** Русские очерки (Русские очерки. Составление и подготовка текста Б. О. Костелянца и П. А. Сидорова. Вступительная статья Б. О. Костелянца. Т. I—II). X—260.

**Сергей Наровчатов.** Стихи Арона Вергелеса (Арон Вергелис. Жажда. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с еврейского). III—244.

**Сергей Наровчатов.** Светлый талант (П. Маркиш. Избранное). X—263.

**Сергей Наровчатов.** Повесть о крестьянском сыне (М. Прилежаева. С берегов Медведицы. Повесть). XI—286.

**Ю. Оксман,** доктор филологических наук. Новая книга о Достоевском (Виктор Шкловский. За и против. Заметки о Достоевском). XII—198.

**Дмитрий Осин.** О философии фактов (И. Шамякин. Неповторимая весна). IX—275.

**В. Перцов.** Всеволод Вишневский в своих дневниках (Всеволод Вишневский. Собрание сочинений в пяти томах. Том третий. Дневники военных лет. 1941—1942). II—253.

**В. Петров.** Книга о современной китайской литературе (Л. Эйдлин. О китайской литературе наших дней). VII—255.

**А. Письменный.** Симфония большого города (Васко Пратолини. Повесть о бедных влюбленных. Перевод с итальянского Л. Вершинина, З. Потаповой и Р. Холдовского). IV—258.

**С. Покровский.** Новое исследование о Радищеве (Г. Макогоненко. Радищев и его время). VIII—239.

**Игорь Поступальский.** Стихи Ф. Тютчева в болгарском переводе (Ф. И. Тютчев. Избранные стихотворения. Преведено от руски Йордан Ковачев. Ф. И. Тютчев. Избранные стихотворения. Перевод с русского Йордана Ковачева). XII—200.

**М. Прилежаева.** Пришмантасы из Чикаго (Г. Корсаkene. Первый год. Перевод Л. Славина). VII—248.

**В. Разумный.** Эстетическая теория и практика искусства (В. Ванслов. Содержание и форма в искусстве). VII—252.

**И. Рахтанов.** Лоцман Кембрийского моря (Ф. Пудалов. Лоцман Кембрийского моря). IV—252.

**Е. Ржевская.** Повесть о детстве (В. Абрамов. Детские странствия. Литературная запись Е. Герасимова). IV—254.

**Е. Ржевская.** Пароль: Советский Союз!.. (Антонина Никифорова. Это не должно повториться...). VIII—231.

**В. Рымашевский.** Возвращенное счастье (В. Логинов. Дашка из Садовниц). XII—194.

**Б. Сарнов.** Для маленьких и больших (Б. Заходер. В зоопарке). XII—195.

**Илья Сельвинский.** Стихи Дмитрия Кедрина (Дмитрий Кедрин. Избранное). VIII—233.

**В. Сквозников.** В кольце пустых фраз (В. А. Ковалев. Борьба за творческое развитие классических традиций в советской литературе (послевоенный период). «Вопросы советской литературы». Сборник III). II—270.

**В. Сквозников.** Очки против солнца (Л. Малюгин. Путешествие в ближние страны. Комедия в трех действиях). VI—247.

**Л. Славин.** После долгой разлуки (Виктор Кин. По ту сторону. Роман). V—248.

**Борис Слуцкий.** Человечность (Е. Винокуров. Синева). V—250.

**Борис Слуцкий.** «Живу в двадцатом веке» (Михаил Львов. Живу в двадцатом веке). X—258.

**Ю. Сотник.** Вмятины от пальцев (Анатолий Кузнецов. Продолжение легенды. Повесть). XI—288.

**Н. Степанов.** Очерк творчества Блока (Вл. Орлов. Александр Блок. Очерк творчества). V—253.

**Ю. Суровцев.** Идущие быстринной и их недруги (Георгий Радов. Четыре строчки. Рассказы и очерки). III—241.

**В. Тимофеева.** Книга о жизни и творчестве поэта (В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции). VI—250.

**Т. Трифонова.** Точная позиция, точное мастерство (И. Горелик. Точная позиция). III—235.

**Геннадий Фиш.** Утро Советов (Ю. Либенский. Утро Советов). XI—280.

**Н. Хохлов.** Те Ги Чен — поэт и воин (Те Ги Чен. Избранное. Перевод с корейского). VIII—243.

### Политика и наука

**А. Байкова**, кандидат исторических наук. Ирландия борется за независимость (Tom Baugh. Guerilla days in Ireland. A first hand account of Ireland's War for Independence. Том Барри. Дни партизанской войны в Ирландии. Правдивый рассказ о войне за независимость). IV—264.

**А. Байкова, И. Маяк**, кандидаты исторических наук. Иностранная печать о нашем сорокалети (По страницам зарубежных изданий). XI—301.

**Н. Болотников**. Труд великого норвежца (Фритюф Хансен. «Фрам» в Полярном море. Часть I. Часть II). III—266.

**Д. Валентей**, кандидат экономических наук. Миф о «народном капитализме» (И. Г. Блюмин, И. Н. Дворкин. Миф о «народном капитализме»). VIII—250.

**Л. Василевский**. Самолет с атомным двигателем (По страницам зарубежных авиационных журналов «Американ авиэйшн» (США), «Флайт» (Англия), «Эр ревю» (Бельгия) и других). III—258.

**Л. Василевский**. Современные проблемы астронавтики (По страницам зарубежных журналов «Жет пропалши», «Мисайлс энд рокет», «Мэканикс иллюстрейтед» (США), «Интеравиа ревю» (Швейцария), «Форс аэриен франсез» (Франция) и др.). VI—263.

**Л. Василевский**. Управляемые снаряды США (По страницам зарубежных журналов «Нью-Йорк геральд трибюн», «Флюгвельт», «Сайенс ньюс ледер», «Ле з'Эль» и других). X—277.

**И. Васильков**. Путь ученого-зоотехника (В. Елагин. Цель жизни). V—270.

**М. Ветошкин**, доктор исторических наук, профессор, член партии с 1904 г. Воспоминания выдающегося революционера (О. Пятницкий, Записки большевика). VI—257.

**Л. Владимирский**, адмирал. Уроки войны на Тихом океане (Кампании войны на Тихом океане. Материалы Комиссии по изучению стратегических бомбардировок авиации Соединенных Штатов). VI—269.

**М. Власова**, кандидат исторических наук. Воспоминания о В. И. Ленине (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. 2). V—257.

**В. Гайдук**. Во имя науки (И. Д. Черский. Неопубликованные статьи, письма и дневники. Статьи о И. Д. Черском и А. И. Черском). VIII—249.

**М. Голей**, инженер. В мире кристаллов (М. П. Шаскольская. Кристаллы). II—279.

**М. Голей**, инженер. Если мерить точной меркой... (Б. Ляпунов. Открытие мира. К. А. Гильзин. Путешествие к далеким мирам. Е. Балабанов. Солнце на Земле. Н. Гонек, М. Ивин. Рассказы об автоматике). VIII—256.

**Д. Данин**. Верный путь нового журнала («Журнал «Юный техник»). IV—268.

**Н. Денисов**, полковник. Третья тысяча... (В. Г. Романюк, Заметки парашютиста-

испытателя. Литературная запись Алексея Голикова). X—275.

**О. Добролюбский**, кандидат химических наук. Великая задача химии (Академик С. И. Вольфович. Химия и сельское хозяйство). VIII—245.

**А. Ефимов**, член-корреспондент Академии наук СССР. Новые книги о Великой французской революции (А. З. Манфред. Великая французская буржуазная революция XVIII века. 1789—1794. Жан Поль Марат. Избранные произведения. Перевод с французского). VII—262.

**И. Забелин**, кандидат географических наук. Друг угнетенных негров (Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке. Давид Ливингстон, Чарльз Ливингстон. Путешествие по Замбези). II—281.

**В. Загорянская**, доктор медицинских наук. От Гиппократа до Павлова (Гуго Глязер. Исследователи человеческого тела. От Гиппократа до Павлова. Перевод с немецкого). VIII—253.

**Д. Заславский**. Газетная армия «холодной войны» (Н. Живейнов. Капиталистическая пресса США). IV—266.

**И. Зорина**. Американская «демократия» маневрирует (R. P. Waгgen. Segregation (The inner Conflict in the South). Р. П. Уоррен. Серегация (внутренние конфликты на Юге). III—263.

**Вал. Зорин**. Бремя американских трудящихся (Burden of Jаkis by Labor Research Assosiation. Бремя налогов). VII—265.

**И. Иноземцев**. Поэт камня (А. Е. Ферсман. Путешествия за камнем). VIII—247.

**А. Ионов**, кандидат исторических наук. Воспоминания старого большевика (А. К. Цветков-Просвещенский. Между двумя революциями (1907—1916 гг.). XII—204.

**Р. Катанян**. Жизнь, отданная революции (С. Т. Калтачян. Борьба С. Г. Шаумяна за теорию и тактику ленинизма). XII—203.

**Д. Кислик**. В. И. Ленин в 1917 году (Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности. Март — октябрь). XI—291.

**Е. Ковалев**. Китайская деревня на новом пути («Социалистический подъем в китайской деревне». Сборник избранных статей). I—295.

**Е. Ковалев**. Великая сила Китая (Мяо Чухуан. Краткая история Коммунистической партии Китая). X—270.

**С. Козлов**, полковник. Глашатаи агрессии (Дж. Ф. С. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Стратегический и тактический обзор. Перевод с английского. Д. О. Смит. Военная доктрина США. Исследование и оценка. Перевод с английского. Т. К. Финлеттер. Сила и политика. Внешняя политика и военная мощь Соединенных Штатов в век водородного оружия. Перевод с английского. П. Э. Жако. Исследование вопросов стратегии Запада. Перевод с французского П. Э. Жако. Периферийная стратегия и атомная бомба. Перевод с французского). IX—283.

**И. Красюкова.** Говорят участники Октября (Великая Октябрьская социалистическая революция. Сборник воспоминаний участников революции в Петрограде и Москве). XI—299.

**И. Крупеников.** Автор семисот научных трудов (И. Ф. П р а в д и н и В. С. Ч е п у р н о в. Академик Лев Семенович Берг (1876—1950 гг.). VIII—259.

**М. Лаврентьев,** академик. Мемуары большого ученого (Академик А. Н. К р ы л о в. Воспоминания и очерки). VI—259.

**В. Левачев,** инженер. На стальных магистралях (Б. П. Б е ш е в. Железнодорожный транспорт СССР в шестой пятилетке). VI—258.

**Б. Леонтьев.** Генералитет американского бизнеса („New York Times Magazine”. February 1957. «Нью-Йорк таймс мэгэзин», февраль 1957). V—265.

**М. Леснов.** Чехословакия на стройке (Вопросы строительства социалистической экономики Чехословакии. Сборник материалов. Перевод с чешского и словацкого). XII—206.

**В. Ливенцов,** главный библиограф Государственной публичной библиотеки УССР. К истории Народного фронта в Западной Украине (Б о г д а н Д у д и к е в и ч. Під прапором Народного фронту). II—276.

**Т. Лильин.** Читая Курта Типпельскирха... (К. Т и п п е л ь с к и р х. История второй мировой войны. Перевод с немецкого). VI—265.

**А. Лютвак.** Документы прошлого, обращенные в будущее (Вопросы экономического районирования. Сборник материалов и статей (1917—1929 гг.). Советы народного хозяйства и плановые органы в центре и на местах (1917—1932). Сборник документов). VII—260.

**А. Лукашев.** Волнующие документы (Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (март—октябрь 1917 года). XI—296.

**И. Майзель, Ю. Мелешенко, А. Новиков,** кандидаты философских наук. Новое произведение воинствующего материализма (М о р и с К о р и ф о р т. Диалектический материализм. Введение. Перевод с английского). V—261.

**Сергей Марков.** Исследователь Русской Америки (Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской Америке в 1842—1844 гг.). VI—260.

**Г. Марягин.** Шестьдесят лет в труде (Академик А. М. Т е р п и г о р е в. Воспоминания горного инженера). I—300.

**Н. Мацуев.** Репертуар русской книги (М. В. С о к у р о в а. Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708—1955. Аннотированный указатель. М. В. М а ш к о в а и М. В. С о к у р о в а. Общие библиографии русских периодических изданий 1703—1954 и материалы по статистике русской периодической печати. Аннотированный указатель). IX—286.

**А. Мельчин.** Жизнь героя (М. Г у б е л ь м а н. Лазо. 1894—1920. Литературная обработка Б. Любимова). X—273.

**Е. Муравьева.** Вся власть Советам! (Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу социалистической революции в период двоевластия (27 февраля — 4 июля 1917 г.). Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции (5 июля — 5 ноября 1917 г.). XI—293.

**В. Невзоров.** Ученый-революционер (Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й. Избранное). X—268.

**Е. Немировский.** Пять миллиардов книг (R. E. Barker. Books for all. A study of international book trade. Р. Е. Б а р к е р. Книги для всех. Исследование по международной книжной торговле). III—265.

**Е. Немировский.** В защиту книги (A n n e L y o n H a i g h t. Banned Books. А. Л. Х е й т. Запрещенные книги. A. L. Haight. Verbotene Bücher. Von Homer bis Hemingway. А. Л. Х е й т. Запрещенные книги. От Гомера до Хемингуэя). VII—251.

**Ю. Олеша.** История человеко-торпеды (М о т и ц у р а Х а с и м о т о. Потопленные. Японский подводный флот в войне 1941—1945 гг. Перевод с английского). V—267.

**Д. Ошанин,** профессор. Психология чувств (П. М. Я к о б с о н. Психология чувств). IX—288.

**Г. Петровский.** Жизнь, отданная борьбе рабочего класса (М. С. О л ь м и н с к и й. Из эпохи «Звезды» и «Правды» (Статьи 1911—1914 гг.). IV—261.

**Г. Петровский.** Путь большевика (С. Я. А л л и л у е в. Пройденный путь). VII—258.

**Г. Петровский.** Из жизни партии (М. Л я д о в. Из жизни партии в 1903—1907 годах. Воспоминания). XI—298.

**И. Пешкин.** Записки рабочего (В. С е м и н с к и й. Записки рабочего). XI—306.

**П. Подляшук.** Красноречивые цифры (Советский Союз). IX—281.

**Н. Полянский,** доктор юридических наук. В защиту мира (А. Н. Т р а й н и н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества). I—294.

**В. Преображенский, Л. Сетунская,** кандидаты географических наук. Туристские карты (Подмосковье. Крым. Украинская ССР и Молдавская ССР. Сходня — Лисицкий Бор. По лесистым Карпатам). VII—270.

**Дм. Рудь.** На благодатной почве социализма (Герои социалистических полей. Сборник). XI—308.

**П. Рысаков.** Советско-финляндская дружба (Е. А. А м б а р ц у м о в. Советско-финляндские отношения). V—263.

**Я. Свет.** На Коморском архипелаге (Franco Prosperi. Gran Comora. Франко Проспери. Гран Комор). IV—272.

**Ю. Семенов,** кандидат философских наук; М. Тульчинский. Фундаментальный труд по истории науки (Д ж е р н а л. Наука в истории общества. Перевод с английского). VII—267.

**А. Таланов.** Советские писатели о Чехословакии (В. Дружинин. Путешествие по Чехословакии. В. Коротеев. Чехословацкий дневник. Мариэтта Шагинян. Чехословацкие письма. День в Праге). III—260.

**М. Тихомиров,** академик. Новое о «Слове о полку Игореве» (В. Г. Федоров. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каляла). I—297.

**Г. Толокольников.** Быть всегда начеку (В. П. Московский. Быть всегда начеку). X—279.

**Е. Успенская.** Право на счастье (История Советской Конституции (в документах) 1917—1956. Предисловие и общая редакция проф. С. С. Студеникина). XII—202.

**А. Филиппов.** Великие завоевания (Народное хозяйство СССР в 1956 году. — Страны социализма и капитализма в цифрах (Статистические материалы для пропагандистов). XI—304.

**А. Хавин.** Труд по истории народного хозяйства (П. И. Лященко. История народного хозяйства СССР. Том III. Социализм). II—277.

**М. Цебенко.** Величайший мыслитель Франции (В. Ф. Асмус. Декарт). XII—208.

**Б. Яковлев.** Великое наследие (В. И. Ленин. Сочинения. Издание четвертое, Том 36. 1900—1923). IX—278.

### ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

**Ш. Богатырев.** К истории русско-чешских связей. I—302.

**С. Брейтбург.** Н. К. Крупская — корреспондентка Толстого. IX—291.

**Выступление В. Я. Брюсова** в пятую годовщину Октября. XI—313.

**Александр Гатов.** Поэт первой русской революции. V—275.

**Игорь Грабарь.** Новооткрытый русский художник. VII—272.

**А. Дун.** Судьба одной пародии. X—282.

**А. Жаворонков.** Два письма С. Есенина. V—273.

**Записная книжка Ульяны Громовой.** XI—310.

**Из писем читателей.** VIII—261.

**Ф. Кузнецов.** Судьба пропавшей статьи Писарева. I—304.

**Вл. Лидин.** Наедине с книгами. VI—272.

**Ник. Пняшев.** Два неизвестных письма Воровского к Ольминскому. XII—210.

**А. Ротштейн.** Письмо в редакцию. X—283.

**Л. Светлов.** Рассказы о Георгии Скандербеге. V—274.

**Л. Светлов.** В. Г. Короленко и суд над М. В. Фрунзе. IX—290.

**Г. Скорородов.** Письмо М. Кольцова. IV—274.

**А. Шифман,** научный сотрудник Музея Л. Н. Толстого. В. В. Стасов и Л. Н. Толстой. IV—275.

**Георгий Шторм.** Незамеченные строки (Пушкин и Екатерина Ушакова). III—268.

### РЕПЛИКИ

**И. Вайсфельд.** Об одном заброшенном начинании. III—278.

**О. Верейский.** После фестиваля. IX—294.  
**В. Н. Всеволодский-Гернгросс,** профессор, **Ю. А. Дмитриев,** профессор, **Д. Л. Брудный,** доцент. В защиту водевиля. V—278.

**Сильва Капутикян.** О домах культуры республик. VII—277.

**О. Лепешинская,** народная артистка СССР. Без переводчика. III—277.

**В. Марецкая,** народная артистка СССР. Красивое, недорогое — в быт. VI—277.

**Вл. Масс, Мих. Червинский.** О театре, которого нет... VII—277.

**А. Наркевич.** Забытые имена. VI—278.

**Ю. Миленов,** художник, **А. Чегодаев,** историк искусств, **Д. Аркин,** историк искусств, **М. Минц,** архитектор, **Б. Яковлев,** художник, **Н. Пименова,** художник, **А. Степанова,** скульптор, **А. Буров,** архитектор, **Л. Бумажный,** архитектор. Поездка в Дубровицы. IV—278.

**В. Попов,** доцент. Можно ли улучшить цветную репродукцию? IX—294.

**Ив. Рахилло.** О фасонах платьев. IV—277.

**Г. Рыклин.** Покупайте мороженое!.. IV—277.

**Ник. Смирнов-Сокольский.** Книги, которых ждут молодые библиографы. V—277.

**Геннадий Фиш.** «Музей села на открытом воздухе». VIII—262.

**С. Хмельницкий,** архитектор. Кому это нужно? VI—279.

**Отклики на реплики** (Обзор читательских писем). I—306.

### МЕЖДУ ПРОЧИМ...

**А. З. Шерлок Холмс,** датчане и норманны. VIII—264.

**А. И.** Скользкие места. VI—281.

**А. М.** Филологи из Гослитиздата. V—280.

**А. М.** Небывалая царица. VI—282.

**А. М. Ювенал,** обвиненный в наивности... VII—279.

**Б. З.** Кто живет в Омске? IX—297.

**Б. Ф.** «В клубах порохового дыма...» V—281.

**С. Востокова.** Нужно ли читать книги, о которых пишешь? V—279.

**Л. Герасимович.** «Силен старик!» I—312.

**Л. Герасимович.** Эврика! III—280.

**В. Дьяков.** Чудовищное заблуждение. III—280.

**Л. Исарова.** Злые мачехи из издательства. VII—279.

**Г. Коган,** доктор искусствоведения. К вопросу о воспоминаниях. IX—299.

**Я. Коломинский.** Феноменальный случай! VII—281.

**К. Кострин.** Галлы и галлы. V—280.

**Борис Лавренев.** Кровосмешение на Олимпе. VI—280.

**Александр Лацис.** На букву «Ф». VI—280.

**С. Лурье, Н. Ильина.** Новое в хронологии. IX—293.



**Александр Морозов.** Поправка к поправке. VIII—264.

**Н. П. Пуганица.** IX—297.

**От редакции.** IX—299.

**П. С. Воскресший из мертвых.** VI—282.

**Е. Сашенков.** Впервые ли?.. VI—281.

**В. Типот.** «Джентльмены удачи». II—283.

**В. Типот.** Замечания о примечаниях. IV—280.

**Н. Трифонов.** В защиту точности. VIII—264.

**Т. С. Ошибка БСЭ?** I—312.

**А. Храбровицкий.** Важнее всего истина. VII—280.

**Сергей Юткевич.** Вместо рецензии. IV—281.

**Коротко о книгах:** I—314; II—285; III—281; IV—283; V—282; VI—283; VII—282; VIII—266; IX—300; X—284; XI—316.

**Сдаются в печать:** I—316; II—286; III—284; IV—285; V—283; VI—285; VII—284; VIII—269; IX—302; X—286.

**Книжные новинки:** I—318; II—287; III—286; IV—287; V—285; VI—286; VII—286; VIII—270; IX—303; X—287; XI—319; XII—213.

**На вклейке: Владимир Ильич Ленин.**  
Рисунок Н. Андреева.




---

**Главный редактор К. М. Симонов**

**Редакционная коллегия:**

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**  
**М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин**

---

**Редакция:** Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

---

Сдано в набор 22/X-57 г.

Подписано к печати 15/XI-57 г.

А. 10514. Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup> 7 бум. л.—19,18 печ. л. Тираж 140 000. Заказ 2387.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени **И. Н. Скворцова-Степанова**, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.